Предисловие

В этом издании объединены статьи академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, предваряющие одиннадцать томов серии «Памятники литературы Древней Руси», поступавшей к читателю на протяжении более чем пятнадцати лет (с 1978 по 1994 год). Автор сам напечатал текстуально близкий материал в книге «Великий путь: Становление русской литературы XI–XVII веков», вышедшей в Москве в 1987 году. Это позволяет предположить, что Д.С. Лихачев намеревался издать свои вступительные статьи к публикации текстов памятников древнерусской литературы в виде отдельной книги. Сейчас, с возрастанием интереса к культуре допетровской Руси и у нас и за рубежом (ознакомление с этим материалом даже включено в программы некоторых средних учебных заведений), выход этой книги представляется особенно своевременным – это емкий обзор всей литературы допетровской Руси в контексте отечественной истории и истории мировой культуры.

После кончины Д.С. Лихачева 30 сентября 1999 года состоялось уже немало конференций его памяти и было опубликовано много работ о его жизни и творчестве как в специальных изданиях типа «Лихачевских чтений», так и в других. Вклад великого ученого в развитие нашей науки (и прежде всего истории древнерусской литературы и специальных историко-филологических наук – текстологии, кодикологии, археографии и других), как и в развитие современных форм общественного сознания и культуры, стал еще более ощутим.

Значительна заслуга именно Д.С. Лихачева и его сотрудников (и старшего поколения – В.П. Адриановой-Перетц и других, и более молодых) в утверждении представления о том, что великий путь русской литературы начался не с послепетровского времени, а задолго до того. И теперь стало казаться самоочевидным, что в корневой системе «классической» русской литературы – традиции культуры и языка, восходящие к древним летописям, «Слову о полку Игореве», публицистике XVI столетия, демократиче-

ской сатире и сочинениям Аввакума в XVII столетии. Развитие древнерусской литературы теснейшим образом взаимосвязано с развитием изобразительных искусств и общественно-политической мысли, что обусловливает единство стиля литературы и искусства, выявляющее и отражающее умонастроения своего времени.

Д.С. Лихачев, потомственный петербуржец, выросший в ладной семье, имевший возможность еще в дореволюционные годы, в детском возрасте, познакомиться не только с близким прибалтийским побережьем, но и с Черным морем в Крыму, и с верхней и средней Волгой, изначально ощущал действенную творческую взаимосвязь природы и общественной жизни. К этому добавились впечатления от экскурсии пятнадцатилетним школьником по Русскому Северу. Впоследствии в «Воспоминаниях», изданных в 1995 году, Д.С. Лихачев отмечал их большое значение для развития его личности и интересов: «Школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь»[1]. Эти первичные впечатления через десятилетия будут научно обоснованы в понятии «экология культуры», широко воспринятом ныне не только в научной среде.

Определению юношеских пристрастий способствовало и раннее приобщение к книге и к книжному делу: семья переехала в казенную квартиру при типографии нынешнего Печатного двора. «Запах свежеотпечатанной книги для меня и сейчас – лучший из ароматов, способный поднять настроение»[2], – вспоминал знаменитый академик в канун своего девяностолетия. В распоряжении семьи оказалось и временно оставленное на сохранение уникальное собрание одного библиофила с редкими и отечественными и зарубежными старинными, иллюминованными изданиями, рукописными раритетами и автографами. Юноша – по его

---

[1] *Лихачев Д.С.* Воспоминания. СПб., 1995. С. 102.

[2] Там же. С. 96.

словам — «рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями...»[1]. Не тогда ли укрепилось в его сознании представление о единстве нашего книжного наследия — рукописного и печатного? Именно академик Д.С. Лихачев стал уже в послевоенные годы одним из инициаторов научных конференций и изданий, посвященных изучению в едином русле проблематики истории и рукописной и печатной книги и системы их описания.

Незаурядные способности пытливого студента проявились в многообразии его уже, по существу, исследовательских занятий в Ленинградском университете, куда он поступил, не достигнув еще семнадцати лет. Это был, по словам Лихачева-мемуариста, «наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании научных интересов»[2]. Он увлекался многим — логикой и психологией, языкознанием и теорией литературоведения, историей литературы зарубежной и отечественной, начиная с Древней Руси, и даже установлением по архивным данным авторства произведений Некрасова. В 1928 году Д.С. Лихачев написал не одну, а две дипломные работы — о Шекспире в России на рубеже XVIII и XIX веков и о повестях о патриархе Никоне. Уже в студенческие годы начинающий исследователь и педагог заинтересованно воспринимал и предмет изучения, и систему и манеру преподавания, и способы распространения научных знаний. Уже в ту пору вырабатывалось особо уважительное отношение к «ремеслу» ученого, убеждение в том, что именно оно — в фундаменте подлинных научных открытий.

В «Воспоминаниях» Д.С. Лихачев в двух планах объясняет свое влечение к памятникам культуры Древней Руси. Сначала под впечатлением «разрушения России и русской церкви», происходившего на глазах «с убийственной жестокостью и не оставлявшего никаких надежд на возрождение»[3]. Подглавку «Красный террор» своих «Воспоминаний» он завершает такими словами: «И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 года древней

---

[1] *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 98.

[2] Там же. С. 109.

[3] Там же. С. 119..

русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги – это, в сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»: всех не упомнишь, когда пишешь их, – записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для меня именно в древней Руси»[1]. А как исследователь, ищущий тему, и новую и многогранную, он обратился к древнерусской литературе потому, что считал ее малоизученной как «явление художественное»[2]. Интересовало его это и в плане «познания русского национального характера»[3]. Причем изначально представлялось перспективным рассмотрение «литературы и искусства древней Руси в их единстве»[4]. Уже тогда «очень важным казалось... изучение изменений стилей в древней русской литературе, во времени, ...хотелось создать характеристики тех или иных эпох», подобные тем, которые обнаруживаются в зарубежных культурологических трудах о Средних веках и эпохе Возрождения[5]. Таким образом, уже для начинающего ученого был характерен подход к явлениям российской культуры в контексте развития культуры мировой.

На становление творческого облика Дмитрия Сергеевича, в котором направленность и способы выражения исследовательских интересов неотделимы от нравственных исканий и характерных черт его обаятельной личности, несомненно повлияли трагические обстоятельства, отодвинувшие на несколько лет начало его уже непрерывного и отмеченного все более значительными достижениями пути интенсивно работающего ученого-гуманитария. Д.С. Лихачев по фальсифицированному обвинению в участии в контрреволюционной деятельности группы интеллигентов аспирантского возраста был арестован и содер-

---

[1] *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 120.
[2] Там же. С. 116.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же.

жался в 1928–1932 годах сначала в тюрьме, а затем в Соловецком лагере особого назначения, причем с 1931 года на строительстве Беломорско-Балтийского канала.

«Пребывание на Соловках — утверждает Д.С. Лихачев в «Воспоминаниях» — было для меня всю жизнь самым значительным периодом жизни»[1]. И, как теперь выясняется, не только в познании людей (самые высоконравственные из них и в нечеловеческих условиях оставались самими собой и по образу мысли и по культуре поведения) и их отношения к культуре и ее памятникам, но и в определении направленности научных интересов. Монастырь с его «богатырскими стенами» и особыми природными условиями, так умело использованными еще в XVI–XVII веках монахами-насельниками, напоминал о мире неземном и, даже утратив многие памятники письменности и материальной культуры, перестав быть «хранителем древнерусских музыкальных традиций», оставался «своего рода музеем... и грандиозным ансамблем памятников древнерусского зодчества, обладающего огромной силой эстетического воздействия»[2].

К постоянной собственно научной работе Д.С. Лихачев смог приступить лишь в 1938 году, став научным сотрудником Пушкинского Дома. В 1941 году он защитил свою первую диссертацию о новгородских летописных сводах XII века. Постепенно Д.С. Лихачев приобрел авторитет всемирно признанного главы ученых, исследующих памятники древнерусской литературы и взаимосвязи литературы, искусства и общественно-политической мысли в допетровской России, — он становится членом многих зарубежных академий и почетным доктором многих университетов.

Список печатных трудов академика (не раз издававшийся и отдельными книжками в серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР» — последний раз в 1989 году) очень велик. Преобладают в нем книги и статьи о литературе Древней Руси. Монографии посвящены возникновению русской литературы, поэтике древнерусской литера-

---

[1] *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 388.

[2] *Лихачев Д.С.* Соловки в истории русской культуры // Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М., 1980. С. 41.

туры, древнерусским летописям, «Слову о полку Игореве», литературе времени Андрея Рублева, национальному самосознанию Древней Руси, культуре времени образования централизованного государства, проблемам «Человек в литературе Древней Руси», «Смеховой мир» Древней Руси (совместно с А.М. Панченко). Некоторые статьи объединены в книге «Великое наследие: Классические произведения Древней Руси». Многие из этих произведений Д.С. Лихачев сам подготовил к печати, сопроводив научными статьями и комментариями, и перевел на современный язык.

Изучение древнерусской письменности – в основе классического труда ученого «Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков». На эту же тему подготовлена была и книга небольшого объема «Текстология: Краткий очерк» – это показательно для просветительской направленности научной деятельности академика. Он почитал своим долгом популяризировать не только обобщенные данные о литературе и искусстве Древней Руси, но и о приемах их выявления, изучения, публикации.

Круг исследовательских интересов Д.С. Лихачева не ограничивался историей культуры до XVIII века. Он – автор и огромной хронологической протяженности книги «Русское искусство от древности до авангарда», книг «Поэзия садов» (о семантике садово-парковых стилей), «Литература–реальность–литература» (преимущественно о литературе XIX века), работ о Карамзине, Пушкине, Гоголе, Достоевском, Л.Толстом, Лескове, Андрее Белом, Пастернаке и других классиках литературы нового времени, о мемуарах знаменитых художников XX века.

Д.С. Лихачев – инициатор создания «Словаря книжников и книжности Древней Руси XI–XVII веков», многих сборников статей, изданий сочинений классических произведений литературы, недоступных читателю в советские годы (от «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина до романа «Петербург» Андрея Белого). Он существенно расширил репертуар изданий академической серии «Литературные памятники», редколлегию которой возглавлял долгое время. Ученый направлял работу многих научных конференций и семинаров – международных, всесоюзных,

всероссийских, региональных, к участию в которых (также как и в возглавляемых им серийных изданиях) настойчиво привлекал авторов со всех концов нашей страны и из-за рубежа, особенно молодежь. Д.С. Лихачев был убежденным проводником мысли, что грядущий XXI станет веком гуманитарным, а Россия – страна великой гуманитарной и гуманистической культуры.

Д.С. Лихачев признавал особенно важным обращение к широким читателям, даже совсем юным. Он – блистательный популяризатор научных знаний, умеющий писать доступно. Ученый стремился поднять читателя до вершин научного познания, приобщить его к лаборатории научного мышления, к научному сотворчеству. Труды Д.С. Лихачева и обогащают, и воспитывают ум. Некоторые книги – собрания эссе и афоризмов – обращены прежде всего к молодежи школьного еще возраста. Это книги «Земля родная», «Заметки о русском», особенно «Письма о добром». Но они оказываются привлекательными и полезными для взрослых не менее, чем книги последних лет – «Очерки по философии художественного творчества», «Без доказательств», «Книга беспокойств» и другие. Эти книги, как и многочисленные публичные выступления мудрого и доброго старейшины нашей культуры в журналах, газетах, по телевидению и радио, объединяли в интересе к затронутым проблемам очень многих, и, конечно же, и учащих и учащихся.

Свою книгу-завещание «Письма о добром» Д.С. Лихачев завершает рассуждением: «В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная»[1]. В предисловии к одному из зарубежных изданий этого сочинения он писал, что «добрый человек внутренне красив, живет в согласии с самим собой, с обществом, с природой»[2]. Так прожил свою долгую, почти 93-летнюю, жизнь и сам Дмитрий Сергеевич.

Публикуемые статьи являются, по существу, реализацией юношеского замысла создать «характеристики тех или

---

[1] *Лихачев Д.С.* Письма о добром. СПб., 1999. С. 177.

[2] Цит. по: *Шмидт С.О.* О жизни и деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева // Лихачев Д.С. Письма о добром. Пенза, 1996. С. 211; То же. СПб., 1999. С. 185.

иных эпох» культуры Древней Руси и своеобразия их «стилей» в литературе и искусстве. В Приложении даны две статьи Д.С. Лихачева того же жанра, написанные в последние годы жизни для готовящейся по его почину многотомной «Библиотеки литературы Древней Руси»: «Переводная литература в развитии литературы домонгольской Руси» и «Священная история в познавательных произведениях литературы Древней Руси». Основой вступительных статей «Библиотеки...» стали публикуемые в настоящем издании статьи серии «Памятники литературы Древней Руси», в той или иной степени переработанные.

Эта книга «служит введением к чтению древнерусских памятников»[1]. Она не только облегчает освоение многообразия тематики, художественных особенностей и значения памятников древнерусской литературы, но и вводит в духовный мир и выдающегося творца культуры недавнего времени. Творчество Дмитрия Сергеевича Лихачева, приобщая к литературе и искусству далекого прошлого, воплощает преемственность в развитии культуры и помогает видению настоящего и выявлению в нем того, что необходимо для будущего.

С.О.Шмидт,
академик Российской академии образования

---

[1] *Лихачев Д.С.* Великий путь: Становление русской литературы XI–XVII вв. М., 1987. С. 5.



Своеобразие древнерусской литературы

Вместо введения

Одна из насущнейших задач — ввести в круг чтения и понимания современного читателя памятники искусства слова Древней Руси. Искусство слова находится в органической связи с изобразительным искусством, с зодчеством, с музыкой, и не может быть подлинного понимания одной области без понимания всех других областей художественного творчества Древней Руси. В великой и своеобразной культуре Древней Руси тесно переплетаются изобразительное искусство и литература, духовная культура и материальная, широкие международные связи и резко выраженное национальное своеобразие.

Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литературы французская, английская, немецкая. Ее начало восходит

Публ. по: Своеобразие древнерусской литературы // Великий путь. Становление русской литературы XI–XVII вв. М.: Современник, 1987. С. 5–26.

ко второй половине X века. Из этого великого тысячелетия более семисот лет принадлежит периоду, который принято называть «древняя русская литература».

Литература возникла внезапно. Скачок в царство литературы произошел одновременно с появлением на Руси христианства и церкви, потребовавших письменности и церковной литературы. Скачок к литературе был подготовлен всем предшествующим культурным развитием русского народа. Высокий уровень развития фольклора сделал возможным восприятие новых эстетических ценностей, с которыми знакомила письменность. Мы сможем по-настоящему оценить значение этого скачка, если обратим внимание на превосходно организованное письмо, перенесенное к нам из Болгарии, на богатство переданного нам оттуда же литературного языка, способного выразить сложнейшие политические, нравственные и философские идеи, на обилие переведенных в Болгарии и возникших в ней же сочинений, которые уже с конца X века начинают проникать на Русь. В это же время создается и первое произведение русской литературы — так называемая «Речь философа», в которой на основании разных переводных источников кратко рассказывалась история мира от его «сотворения» и до возникновения вселенской церковной организации.

1

Что же представляла собой русская литература в первые семьсот лет своего существования? Попробуем рассмотреть эти семьсот лет как некое условное единство (к различиям хронологическим и жанровым мы обратимся в дальнейшем).

Художественная ценность древнерусской литературы еще до сих пор по-настоящему не определена. Прошел уже век с тех пор, как была открыта (и продолжает раскрываться) в своих эстетических достоинствах древнерусская живопись: иконы, фрески, мозаики. Почти столько же времени восхищает знатоков и древнерусская архитектура — от церквей XI–XII веков до «нарышкинского барокко» конца XVII века. Удивляет градостроительное искусство Древней Руси, умение сочетать новое со старым, создавать силуэт города, чувство ансамбля. Совсем недавно стали «замечать» древнерусскую скульптуру,

само существование которой отрицалось, а в иных случаях продолжает отрицаться и до сих пор. Приоткрыт занавес и над искусством древнерусского шитья.

Древнерусское искусство совершает победное шествие по всему миру. Музей древнерусской иконы открыт в Реклингхаузене (ФРГ), а особые отделы русской иконы — в музеях Стокгольма, Осло, Бергена, Нью-Йорка, Берлина и многих других.

Но древнерусская литература еще молчит, хотя работ по-прежнему о ней появляется в разных странах все больше. Она молчит, так как большинство исследователей, особенно на Западе, ищет в ней не эстетические ценности, не литературу как таковую, а всего лишь средство для раскрытия тайн «загадочной» русской души. И вот древнерусская культура объявляется «культурой великого молчания».

Между тем в нашей стране пути к открытию художественной ценности литературы Древней Руси уже найдены. Они найдены Ф.И. Буслаевым, А.С. Орловым, В.П. Адриановой-Перетц, И.П. Ереминым. Мы стоим на пороге этого открытия, пытаемся прервать «молчание», и это молчание, хотя еще и не прерванное, становится все более и более красноречивым.

То, что вот-вот скажет нам сейчас древнерусская литература, не таит эффектов гениальности, ее голос негромок. Авторское начало было приглушено в древней литературе. В ней не было ни Шекспира, ни Данте. Это хор, в котором совсем нет или очень мало солистов и в основном господствует унисон. И тем не менее эта литература поражает нас своей монументальностью и величием целого. Она имеет право на заметное место в истории человеческой культуры и на высокую оценку своих эстетических достоинств. Отсутствие великих имен в древнерусской литературе кажется приговором. Но строгий приговор, вынесенный ей только на этом основании, несправедлив. Мы исходим из своих представлений о развитии литературы — представлений, воспитанных веками, когда расцвело индивидуальное, личностное искусство — искусство отдельных гениев.

Древняя русская литература ближе, однако, к фольклору, чем к индивидуализированному творчеству писателей нового времени. Мы восхищаемся народным шитьем, но можем ли мы найти среди безымянных мастериц этого шитья кого-либо, кто мог бы быть уподоблен Джотто или Чимабуэ?

СПбГУП
БИБЛИОТЕКА

То же и в древнерусской живописи. Правда, мы знаем имена Рублева, Феофана Грека, Дионисия и его сыновей. Но и их искусство прежде всего искусство традиции и лишь во вторую очередь — искусство индивидуальной творческой инициативы. Впрочем, не случайно эпоху Рублева и Феофана мы называем в древнерусском искусстве эпохой Предвозрождения. Личность начинала уже играть в это время заметную роль. Имен крупных писателей в Древней Руси также немало: Иларион, Нестор, Симон и Поликарп, Кирилл Туровский, Климент Смолятич, Серапион Владимирский и многие другие. Тем не менее литература Древней Руси не была литературой отдельных писателей: она, как и народное творчество, была искусством надындивидуальным. Это было искусство, создававшееся путем накопления коллективного опыта и производящее огромное впечатление мудростью традиций и единством всей, в основном безымянной, письменности.

Перед нами литература, которая возвышается над своими семью веками как единое грандиозное целое, как одно колоссальное произведение, поражающее нас подчиненностью одной теме, единым борением идей, контрастами, вступающими в неповторимые сочетания. Древнерусские писатели — не зодчие отдельно стоящих зданий. Это — градостроители. Они работали над одним, общим грандиозным ансамблем. Они обладали замечательным «чувством плеча», создавали циклы, своды и ансамбли произведений, в свою очередь слагавшиеся в единое здание литературы, в котором и самые противоречия составляли некое органическое явление, эстетически уместное и даже необходимое.

Это своеобразный средневековый собор, в строительстве которого принимали участие в течение нескольких веков тысячи вольных каменщиков, с их ложами и их подвижными, переезжающими из страны в страну артелями, позволявшими использовать опыт всего европейского мира в целом. Мы видим в этом соборе и контрфорсы, сопротивляющиеся силам, раздвигающим его, и устремленность к небу, противостоящую земному тяготению. Фигуры святых внутри соотносятся с фигурами химер снаружи. Одни устремлены взорами к небу, другие тупо смотрят в землю, озабочены повседневностью. Витражи как бы отторгают внутренний мир собора от того, что находится за его пределами. Он вырастает среди

тесной застройки города. Его пышность противостоит бедности «земных жилищ» горожан. Его росписи отвлекают их от земных забот, напоминают о вечности. Но все-таки это творение рук человеческих, и горожанин чувствует рядом с этим собором не только свою ничтожность, но и силу человеческого единства. Он построен людьми, чтобы подняться над ними и чтобы возвысить их одновременно.

Всякая литература создает свой мир, воплощающий мир представлений современного ей общества. Попробуем восстановить мир древнерусской литературы. Что же это за единое и огромное здание, над построением которого трудились семьсот лет десятки поколений русских книжников — безвестных или известных нам только своими скромными именами — и о которых почти не сохранилось биографических данных, от которых не осталось даже автографов?

Чувство значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории человеческого бытия не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток. По смерти его клали в могилу головой на запад, чтобы лицом он встречал солнце. Его церкви были обращены алтарями навстречу возникающему дню. Восток символизировал собой будущее, запад — прошлое. В храме росписи напоминали ему о событиях Ветхого Завета и Нового Завета, собирали вокруг него мир святости: святых воинов внизу, мучеников повыше; в куполе изображалась сцена вознесения Христа, на парусах сводов, поддерживающих купол, — евангелисты и т. д. Церковь была микромиром, и вместе с тем она была макрочеловеком. У нее была глава, под главой «шея»-барабан, «плечи». Окна были очами храма (об этом свидетельствует сама этимология слова «окно»). Над окнами были «бровки».

Большой мир и малый, вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его существования, о величии мира и значительности в нем судьбы человека.

Не случайно в апокрифе о создании Адама рассказывается, что тело его было создано от земли, кости от камней, кровь от моря (не из воды, а именно от моря), очи от солнца, мысли

от облак, свет в очах от света вселенной, дыхание от ветра, тепло тела от огня. Человек – микрокосм, «малый мир», как называют его некоторые древнерусские сочинения[1].

Человек ощущал себя в большом мире ничтожной частицей и все же участником мировой истории. В этом мире все значительно, полно сокровенного смысла. Задача человеческого познания состоит в том, чтобы разгадать смысл вещей, символику животных, растений, числовых соотношений. Число один свидетельствовало о единстве Бога, два – напоминало о двуединой природе Христа, три – о триединстве бога, четыре – было символом материального мира. Поэтому мир имеет четыре стороны света, он составлен из четырех элементов. Семь воплощало в себе соединение божественного числа три с материальным числом четыре и представляло собой человека. Поэтому все, что касается человека, семирично по своей природе: семь смертных грехов и семь противопоставленных им таинств, семь возрастов, семь планет, управляющих его жизнью, семь дней недели, в которые был сотворен мир, семь тысячелетий человеческой истории и т.д. Три, умноженное на четыре, представляло собой сверхчеловеческое начало: двенадцать апостолов, двенадцать месяцев года. Три, умноженное на три, – сугубо божественное: девять кругов рая. Можно было бы привести множество символических значений отдельных чисел, но, кроме того, существовала символика цветов, драгоценных камней, растений и животных. Когда в природе не хватало для символов животных, чтобы воплотить в себе все знаки божественной воли, в строй вступали фантастические звери античной или восточной мифологии.

Вселенная – книга, написанная перстом Божиим. Письменность расшифровывала этот мир знаков. Ощущение значительности и величия мира лежало в основе литературы.

Литература обладала всеохватывающим внутренним единством, единством темы и единством взгляда на мир. Это единство разрывалось противоречиями воззрений, публицистическими протестами и идеологическими спорами. Но тем не менее оно потому и разрывалось, что существовало. Един-

---

[1] См., например, статью «От чего составлен мир и малый мир – человек» (Рукопись XVI в. Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. № 101/1178. Л. 261 об. и след.).

ство было обязательным, и потому любая ересь или любое классовое или сословное выступление требовали нового единства, переосмысления всего наличного материала. Любая историческая перемена требовала пересмотра всей концепции мировой истории — создания новой летописи, часто от «потопа» или даже от «сотворения мира».

Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни. Не то чтобы все произведения были посвящены мировой истории (хотя этих произведений и очень много): дело не в этом! Каждое произведение в какой-то мере находит свое географическое место и свою хронологическую веху в истории мира. Все произведения могут быть поставлены в один ряд друг за другом в порядке совершающихся событий: мы всегда знаем, к какому историческому времени они отнесены авторами. Литература рассказывает или по крайней мере стремится рассказать не о придуманном, а о реальном. Поэтому реальное — мировая история, реальное географическое пространство — связывает между собой все отдельные произведения.

В самом деле, вымысел в древнерусских произведениях маскируется правдой. Открытый вымысел не допускается. Все произведения посвящены событиям, которые были, совершились или хотя и не существовали, но всерьез считаются совершившимися. Древнерусская литература вплоть до XVII века не знает или почти не знает условных персонажей. Имена действующих лиц — исторические: Борис и Глеб, Феодосий Печерский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Стефан Пермский... При этом древнерусская литература рассказывает по преимуществу о тех исторических лицах, которые сыграли значительную роль в исторических событиях: будь то Александр Македонский или Авраамий Смоленский.

Разумеется, исторически значительными лицами будут со средневековой точки зрения не всегда те, которых признаем исторически значительными мы — с точки зрения людей нового времени. Это по преимуществу лица, принадлежащие к самой верхушке феодального общества: князья, полководцы, епископы и митрополиты, в меньшей мере — бояре. Но есть среди них и лица безвестного происхождения: святые

отшельники, основатели скитов, подвижники. Они также значительны, с точки зрения средневекового историка (а древнерусский писатель по большей части именно историк), так как и этим лицам приписывается влияние на ход мировой истории: их молитвами, их нравственным воздействием на людей. Тем более удивляет и восторгает древнерусского писателя это влияние, что такие святые были известны очень немногим своим современникам: они жили в уединении «пустынь» и молчаливых келий.

Мировая история, изображаемая в средневековой литературе, велика и трагична. В центре ее находится скромная жизнь одного лица — Христа. Все, что совершалось в мире до его воплощения, — лишь приуготовление к ней. Все, что произошло и происходит после, сопряжено с этой жизнью, так или иначе с ней соотносится. Трагедия личности Христа заполняет собой мир, она живет в каждом человеке, напоминается в каждой церковной службе. События ее вспоминаются в те или иные дни года. Годичный круг праздников был повторением священной истории. Каждый день года был связан с памятью тех или иных святых или событий. Человек жил в окружении событий истории. При этом событие прошлого года не только вспоминалось — оно как бы повторялось ежегодно в одно и то же время. Кирилл Туровский в «Слове на новую неделю по Пасхе» говорит: «*Днесь* весна красуеться, оживляющи земное естьство... *Ныня* рекы апостольскыя наводняються...» Сама природа как бы символизировала своим весенним расцветом события воскресения Христа.

Одна из самых популярных книг Древней Руси — «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского. Книга эта рассказывает о мире, располагая свой рассказ в порядке библейской легенды о создании мира в шесть дней. В первый день был сотворен свет, во второй — видимое небо и воды, в третий — море, реки, источники и семена, в четвертый — солнце, луна и звезды, в пятый — рыбы, гады и птицы, в шестой — животные и человек. Каждый из описанных дней — гимн творению, миру, его красоте и мудрости, согласованности и разнообразию элементов целого.

История не сочиняется. Сочинение, со средневековой точки зрения, — ложь. Поэтому громадные русские произведения, излагающие всемирную историю, — это по преимуще-

ству переводы с греческого: хроники или компиляции на основе переводных и оригинальных произведений. Произведения по русской истории пишутся вскоре после того, как события совершились, — очевидцами, по памяти или по свидетельству тех, кто видел описываемые события. В дальнейшем новые произведения о событиях прошлого — это только комбинации, своды предшествующего материала, новые обработки старого. Таковы в основном русские летописи. Летописи — это не только записи о том, что произошло в годовом порядке; это в какой-то мере и своды тех произведений литературы, которые оказывались под рукой у летописца и содержали исторические сведения. В летописи вводились исторические повести, жития святых, различные документы, послания. Произведения постоянно включались в циклы и своды произведений. И это включение не случайно. Каждое произведение воспринималось как часть чего-то большего. Для древнерусского читателя композиция целого была самым важным. Если в отдельных своих частях произведение повторяло уже известное из других произведений, совпадало с ними по тексту, это никого не смущало.

Таковы «Летописец по великому изложению», «Еллинский и римский летописец» (он настолько велик, что до сих пор остается неизданным), различного рода изложения ветхозаветной истории — так называемые палеи (историческая, хронографическая, толковая и пр.), временники, степенные книги и, наконец, множество различных летописей. Все они представляют собой своды, компиляции. Это собрания предшествующих исторических произведений, с ограниченной переработкой их в недрах нового сочинения, охватывающего более широкий и более поздний круг источников.

Тем же стремлением ответить на основные вопросы мироустройства воодушевлены апокрифы. Они дополняют и развивают повествование священного писания.

Исторических сочинений великое множество. Но одна их особенность изумляет: говоря о событиях истории, древнерусский книжник никогда не забывает о движении истории в ее мировых масштабах. Либо повесть начинается с упоминания о главных мировых событиях (сотворении мира, всемирном потопе, вавилонском столпотворении и воплощении Христа), либо повесть непосредственно включается в миро-

вую историю: в какой-нибудь из больших сводов по всемирной истории.

Автор «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба», прежде чем начать свое повествование, кратко рассказывает историю Вселенной от сотворения мира, историю Иисуса Христа. Древнерусский книжник никогда не забывает о том, в каком отношении к общему движению мировой истории находится то, о чем он повествует. Даже рассказывая немудрую историю о безвестном молодце, пьянице и азартном игроке в кости, человеке, дошедшем до последних ступеней падения, автор «Повести о Горе-Злочастии» начинает ее с событий истории мира – буквально «от Адама»:

> А в начале века сего тленнаго
> сотворил небо и землю,
> сотворил бог Адама и Евву,
> повелел им жити во святом раю.

История отдельного человека, пусть самого маленького, – это только часть истории мира; автору и читателю видится в ней судьба человека вообще. Вот почему в древней русской литературе так много огромных сочинений, объединяющих отдельные повествования в общее повествование о судьбе мира. Происходит как бы беспрерывная циклизация. Даже записки тверского купца Афанасия Никитина о его «Хождении за три моря» после его смерти были отвезены в Москву дьяку Мамыреву и здесь включены в летопись, где находят себе место под годом находки – 1475-м. Из сочинения, с нашей точки зрения, географического записки эти становятся сочинением историческим – повестью о событиях путешествия в Индию. Такая судьба не редка для литературных произведений Древней Руси: многие из рассказов со временем начинают восприниматься как исторические, как документы или повествования о русской истории: будь то проповедь игумена Выдубецкого монастыря Моисея, произнесенная им по поводу построения монастырской стены, или житие святого.

Произведения строились по «анфиладному принципу». Житие дополнялось с течением веков службами святому, описанием его посмертных чудес. Оно могло разрастаться допол-

нительными рассказами о святом. Несколько житий одного и того же святого могли быть соединены в новое единое произведение. Новыми сведениями могла дополняться летопись. Окончание летописи все время как бы отодвигалось, продолжаясь дополнительными записями о новых событиях (летопись росла вместе с историей). Отдельные годовые статьи летописи могли дополняться новыми сведениями из других летописей; в них могли включаться новые произведения. Так дополнялись также хронографы, исторические повествования. Разрастались сборники слов и поучений.

Подобно тому как мы говорим об эпосе в народном творчестве, мы можем говорить и об эпосе древнерусской литературы. Эпос – это не простая сумма былин и исторических песен. Былины сюжетно взаимосвязаны. Они рисуют нам целую эпическую эпоху в жизни русского народа. Эпоха эта и фантастична в некоторых своих частях, но вместе с тем и исторична. Это эпоха – время княжения Владимира Красное Солнышко. Сюда переносится действие многих сюжетов, которые, очевидно, существовали и раньше, а в некоторых случаях возникли позже. Другое эпическое время – время независимости Новгорода. Исторические песни рисуют нам если не единую эпоху, то, во всяком случае, единое течение событий – XVI и XVII веков по преимуществу.

Древняя русская литература – это тоже цикл. Цикл, во много раз превосходящий фольклорные. Это эпос, рассказывающий историю вселенной и историю Руси.

Ни одно из произведений Древней Руси – переводное или оригинальное – не стоит обособленно. Все они дополняют друг друга в создаваемой ими картине мира. Каждый рассказ – законченное целое, и вместе с тем он связан с другими. Это только одна из глав истории мира. Даже такие произведения, как переводная повесть «Стефанит и Ихнилат» (древнерусская версия сюжета «Калила и Димна») или написанная на основе устных рассказов анекдотического характера «Повесть о Дракуле», входят в состав сборников и не встречаются в отдельных списках. В отдельных рукописях они начинают появляться только в поздней традиции – в XVII и XVIII веках.

Сказанное трудно представить себе по хрестоматиям, антологиям и отдельным изданиям древнерусских текстов, вырванных из своего окружения в рукописях. Но если вспом-

нить обширные рукописи, в состав которых все эти произведения входят, — все эти многотомные Великие Четьи-Минеи, летописные своды, прологи, златоусты, измарагды, хронографы, отдельные четьи сборники, — то мы отчетливо представим себе то чувство величия мира, которое стремились выразить древнерусские книжники во всей своей литературе, единство которой они живо ощущали.

Есть только один жанр, который, казалось бы, выходит за пределы этой средневековой историчности, — это притчи. Они явно вымышлены. В аллегорической форме они преподносят нравоучение читателям, представляют собой как бы образное обобщение действительности. Они говорят не о единичном, а об общем, постоянно случающемся. Жанр притчи традиционный. Для Древней Руси он имеет еще библейское происхождение. Притчами усеяна Библия. Притчами говорит Христос в Евангелии. Соответственно притчи входили в состав сочинений для проповедников и в произведения самих проповедников. Но притчи повествуют о «вечном». Вечное же — оборотная сторона единого исторического сюжета древнерусской литературы. Все совершающееся в мире имеет две стороны: сторону, обращенную к временному, запечатленную единичностью совершающегося, свершившегося или того, чему надлежит совершиться, и сторону вечную: вечного смысла происходящего в мире. Битва с половцами, смена князя, завоевание Константинополя турками или присоединение княжества к Москве — все имеет две стороны. Одна сторона — это то, что произошло, и в этом происшедшем есть реальная причинность: ошибки, совершенные князьями, недостаток единства или недостаток заботы о безопасности родины — если это поражение; личное мужество и сообразительность полководцев, храбрость воинов, стремление «положить труд великий за Русскую землю» — если это победа; засуха — если это неурожай, неосторожность «бабы некоей» — если это пожар города. Другая сторона — это извечная борьба зла с добром, это стремление бога исправить людей, наказывая их за грехи или заступаясь за них по молитвам отдельных праведников (вот почему, со средневековой точки зрения, так велико историческое значение их уединенных молитв). В этом случае с реальной причинностью сочетается по древнерусским представлениям причинность сверхреальная.

Временное, с точки зрения древнерусских книжников, — лишь проявление вечного, но практически в литературных произведениях они показывают скорее другое: важность временного. Временное, хочет того книжник или не хочет, все же играет в литературе большую роль, чем вечное. Баба сожгла город Холм — это временное. Наказание жителей этого города за грехи — это смысл совершившегося. Но о том, как сожгла баба и как произошел пожар, — об этом можно конкретно и красочно рассказать, о наказании же Божьем за грехи жителей Холма — можно только упомянуть в заключительной моральной концовке рассказа. Временное раскрывается через события. И эти события всегда красочны. Вечное же событий не имеет. Оно может быть только проиллюстрировано событиями или пояснено иносказанием — притчей. И притча стремится сама стать историей, рассказанной реальностью. Ее персонажам со временем часто даются исторические имена. Она включается в историю. Движение временного втягивает в себя неподвижность вечного.

Заключительное нравоучение — это обычно привязка произведения к владеющей литературой главной теме — теме всемирной истории. Рассказав о дружбе старца Герасима со львом и о том, как умер лев от горя на могиле старца, автор повести заканчивает ее следующим обобщением: «Все это было не потому, что лев имел душу, понимающую слово, но потому, что Бог хотел прославить славящих его не только в жизни, но и по смерти и показать нам, как повиновались звери Адаму до его ослушания, блаженствуя в раю».

Притча — это как бы образная формулировка законов истории, законов, которыми управляется мир, попытка отразить божественный замысел. Вот почему и притчи выдумываются очень редко. Они принадлежат истории, а поэтому должны рассказывать правду, не должны сочиняться. Поэтому они традиционны и обычно переходят в русскую литературу из других литератур в составе переводных произведений. Притчи лишь варьируются. Здесь множество «бродячих» сюжетов.

* * *

Применительно к новой литературе мы часто говорим о внутренних закономерностях развития литературных образов, о поступках героев, обусловленных их характерами. Каждый ге-

рой литературы нового времени по-своему реагирует на воздействия внешнего мира. Вот почему поступки действующих лиц могут быть даже «неожиданными» для авторов, как бы продиктованными авторам самими этими действующими лицами.

Аналогичная обусловленность есть и в древней русской литературе: аналогичная, но не совсем такая. Герой ведет себя так, как ему положено себя вести, но положено не по законам его характера, а по законам поведения того разряда героев, к которому он принадлежит. Не индивидуальность героя, а только разряд, к которому принадлежит герой в феодальном обществе! И в этом случае нет неожиданностей для автора. Должное неизменно сливается в литературе с сущим. Идеальный полководец должен быть благочестив и должен молиться перед выступлением в поход. И вот в «Житии Александра Невского» описывается, как Александр входит в храм Софии и молится там со слезами Богу о даровании победы. Идеальный полководец должен побеждать многочисленного врага немногими силами, и ему помогает Бог. И вот Александр выступает «в мале дружине, не сождавъся со многою силою своею, уповая на святую Троицу», а врагов его избивает ангел. А затем все эти особенности поведения святого Александра Невского механически переносятся уже в другом произведении на другого святого — князя Довмонта — Тимофея Псковского. И в этом нет неосмысленности, плагиата, обмана читателя. Ведь Довмонт — идеальный воин-полководец. Он и должен вести себя так, как вел себя в аналогичных обстоятельствах другой идеальный воин-полководец — его предшественник Александр Невский. Если о поведении Довмонта мало что известно из летописей, то писатель не задумываясь дополняет повествование по житию Александра Невского, так как уверен, что идеальный князь мог себя вести только этим образом, а не иначе.

Вот почему в древнерусской литературе, как и в фольклоре, повторяются типы поведения, повторяются отдельные эпизоды, повторяются формулы, которыми определяется то или иное состояние, событие, описывается битва или характеризуется поведение. Это не бедность воображения — это литературный и фольклорный этикет. Герою полагается вести себя именно так, и автору полагается описывать героя только соответствующими выражениями. Автор — церемо-

ниймейстер, он сочиняет «действо». Его герои — участники этого «действа». Эпоха феодализма полна церемониальности. Церемониален князь, епископ, боярин, церемониален и быт их дворов. Даже быт крестьянина полон церемониальности. Впрочем, эту крестьянскую церемониальность мы знаем под названием обрядности и обычаев. Им посвящена изрядная доля фольклора — народная обрядовая поэзия.

Подобно тому как в иконописи фигуры святых как бы висят в воздухе, невесомы, а архитектура, природа служат им не окружением, а своеобразным «задником», фоном, — так и в литературе многие из ее героев не зависят от действительности. Характеры их не воспитаны обстоятельствами земной жизни, — святые пришли в мир со своей сущностью, со своей миссией, действуют согласно выработанному в литературе этикету.

Устойчивые этикетные особенности слагаются в литературе в иероглифические знаки, в эмблемы. Эмблемы заменяют собой длительные описания и позволяют быть писателю исключительно кратким. Литература изображает мир с предельным лаконизмом. Создаваемые ею эмблемы общи в известной, «зрительной» своей части с эмблемами изобразительного искусства.

Вместе с тем эмблема близка к орнаменту. Литература часто становится орнаментальной. «Плетение словес», широко развившееся в русской литературе с конца XIV века, но в элементах присутствовавшее в ней и в предшествующие века, — это словесный орнамент. Можно графически изобразить повторяющиеся элементы «плетения словес», ритм этого плетения, и мы получим орнамент, близкий к орнаменту рукописных заставок, — к так называемой «плетенке».

При этом орнаментальность не противоречит своеобразному лаконизму древнерусской литературы. Орнамент создается не путем добавлений, не путем наружного украшения какого-то основного материала, а путем упрощающей и схематизирующей переработки основных тем, мотивов, мыслей, словесного построения, путем отсечения лишнего, не укладывающегося в этот орнамент. Орнамент не присоединяется, не «навешивается» на основное изложение, а создается самим изложением. Он не столько украшает, сколько организует литературный материал.

Вот пример сравнительно простого «плетения» из входившей в состав летописей «Повести о приходе на Москву хана Темир-Аксака». Автор нанизывает длинные ряды параллельных грамматических конструкций, синонимов — не в узкоязыковом, но шире — в логическом и смысловом плане. В Москву приходят вести о Темир-Аксаке «како готовится воевати Русскую землю и како похваляется ити к Москве, хотя взяти ея, и люди русскыя попленити, и места свята раззорити, а веру христьяньскую искоренити, а хрестиян гонити, томити и мучити, пещи и жещи и мечи сещи. Бяше же сии Темирь Аксак велми нежалостив и зело немилостив и лют мучитель и зол гонитель и жесток томитель...» и т. д.

Еще более сложным был композиционный и ритмический рисунок в агиографической (житийной) литературе. Достаточно привести небольшой отрывок из «Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» (Дмитрия Донского), разделив его для наглядности на параллельные строки:

млад сы возрастом,
но духовных прилежаше делесах,
пустошных бесед не творяше,
и срамных глагол не любяше,
а злонравных человек отвращашеся,
а с благыми всегда беседоваше...

и т. д.

Кружево слов плетется, развивая тему, а не останавливая ее. Орнамент не обрывает темы, не мешает ее развитию, но превращает само рассказываемое в украшение. Церемония, этикет требует некоторой торжественности и украшенности, но эта украшенность до XVI века, во всяком случае, не внешняя по отношению к сюжету, темам, мотивам, составляет форму их организации. Пустословие начинает развиваться по преимуществу только с XVI века, когда стандартность содержания и идеологии потребовала своей маскировки.

* * *

Итак, литература образует некоторое структурное единство — такое же, какое образует обрядовый фольклор или исторический эпос. Литература соткана в единую ткань благо-

даря единству тематики, единству художественного времени с временем истории, благодаря прикрепленности сюжета произведений к реальному географическому пространству, благодаря вхождению одного произведения в другое со всеми вытекающими отсюда генетическими связями и, наконец, благодаря единству литературного этикета.

В этом единстве литературы, в этой стертости границ ее произведений единством целого, в этой невыявленности авторского начала, в этой значительности тематики, которая вся была посвящена в той или иной мере «мировым вопросам» и малоразвлекательна, в этой церемониальной украшенности сюжетов есть своеобразное величие. Чувство величия, значительности происходящего было основным стилеобразующим элементом древнерусской литературы.

Древняя Русь оставила нам много кратких похвал книгам. Всюду подчеркивается, что книги приносят пользу душе, учат человека воздержанию, побуждают его восхищаться миром и мудростью его устройства. Книги открывают «розмысл сердечный», в них красота, и они нужны праведнику, как оружие воину, как паруса кораблю.

Литература — священнодействие. Читатель был в какомто отношении молящимся. Он предстоял произведению, как и иконе, испытывал чувство благоговения. Оттенок этого благоговения сохранялся даже тогда, когда произведение было светским. Но возникало и противоположное: глумление, ирония, скоморошество. Яркий представитель этого противоположного начала в литературе — Даниил Заточник, перенесший в свое «Моление» приемы скоморошьего балагурства. Пышный двор нуждается в шуте; придворному церемонийместеру противостоит балагур и скоморох. Даниил Заточник высмеивает в своем «Молении» пути к достижению жизненного благополучия, с оттенком цинизма, потешает князя и подчеркивает своими неуместными шутками церемониальные запреты[1].

Балагурство и шутовство противостоят в литературе торжественности и церемониальности не случайно. В средневековой литературе вообще существуют и контрастно противо-

[1] О сущности этой «смеховой культуры» см. в книге М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (М., 1965).

стоят друг другу два начала. Первое описано выше, это начало вечности; писатель и читатель осознают в ней свою значительность, свою связь со вселенной, с мировой историей. Второе начало — начало обыденности, простых тем и небольших масштабов, интереса к человеку как таковому. В первых своих темах литература преисполнена чувства возвышенного и резко отделяется по языку и стилю от бытовой речи. Во вторых темах — она до предела деловита, проста, непритязательна, снижена по языку и по своему отношению к происходящему.

Трон и у подножия его шут!

Что же это за второе начало — начало обыденности? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к вопросу о том, как развивалась литература. Нам необходимо перейти от рассмотрения элементов статики в литературе к рассмотрению ее динамики.

2

Итак, мы обрисовали древнерусскую литературу как бы в ее «вневременном» и «идеальном» состоянии. Однако древняя русская литература вовсе не неподвижна. Она знает развитие. Но движение и развитие древнерусской литературы совсем не похоже на движение и развитие литератур нового времени. Они также своеобразны.

Начать с того, что национальные границы древнерусской литературы определяются далеко не точно, и это в сильнейшей степени сказывалось на характере развития. Основная группа памятников древнерусской литературы, как мы видели, принадлежит также литературам болгарской и сербской. Эта часть литературы написана на церковнославянском, по происхождению своему древнеболгарском, языке, одинаково понятном для южных и восточных славян. К ней принадлежат памятники церковные и церковно-канонические, богослужебные, сочинения отцов церкви, отдельные жития и целые сборники житий святых, как, например, Пролог, патерики. Кроме того, в эту общую для всех южных и восточных славян литературу входят сочинения по всемирной истории (хроники и компилятивные хронографы), сочинения природоведческие («Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарско-

го, «Физиолог», «Христианская топография» Косьмы Индикоплова) и даже сочинения, не одобрявшиеся церковью, — как, например, апокрифы. Развитие этой общей для всех южных и восточных славян литературы задерживалось тем, что она была разбросана по огромной территории, литературный обмен на которой хотя и был интенсивен, но не мог быть быстрым.

Большинство этих сочинений пришло на Русь из Болгарии в болгарских переводах, но состав этой литературы, общей для всех южных и восточных славян, вскоре стал пополняться оригинальными сочинениями и переводами, созданными во всех южных и восточных славянских странах: в той же Болгарии, на Руси, в Сербии и Моравии. В Древней Руси, в частности, были созданы «Пролог», переводы с греческого «Хроники» Георгия Амартола, некоторых житий, «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Девгениева деяния» и пр. Была переведена с древнееврейского книга «Эсфирь», были переводы с латинского. Эти переводы перешли из Руси к южным славянам. Быстро распространились у южных славян и такие оригинальные древнерусские произведения, как «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона, жития Владимира, Бориса и Глеба, Ольги, повести о создании в Киеве храмов Софии и Георгия, сочинения Кирилла Туровского и др.

Ни мир литературы, ни мир политического кругозора не могли замкнуться пределами княжества. В этом было одно из трагических противоречий эпохи: экономическая общность охватывала узкие границы местности, связи были слабы, а идейно человек стремился охватить весь мир.

Рукописи дарились и переходили не только за пределы княжеств, но и за пределы страны, — их перевозили из Болгарии на Русь, из Руси в Сербию и пр. Артели мастеров зодчих, фрескистов и мозаичистов переезжали из страны в страну. В Новгороде один из храмов расписывали сербы, другой — Феофан Грек, в Москве работали греки. Переходили из княжества в княжество и книжники. «Житие Александра Невского» составлялось на северо-востоке Руси галичанином. Житие украинца по происхождению московского митрополита Петра — болгарином по происхождению московским митрополитом Киприаном. Образовывалась единая культура, об-

щая для нескольких стран. Средневековый книжный человек думал об общем, о всем мире, очень часто ощущал себя частью большого мира, не замыкался пределами своей местности, переходил из княжества в княжество, из монастыря в монастырь, из страны в страну. «Гражданин горнего Иерусалима» Пахомий Серб работал в Новгороде и в Москве.

Эта литература, объединявшая различные славянские страны, существовала в течение многих веков, иногда впитывала в себя особенности языка отдельных стран, иногда получала местные варианты сочинений, но одновременно и освобождалась от этих местных особенностей благодаря интенсивному общению славянских стран.

Литература, общая для южных и восточных славян, была литературой европейской по своему типу и в значительной мере — по происхождению. Многие памятники были известны и на Западе (сочинения церковные, произведения отцов церкви, «Физиолог», «Александрия», повести о Трое, отдельные апокрифы и пр.). Это была литература, близкая византийской культуре, которую только по недоразумению или по слепой традиции, идущей от П. Чаадаева, можно относить к Востоку, а не к Европе.

В развитии древней русской литературы имели очень большое значение нечеткость внешних и внутренних границ, отсутствие строго определяемых границ между произведениями, между жанрами, между литературой и другими искусствами, — та мягкость и зыбкость структуры, которая всегда является признаком молодости организма, его младенческого состояния и делает его восприимчивым, гибким, легким для последующего развития.

Процесс развития идет не путем прямого дробления этого зыбкого целого, а путем его роста и детализации. В результате роста и детализации естественным путем отщепляются, отпочковываются отдельные части, они приобретают бóльшую «жесткость», становятся более ощутимыми и различия.

Литература все более и более отступает от своего первоначального единства и младенческой неоформленности. Она дробится по формирующимся национальностям, дробится по темам, по жанрам, все теснее контактируется с местной действительностью. Действительность все время «питает» тече-

ние литературы, меняет ее характер, обогащает новым содержанием, требовавшим новых форм отражения.

Новые и новые события требовали своего освещения. Русские святые вызывают необходимость в новых житиях. Возникает необходимость в проповедях и публицистических сочинениях, посвященных насущным явлениям местной действительности. Развивающееся национальное самосознание потребовало исторического самоопределения русского народа. Надо было найти место русскому народу в той грандиозной картине всемирной истории, которую дали переводные хроники и рано возникшие на их основе компилятивные сочинения. И вот рождается новый жанр, которого не знала византийская литература, — летописание[1]. «Повесть временных лет», одно из самых значительных произведений русской литературы, определяет место славян, и в частности русского народа, среди народов мира, рисует происхождение славянской письменности, образование Русского государства и т. д.

Богословско-политическая речь первого митрополита из русских Илариона — его знаменитое «Слово о Законе и Благодати» — говорит о церковной самостоятельности русских. Появляются первые жития русских святых. И эти жития, как и слово Илариона, имеют уже жанровые отличия от традиционной формы житий. Князь Владимир Мономах обращается к своим сыновьям и ко всем русским князьям с «Поучением», вполне точные жанровые аналогии которому не найдены еще в мировой литературе. Он же пишет письмо своему врагу Олегу Святославичу, и это письмо также выпадает из жанровой системы, воспринятой Русью. Отклики на события и волнения русской жизни все растут, все увеличиваются в числе, и все они в той или иной степени выходят за устойчивые границы тех жанров, которые были перенесены к нам из Болга-

---

[1] Когда мы говорим о возникновении летописания, то должны иметь в виду возникновение летописания именно как жанра, а не исторических записей самих по себе. Историки часто говорят о том, что летописание в Древней Руси возникло уже в X веке, но имеют при этом в виду, что некоторые сведения по древнейшей русской истории могли быть или должны были быть уже записаны в X веке. Между тем простая запись о событии, церковные поминания умерших князей или даже рассказ о первых русских святых не были еще летописанием. Жанр летописания возник не сразу. О начале летописания см.: *Лихачев Д.С.* Русские летописи. М.; Л., 1947. С. 35–144.

рии и Византии. Необычен жанр «Слова о полку Игореве» (в нем соединены жанровые признаки ораторского произведения и фольклорных слов и плачей), «Моления» Даниила Заточника (произведения, испытавшего влияние скоморошьего балагурства), «Слова о погибели Русской земли» (произведения, близкого к народным плачам, но имеющего необычное для фольклора политическое содержание). Число произведений, возникших под влиянием острых потребностей русской действительности и не укладывающихся в традиционные жанры, все растет и растет. Появляются исторические повести о тех или иных событиях. Жанр этих исторических повестей также не был воспринят из переводной литературы. Особенно много исторических повестей возникает в период татаро-монгольского ига. «Повесть о Калкской битве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», Китежская легенда, рассказы о щелкановщине, о нашествии на Москву Тамерлана, Тохтамыша, различные повествования о Донской битве («Задонщина», летописная повесть о Куликовской битве, «Слово о житии Дмитрия Донского», «Сказание о Мамаевом побоище» и пр.) — все это новые в жанровом отношении произведения, имевшие огромное значение в росте русского национального самосознания, в политическом развитии русского народа.

В XV веке появляется еще один новый жанр — политическая легенда (в частности, «Сказание о Вавилоне-граде»). Жанр политической легенды особенно сильно развивается на рубеже XV и XVI веков («Сказание о князьях владимирских») и в начале XVI века (теория Москвы — Третьего Рима псковского старца Филофея). В XV веке на основе житийного жанра появляется и имеет важное историко-литературное значение историко-бытовая повесть («Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе» и многие другие). «Повесть о Дракуле» (конец XV века) — это также новое в жанровом отношении произведение.

Бурные события начала XVII века порождают огромную и чрезвычайно разнообразную литературу, вводят в нее новые и новые жанры. Здесь и произведения, предназначенные для распространения в качестве политической агитации («Новая повесть о преславном Российском царстве»), и произведения, описывающие события с узколичной точки зре-

ния, в которых авторы не столько повествуют о событиях, сколько оправдываются в своей прошлой деятельности или выставляют свои бывшие (иногда мнимые) заслуги («Сказание Авраамия Палицына», «Повесть Ивана Хворостинина»).

Автобиографический момент по-разному закрепляется в XVII веке: здесь и житие матери, составленное сыном («Житие об Иулиании Осоргиной»), и «Азбука», составленная от лица «голого и небогатого человека», и «Послание дворительное недругу», и собственно автобиографии — Аввакума и Епифания, написанные одновременно в одной земляной тюрьме в Пустозерске и представляющие собой своеобразный литературный диптих. Одновременно, в XVII веке, развивается целый обширный раздел литературы — литературы демократической, в которой значительное место принадлежит сатире в ее самых разнообразных жанрах (пародии, сатирико-бытовые повести и пр. и пр.). Появляются произведения, в которых имитируются произведения деловой письменности: дипломатической переписки (вымышленная переписка Ивана Грозного с турецким султаном), дипломатических отчетов (вымышленные статейные списки посольства Сугорского и Ищеина), пародии на богослужение (сатирическая «Служба кабаку»), на судные дела (сатирическая «Повесть о Ерше Ершовиче»), на челобитные, на росписи приданого и т. д.

Сравнительно поздно появляется систематическое стихотворство — только в середине XVII века. До того стихи встречались лишь спорадически, так как потребности в любовной лирике удовлетворялись фольклором. Поздно появляется и регулярный театр (только при Алексее Михайловиче). Место его занимали скоморошьи представления. Сюжетную литературу в значительной мере (но не целиком) заменяла сказка. Но в XVII веке в высших слоях общества рядом со сказкой появляются переводы рыцарских романов: повести о Бове, о Петре Златых Ключей, о Мелюзине и пр. Особую роль в литературе XVII века начинает играть историческая легенда («Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы») и даже сочинения по тем или иным вопросам всемирной истории («О причинах гибели царств»).

Таким образом, историческая действительность, все новые и новые потребности общества вызывали необходимость

в новых жанрах и новых видах литературы. Количество жанров возрастает необычайно, и многие из них находятся еще как бы в неустойчивом положении. XVIII веку предстояло сократить и стабилизировать это разнообразие.

Если самым кратким образом определить те ценности, которые были созданы древней русской литературы, то их можно видеть в нескольких областях.

В древней русской литературе сформулировалось то удивительное чувство общественной ответственности писателя, которое стало характерной чертой и русской литературы нового времени. Уже в Древней Руси литература стала той кафедрой, с которой постоянно раздавалось затем учительное слово.

В древней русской литературе сформулировалось представление о единстве мира, о единстве всего человечества и его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, — патриотизмом, лишенным чувства национальной исключительности, тупого и узкого шовинизма. Именно в древней русской литературе создался тот широкий и глубокий взгляд на весь «обитаемый мир» (ойкумену), который стал характерен для нее и в XIX веке.

Через свою богатую переводную литературу древняя русская литература смогла усвоить лучшие достижения византийской и южнославянских литератур, стать литературой европейской.

В древней русской литературе развилось искусство повествования, искусство лаконичных характеристик, умение создавать краткие философские обобщения.

В Древней Руси на основе двух языков — старославянского и русского — создался удивительно разнообразный и богатый язык литературы.

Система жанров в древнерусской литературе оказалась исключительно разнообразной и гибкой.

Древняя русская литература представляла собой ту развитую, широко раскинувшуюся корневую систему, на основе которой быстро смогла вырасти в XVIII веке литература нового времени и к которой могли быть привиты достижения литератур западноевропейских.



Величие древней литературы

XI – начало XII века

Чтобы почувствовать духовные богатства древней русской литературы, необходимо взглянуть на нее глазами ее современников, ощутить себя участником той жизни и тех событий. Литература – часть действительности, она занимает в истории народа определенное место и выполняет огромные общественные обязанности.

Перенесемся мысленно в начальные века русской истории, в эпоху нераздельного существования восточнославянских племен, в XI–XIII века.

Русская земля огромна, поселения в ней редки. Человек чувствует себя затерянным среди непроходимых лесов или, напротив, среди слишком легко проходимых для его врагов бескрайних просторов степей: «земли незнаемой», «дикого

Публ. по: Величие древней литературы // Памятники литературы Древней Руси. XI – нач. XII. М.: Худож. лит., 1978. С. 5–20. Здесь и далее для удобства читателей датирующие признаки перенесены из названия тома в подзаголовок публикуемой в настоящем издании статьи.

поля», как называли их русские. Чтобы проехать из конца в конец Русскую землю, надо много дней провести на коне или в ладье. Бездорожье весной и поздней осенью отнимает месяцы от этого трудного общения людей.

В беспредельных пространствах человек с особенной силой стремился к общению, стремился отметить свое существование. Человек ставит высокие и светлые церкви на холмах или на крутых берегах рек, чтобы издали обозначить места своих поселений. Эти церкви отличаются удивительно лаконичной архитектурой – они рассчитаны на то, чтобы быть видными со многих точек, служить маяками на дорогах. Они словно вылеплены заботливой рукой, хранят в неровностях своих стен тепло и ласку человеческих пальцев. В таких условиях гостеприимство становится одной из основных человеческих добродетелей. Сам киевский князь Владимир Мономах призывает в своем «Поучении» «привечать» гостя. Частые переезды с места на место принадлежат к немалым добродетелям, а в иных случаях переходят даже в страсть к бродяжничеству. В своих танцах и в своих песнях человек стремится к тому же покорению пространства. О русских протяжных песнях хорошо сказано в «Слове о полку Игореве»: «дѣвици поютъ на Дунаи, – вьются голоси чрезъ море до Киева». Русские создали даже обозначение для особого вида храбрости – храбрости в пространстве, храбрости в движении – «удаль».

В огромных просторах люди с особенной остротой ощущали и ценили свое единство, – и в первую очередь единство языка, на котором они говорили, на котором пели, на котором рассказывали предания глубокой старины, опять-таки свидетельствовавшие об их единстве. В тогдашних условиях даже само слово «язык» приобретает значение «народ», «нация». Роль литературы также становится особенно значительной. Она служит той же цели объединения, выражает народное самосознание единства. Она – хранительница истории, преданий, а эти последние были своего рода средствами освоения пространства, отмечали святость и значительность того или иного места: урочища, кургана, селения и проч. Исторические предания сообщали и стране историческую глубину, были тем «четвертым измерением», в рамках которого воспринималась и становилась «обозримой» вся об-

ширная Русская земля. Ту же роль играли летописи и жития святых, исторические повести и рассказы об основании монастырей.

Вся древняя русская литература, вплоть до XVII века, отличалась глубоким историзмом. Литература уходила корнями в ту землю, которую занимал и веками осваивал русский народ. Литература и Русская земля, литература и русская история были теснейшим образом связаны. Литература была одним из способов освоения окружающего человека мира. Недаром автор похвалы книгам и Ярославу Мудрому писал в летописи: «Се бо суть рекы, напояющие вселенную...», а князя Владимира I сравнивал с земледельцем, вспахавшим землю, Ярослава же с сеятелем, «насеявшим» землю «книжными словесы». Писание книг – это возделывание земли, и мы уже знаем какой – Русской, населенной русским «языком» – русским народом. И подобно труду земледельца переписка книг была на Руси извечно «святым» делом. Тут и там бросались в землю ростки жизни, зерна, которые предстояло пожинать будущим поколениям.

И вот, потому что переписывание книг – святое дело, книги могли быть только на самые важные темы. Все они в той или иной мере представляли «учение книжное». Литература не носила развлекательного характера, она была школой, а ее отдельные произведения в той или иной мере поучениями.

Чему же учила древняя русская литература? Оставим в стороне те религиозные и церковные вопросы, которыми она была занята. Светская стихия древней русской литературы была глубоко патриотичной. Она учила деятельной любви к родине, воспитывала гражданственность, стремилась к исправлению недостатков общества.

Если в первые века русской литературы, в XI–XIII века, она призывала князей прекратить раздоры и твердо выполнять свой долг защиты родины, то в последующие – в XV, XVI и XVII века – она заботится уже не только о защите родины, но и о разумном ее преобразовании. Вместе с тем на протяжении всего своего развития литература была училищем истории. И она не только сообщала сведения по истории, – она также стремилась определить место русской истории в мировой, открыть смысл существования человека и человечества, открыть назначение Русского государства.

Русская история и сама Русская земля объединяла все произведения русской литературы в единое целое. В сущности, все памятники русской литературы благодаря своим историческим темам были гораздо теснее связаны между собой, чем в новое время. Их можно было расположить в порядке хронологии, а все в целом они излагали одну историю — русскую и тоже — мировую. Теснее были связаны между собой произведения и в результате отсутствия в древней русской литературе сильного авторского начала. Литература была традиционна, новое создавалось как продолжение уже существовавшего и в тех же эстетических принципах. Произведения переписывались и переделывались. В них сильнее отражались читательские вкусы и читательские требования, чем в литературе нового времени. Книжки и их читатели были ближе друг к другу, чем в новое время, а в произведениях сильнее представлено коллективное начало. Древняя литература по характеру своего бытования и создания стояла ближе к фольклору, чем к личностному творчеству нового времени. Произведение, раз созданное автором, затем в бесчисленных переписываниях изменялось писцами, переделывалось, в различной среде приобретало различные идеологические окраски, дополнялось, обрастало новыми эпизодами и т. д.: поэтому почти каждое произведение, дошедшее до нас в нескольких списках, известно нам в различных редакциях, видах и изводах.

Древнерусский автор то сам непосредственно, от своего лица, ратует за правду в своих поучениях и «словах», то создает образы борцов за справедливость, за независимость своей родины, за осуществление идеалов на земле — в летописях, исторических повестях, в житиях святых и бытовых повестях. Его идеалы не всегда одинаковы. Они то воспитаны религиозными представлениями времени, то, уклоняясь от этих представлений, рисуют нам князей и воинов, обороняющих Русскую землю от врагов, побеждающих врагов или терпящих от них поражение, но всегда преданных своему долгу в неравной борьбе с более сильным противником. Они рисуют нам «бояр думающих» и «мужей храбрствующих». Но когда бы писатель ни жил, кого бы ни описывал, за что бы ни ратовал, — перед нами во всех произведениях выступает деятельный, бескомпромиссный и верный своим идеалам ге-

рой. Эта бескомпромиссность в борьбе за лучшее будущее стала одной из самых характерных черт русской литературы во все века ее существования.

В тесной связи с этими высокими идеалами, в строгом соответствии с предназначением древней русской литературы, с ее историзмом определился и тот художественный стиль, который был для нее так характерен. Стиль этот был достоин той исторической миссии, которую выполняла древнерусская литература: это стиль монументального историзма.

* * *

История человеческой культуры знает периоды, когда человек открывает в мире какие-то стороны, до того им не замечавшиеся. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового мировоззрения и нового великого стиля в искусстве и литературе. Каждый вновь появляющийся стиль — это своего рода новый взгляд на мир. Это не только эстетическое обобщение в произведении, но новое эстетическое восприятие действительности. Человек открывает в окружающей его вселенной какую-то не замечавшуюся им ранее стилистическую систему — научную, религиозную, художественную. В свете этой системы он воспринимает все окружающее, и обычно это открывает собой период радостного удивления перед миром. Восхищение перед миром становится как бы чертой мировоззрения и начального этапа новой «стилистической формации».

Так было и в раннем периоде древнерусской культуры. Об оптимистическом характере первого (домонгольского) периода русского христианства писали многие. В качестве объяснения приводилось отсутствие в древнерусском христианстве аскетизма. Но дело не ограничивается оптимистичностью раннего древнерусского христианства: само отсутствие в нем аскетизма требовало бы объяснения, в свою очередь.

Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству, — язычеству, типичному для родового общества. В древнерусском язычестве гнездился страх перед могуществом природы, сознание бессилия человека перед стихийными силами. Христианство

в своей богословской концепции мира ставило человека в центр природы, а природу воспринимало как служанку человека, открывало в природе «мудрость» мироустройства и божественную целесообразность. Это хотя и не освобождало человека полностью от страха перед силами природы, все же коренным образом меняло отношение человека к природе, заставляло его задумываться над смыслом устройства вселенной, смыслом человеческой истории, открывало в них предвечный замысел и нравоучение человеку. Первые русские произведения полны восхищения перед мудростью вселенной, но мудростью не замкнутой в себе, а служащей человеку. Владимир Мономах пишет в «Поучении»: «Что есть человѣкъ, яко помнищи и́? Велий еси, господи, и чюдна дѣла твоя, никак же разумъ человѣческъ не можеть исповѣдати чюдес твоихъ; — и пакы речемъ: велий еси, господи, и чюдна дѣла твоя, и благословено и хвално имя твое в вѣкы по всей земли. Иже кто не похвалитъ, не прославляетъ силы твоея и твоих великых чюдес и добротъ, устроеных на семь свѣтѣ: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звѣзды, и тма и свѣт, и земля на водах положена, господи, твоимъ промысломъ! Звѣрье розноличнии, и птица и рыбы украшено твоимъ промыслом, господи! И сему чюду дивуемъся, како от персти создавъ человека, како образи розноличнии въ человѣчьскыхъ лицих, — аще и весь миръ совокупить, не вси въ одинъ образ, но кый же своимъ лиць образом, по божии мудрости».

Церковная и нецерковная литература домонгольского периода полна и другими приглашениями «подивиться» или «почудиться» окружающему человека миру. На пути такого антропоцентрического восприятия мироздания менялись и отношения между художником и его произведением, между зрителем и объектом искусства. И это новое отношение уводило человека от канонически признанного церковью. Человек осознавал свое назначение и свою значительность в окружающем его мире.

Бог прославляется человеческими делами. «И кто не удивится, възлюблении, яко богу прославитися нашими делесы?» — говорит Феодосий Печерский в «Слове о терпении и любви». Но и Бог, в свою очередь, прославляет человека церквами, иконами и церковною службою. Отсюда, с одной

стороны, приглушенность личного начала в творчестве, ибо в человеческом творении прежде всего проявляется не личностное начало, а боговдохновенность и богосозданность, но отсюда же, с другой стороны, величие и монументальность произведений искусства и литературы, их прославляющий человека характер.

Феодосий Печерский утверждает: «...на честь бо намъ стлъпи (столпы) суть и стены церковныа, а не на бесчестие». Для человека – клепание в била (звон в железные доски), призывающее его ко святой службе, для человека пение церковное, для него и образы, и кадило, к нему обращенное, и чтения Евангелия и житий святых.

Нечто подобное находим мы и в одном из первых произведений русской литературы – в «Слове о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона. В своем «Слове» Иларион обращается к умершему князю Владимиру Святославичу с риторическим призывом встать из гроба и взглянуть на честь, которая ему оказана: «Отряси сонъ, взведи очи, да видиши какоя тя чьсти господь тамо сподобил, и на земли не безпамятна оставилъ сыномъ твоимъ». Называя эту «честь», Иларион указывает на потомство Владимира – его сыновей, на цветущее благоверие, на град Киев «величьствомъ сияющь», на «церкви цветущии». Церковь Благовещения – это не только честь Богу и Владимиру, но и честь всем горожанам Киева. Искусство, следовательно, служит человеку, «воздает ему честь», славит его и возвышает.

Обращенность искусства к его создателям и ко всем людям стало стилеформирующей доминантой всего монументального искусства и всей литературы домонгольского периода. Именно отсюда идет импозантность, торжественность, церемониальность всех форм искусства и литературы этого времени.

Литературный стиль всего домонгольского периода может быть определен как стиль монументального историзма. Люди этого времени стремились увидеть во всем значительное по содержанию, мощное по своим формам. Стиль монументального историзма характеризуется стремлением рассматривать изображаемое как бы с больших расстояний – расстояний пространственных, временных (исторических), иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее

красивое представляется большим, монументальным, величественным. Развивается своеобразное «панорамное зрение». Летописец видит Русскую землю как бы с большой высоты. Он стремится вести повествование о всей Русской земле, сразу и легко переходит от события в одном княжестве к событию в другом – на противоположном конце Русской земли. Летописец все время перебрасывает свой рассказ из Новгорода в Киев, из Смоленска во Владимир и т. п. Это происходит не только потому, что летописец соединял в своем повествовании источники различного географического происхождения, но и потому еще, что именно такой «широкий» рассказ отвечал эстетическим представлениям своего времени.

Стремление соединить в своем повествовании различные географические пункты характерно и для сочинений Владимира Мономаха – особенно для его биографии.

Действие «Сказания о Борисе и Глебе» также происходит как бы в пути, переходит из одного места Русской земли в другое. На севере – это Новгород, где новгородцы препятствуют Ярославу бежать за море к варягам. На юге – это печенежская степь, куда Владимир посылает Бориса с войском. На западе – это пустыня между Польшей и Чехией, куда бежит и где погибает злою смертью Святополк Окаянный. На востоке – это Волга, куда отправляется Глеб. Действие «Сказания» как бы охватывает всю Русскую землю.

Характерно, что писатели XI–XII веков воспринимают победу над врагом как обретение «пространства», а поражение – как потерю пространства, несчастье – как «тесноту». Жизненный путь, если он исполнен нужды и горя, – это прежде всего «тесный путь».

Многочисленные упоминания различных географических точек в произведениях этого времени далеко не случайны. Древнерусский писатель как бы стремится отметить побольше различных мест совершившимися в них историческими событиями. Земля для него свята, она освящена этими историческими событиями. Он отмечает и то место на Волге, где конь Бориса запнулся в поле и сломал себе ногу, и Смядынь, где Глеба застала весть о смерти отца, и Вышгород, где были затем похоронены братья, и т. д. Автор как бы торопится связать с памятью о Борисе и Глебе побольше различных

мест, урочищ, рек и городов. Это особенно знаменательно в связи с тем обстоятельством, что культ Бориса и Глеба непосредственно служил идее единства Русской земли, прямо подчеркивал единство княжеского рода, необходимость братолюбия, строгого подчинения младших князей старшим.

Эти священные места — как бы маяки, населяющие Русскую землю. Пространство как бы нуждается в том, чтобы оно было как можно больше населено историческими воспоминаниями и церковными реликвиями. И не случайно автор «Сказания о Борисе и Глебе» говорит, что оба брата были просты и смиренны, на «высокая мѣста и жилища (селения. – *Д.Л.*) въселистася». Священные места в Русской земле представляются автору как некие возвышенности, вышки, созданные людьми. Они расставлены по всей Русской земле. Борис и Глеб – защитники не одного какого-либо города в Русской земле, но всех: в отличие от Дмитрия Солунского, говорит автор «Сказания», обращаясь к Борису и Глебу, – «вы не о единомь бо градѣ, ни о дѣву, ни о вьси (одном селе. – *Д.Л.*) попечение и молитву въздаета, нъ (но) о всеи земли Русьскѣи». Говоря о чудесах, происходящих от места их погребения, автор подчеркивает, что чудеса эти совершались над всеми, приходящими из самых дальних стран: «Не нашему единому языку тъкъмо подано бысть бъгъмь, нъ и вьсеи земли спасение...» Человек стремится подчинить себе, освоить как можно более обширные пространства.

Мы привыкли соединять в своих представлениях монументализм с неподвижностью и косностью, но монументализм XI–XIII веков был монументализмом движения, монументализмом динамическим.

Владимир Мономах постоянно подчеркивает многочисленность и быстроту своих походов. Летописец в «Повести временных лет» также больше всего говорит о походах, о движениях масс войск. Быстрота передвижения – это как бы символ власти над пространством. Монументальность XI–XIII веков – это прежде всего сила, а сила – это масса в движении.

Для динамического стиля характерно динамическое же описание явлений природы, из ряда вон выходящих явлений: грозы (грозы зимой, грозы во время битвы), нашествий саранчи, засухи, наводнения, обратного течения воды в Волхове, землетрясения.

Но движение в пространстве — это и движение во времени. Отсюда особый историзм эстетических представлений Древней Руси. События современности оцениваются и приобретают особую значительность на фоне событий прошлого. Отсюда огромный интерес авторов к этому прошлому, интерес к истории. История — доминирующая тема в литературе домонгольского периода и в древнерусской литературе вообще. Настоящее воспринимается как продолжение прошлого. Прошлое живо в настоящем, как бы объясняет это настоящее.

Слагая свою хвалу Ярославу Мудрому в «Слове о Законе и Благодати», митрополит Иларион славит одновременно его отца и дедов. Ярослав — наследник славы своих предков. Сама слава воспринимается как нечто движущееся в огромных географических пределах, достигающая дальних стран. Она также монументальна, динамична и органически слита со славой «дедней и отней» (отцовской).

Сами представления о времени были в Киевской Руси иными, чем у нас. Мы воспринимаем прошлое как нечто находящееся позади нас, а будущее — как находящееся перед нами. Древнерусские представления о времени исключали нас самих из восприятий времени. Прошлое находится впереди какого-то причинно-следственного ряда, настоящее и будущее — в конце его, позади. «Передние князи» — это давние первые князья. «Задние» события — последние. Поэтому «переднее» — прошлое было и самым важным, как начало событийного ряда, как его объяснение, первопричина. От этого и «внуки» казались только наследниками славы и политики своих дедов и прадедов. Они могли наследовать «путь» дедов или растерять их наследство и, как следствие, лишиться славы дедов.

Еще одна важная особенность отличала стиль монументального историзма: церемониальность. Литература домонгольской Руси не столько изображала события, сколько вводила их в церемониальные формы. Житие святого — это торжественный парад его жизни, воздание ему почестей писателем. Как и всякие церемонии, литературное «обряжение мира» происходит в традиционных и исторических формах. Торжественные, церемониальные одежды — всегда традиционны, всегда восходят к прошлому.

Традиционные приемы, которыми сообщается о тех или иных событиях, – это не только дань уважения к прошлому, но это и своеобразный этикет, а писатель в известном роде церемониймейстер, занятый заботой о том, чтобы обо всем было сказано в приличествующих случаю выражениях, чтобы дух событий был понят в своей традиционности. Понять что-либо означало для писателя увидеть в предмете своего повествования какие-то значительные аналогии в прошлом.

Но писатель заботился и о том, чтобы его герои вели себя подобающим образом, чтобы ими были произнесены все необходимые слова. «Сказание о Борисе и Глебе» от начала и до конца обставлено речами действующих лиц, как бы церемониально комментирующих происходящее. Борис и Глеб перед своим убиением произносят длиннейшие речи и молитвы, демонстрирующие их беззлобие, покорность богу и подчинение своему старшему брату Святополку.

И еще одна черта эстетической формации монументального историзма – это его ансамблевый характер.

Средневековое искусство – системное искусство, системное и единое. Оно объединяло видимый мир и невидимый, сотворенное человеком со всем космосом. Оно стремится заполнить своими произведениями пространство, утвердить присутствие человека в мире, объединить этот мир. Искусство – это мирное покорение и церемониальное обряжение окружающего мира. Это столь же характерно для изобразительного искусства и зодчества, как и для литературы.

Произведения литературы ее первого периода – это не замкнутые в себе и не обособленные мирки. Каждое из них как бы тяготеет к соседним, уже существовавшим до него; и это – несмотря на все различие существующих жанров. Каждое новое произведение есть прежде всего дополнение к уже имеющимся, но дополнение не по форме, а по теме, по сюжету. Оно призвано заполнить как бы некоторые, остающиеся еще, не отмеченные этими своеобразными «маяками» точки в пространстве человеческой истории.

Все это было возможным потому, что вымысел был крайне ограничен в древнерусской литературе и литература примыкала к действительности и оформляла ее. Единство тем в литературе определялось единством самой действительности, из которой эти темы черпались.

Литература претендовала говорить только о том, что существует или существовало. Вымышленные герои отсутствовали в древней литературе. Если в литературе и рассказывалось о чудесах и явно не могущих произойти событиях, то авторы выдавали их за действительность, а читатели обязаны были им верить.

Вымышленная тема в принципе замкнута в себе, но когда литература претендует говорить только о действительном, называть только исторически существовавшие факты и рассказывать только о действительно живших героях, то в такой литературе нет замкнутости сюжетов. Эта литература едина единством человеческой истории. Тем самым создается реальная почва для ансамблевого строения литературных произведений этого времени. В летописи могут быть соединены произведения самых различных жанров – лишь бы все эти разножанровые произведения были связаны единством ее исторической темы, располагались друг за другом в исторической последовательности. Рассказ, основанный на дружинном предании о походе на греков, дополняется документом – текстом договора с греками. Рассказ о борьбе Ярослава Мудрого за престол дополняется материалами жития его братьев и т. п. Так строится не только летопись. Три произведения Владимира Мономаха – это тоже «ансамбль». Они объединены единством морально-политической программы. «Сказание о Борисе и Глебе» – это житие, дополняемое их «чудесами», церковными службами им и проч. Это все своеобразные литературные «ансамбли», но и вся литература в целом – это тоже «ансамбль».

И летопись, и Житие Бориса и Глеба, и сочинения Мономаха, и Киево-Печерский патерик, и проповеди Феодосия Печерского, а также его Житие – все они в той или иной мере имеют единую тему – события русской истории. Все они объединены единством монументально-исторического стиля и служат единой патриотической идее. Тяготение к ансамблевому строению сказалось и в первых книгах, из дошедших до нас, – Изборнике Святослава 1073 года и Изборнике 1076 года. Это сборники различных произведений – своеобразные библиотеки в одном большом томе.

Ощущение всех литературных произведений как некоего огромного литературного ансамбля – ансамбля, распространяющегося на весь мир и на всю его историю, в котором от-

дельные произведения согласуются друг с другом не по жанру, а по своим темам, составляет замечательную черту монументальной литературы Древней Руси. Литература вся составлена как бы из огромных, грубо отесанных каменных глыб. Эстетика дистанций, о которой мы писали выше, заставляет и нас взглянуть на весь грандиозный ансамбль древнерусской литературы с некоей дистанции, чтобы увидеть в нем некое большое художественное единство, как бы одно произведение многих и многих авторов-тружеников.

Монументальный ансамбль древней литературы создан «в честь человеку». Он создан в честь человеку, чтобы прославить мир, красоту и гармонию мироздания. Литература имела своею целью окружить человека церемониальными формами, этикетно обрядить и украсить мир и историю. Она полна поэтому пышности и парадности; она празднична и оптимистична, несмотря даже на все преступления и несчастья, которые совершаются в мире и которые описывает литература. Убиты Борис и Глеб, но их убийство оборачивается торжеством идеала. День смерти Бориса и Глеба стал «Великим праздником» всей Русской земли. Смерть Бориса и Глеба явилась торжеством идей братолюбия. Чтобы воспринять именно так злосчастные события 1015 года, надо было обладать особым, величавым отношением к миру и глубочайшим оптимизмом. Через столетие или больше такое же торжество духа древнерусские люди увидят в поражении войск Игоря Святославича Новгород-Северского, в трагической, но славной битве на Калке, в стойкости погибающих под натиском полчищ Батыя рязанцев. Они создадут легенду о невидимом граде Китеже, о Руси, не погибшей и не покоренной жестоким врагом. Ни смерть, если она была достойной, ни поражение, если в нем не было измены мужеству, ни любое несчастье, если оно было перенесено без ропота, – не были унизительны и не воспринимались как падение.

Торжественность литературы Древней Руси была далеко не только внешней. Это было глубокое ощущение всем народом своей значительности.

Литература первого столетия ее существования была оптимистически обращена к будущему. Этот глубокий оптимизм ее символичен. Это великое начало великой литературы.

Стиль монументального историзма продолжает доминировать и в послемонгольский период. Он не исчезает сразу,

заменяясь каким-либо другим стилем. На него постоянно наслаиваются черты нового. Постепенно увеличивается его динамизм. Во второй половине XIV и в XV веке этот динамизм сказывается не только в крупном, в явлениях большого масштаба, но и в мелком. В живописи это выражается в том, что человеческие фигуры и лица как бы схвачены в какой-то определенный момент, в данное мгновение. Люди изображаются в неожиданных ракурсах. Уже нет в этих изображениях той длительности «пребывания», какого-то отзвука неподвижной вечности. На монументальность наслаивается экспрессивность, эмоциональность, психологичность. То же мы видим и в литературе: монументальность осложняется, приобретает эмоциональные формы; выдвигается личностное начало, психологизм, динамизм осложняет стиль, появляется стиль «плетения словес», в котором начинает доминировать контекст над значением отдельных слов. В XVI веке, в пору возрастания централизованного начала в государственной жизни, возрождается монументализм в формах, которые лишены старой непосредственности, и этот монументализм сохраняется в XVII веке в отдельных жанрах.

Но как бы ни изменялся и ни осложнялся стиль монументального историзма в древней русской литературе, он оставался в ней в тех или иных явлениях литературы вплоть до перехода к новому времени. Отсюда ясно, что первому веку в истории русской литературы принадлежит исключительная и определяющая роль. Именно в этот век возникли все ее наиболее характерные особенности — стилистические и, как мы видели выше, идейные.

* * *

Как же возникла древняя русская литература? Откуда черпала она свои творческие силы?

Появление русской литературы в конце X — начале XI века — «дивлению подобно». Перед нами как бы сразу произведения литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании.

Как произошло чудо рождения столь зрелой литературы Руси, которая еще совсем недавно вообще не обладала пись-

менностью? Русь обязана этим необыкновенно удачному стечению обстоятельств.

Русь приняла христианство из Византии, а восточно-христианская церковь разрешала христианскую проповедь и богослужение на своем национальном языке. Поэтому в истории литературы Руси не было ни латинского, ни греческого периодов. С самого начала в отличие от многих западных стран Русь обладала литературой на своем литературном языке, понятном народу.

Второе очень значительное обстоятельство состояло в том, что за век до крещения Руси христианство уже было распространено в родственной по языку Болгарии. Болгария пережила уже золотой век своей литературы – век царя Симеона. Богатая болгарская переводная и оригинальная литература перешла на Русь и здесь стала органической частью литературы русской. На Руси не только переписывались древнеболгарские произведения, но и просто распространялись болгарские рукописные книги. Древнеболгарский язык лишь немногим отличался от русского. Он составил в русской литературе как бы ее второй, возвышенный слой. Он дал русской литературе многие слова с отвлеченным значением. Соединение языка древнеболгарского с обиходным древнерусским дало русскому литературному языку богатую синонимику и богатые оттенки значений.

Не довольствуясь обильной литературой, перешедшей на Русь из Болгарии, отчасти из Моравии, на Руси при Ярославе Мудром создается собственная переводческая школа. Летопись записала о Ярославе Мудром следующее: «И собра писцѣ многы и перекладаше от грек на словѣньское писмо».

На Руси уже в XI веке были переведены с греческого такие произведения, как византийская Хроника Георгия Амартола, «Повесть о взятии Иерусалима» Иосифа Флавия; были сделаны переводы с латинского, древнееврейского, сирийского.

И все-таки объяснение быстрому появлению на Руси зрелой литературы лежит не только в области связей с сильными и старыми литературами, не только в переносах из Болгарии целых произведений и рукописных книг. Основное заключалось в том, что сама русская почва была хорошо подготовлена для создания искусства слова. «Дарам волхвов» из далеких

стран предшествовали «дары своих пастухов» — представителей неученой мудрости народа.

Ко времени появления на Руси литературных произведений Византии и Болгарии на огромной русской территории было уже развито искусство устной речи.

В Начальной русской летописи отразились устные предания, топонимические легенды, исторические песни, славы, певшиеся князьям, пословицы и поговорки. Кроме последних (пословиц и поговорок), фольклорные произведения вошли в летопись лишь своими сюжетами, но и это свидетельствовало о богатстве устного творчества народа. В летописи отразилась точность отдельных формулировок и высота исторического самосознания. Вспомните хотя бы рассказ о смерти Олега от своего коня, рассказ о мести Ольги древлянам, о походах Святослава и многое другое.

Но дело не только в фольклоре. В летописи отразились различные формы устной речи. Краткие речи, с которыми князья обращались к своим дружинам перед битвой, свидетельствуют не только о высоко развитом чувстве воинской чести и о воинском долге, но и об умении в немногих словах выразить емкое содержание ободрения и воодушевления воинам. «Уже намъ сде пасти; потягнемъ мужьски, братья и дружино!» Или: «Уже намъ нѣкамо ся дѣти, волею и неволею стати противу, да не посрамимъ землѣ Рускиѣ, но ляжемъ костьми, мертвыи бо срама не имамъ. Аще ли побѣгнемъ, срамъ имамъ. Не имамъ убѣжати, но станемъ крѣпко, азъ же предъ вами поиду: аще моя глава ляжеть, то промыслите собою». Это знаменитые речи Святослава.

Не менее выразительны речи, которые произносились князьями на вече, или речи представителей народа, обращенные к князьям. Вот что говорили киевляне Владимиру Мономаху в 1097 году: «Молимся, княже, тобѣ и братома твоима, не мозѣте погубити Русьскыѣ земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и возмуть землю нашю, иже бѣша стяжали отци ваши и дѣди ваши трудом великим и храбрьствомь, побарающе по Русьскѣи земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую».

Отправляя послов, князья поручали им произнести те или иные слова. Естественно, что эти речи должны были быть краткими, запоминающимися и содержательными.

Наконец, формы судопроизводства, законодательных установлений «Русской Правды» также должны были быть краткими, ясными, однозначными и выразительными.

Одним словом, разнообразные и богатые формы общественной жизни и публичных выступлений заставляли ценить точность слова, учили обращаться с ним бережно и экономно, учили высоким нормам развитого общественного сознания во всех сторонах публичной жизни.

Не всякому народу досталась на долю и такая способность подняться над узостью национализма в своем высоком патриотическом сознании. Причинами тому были особые формы существования Русского государства. В союзе Руси на равных основаниях участвовали и восточнославянские племена и финно-угорские народы: меря, весь и чудь. В Киеве был «Чудин двор», в Новгороде целый район – «Чудин конец». В составе русского войска, ходившего походом на Константинополь, плечом к плечу со славянами сражались варяги и чудь.

Благодаря своей национальной уживчивости древние русичи обитали целыми поселениями в Константинополе, в греческом Херсонесе в Крыму, на Афоне, на полуострове Тихань на озере Балатон в Паннонии и во многих других местах. Кочевые народы тюркского происхождения свободно расселялись на территории Древней Руси и принимали здесь христианство.

Русь не была отгорожена Китайской стеной ни от южных, ни от западных, ни от восточных или северных соседей. Это была мировая и мирная держава, не опасавшаяся своего поглощения соседними культурами.

Формированию идейного содержания русской литературы способствовали и те произведения болгарской литературы, которые были перенесены на Русь в X–XI веках. Основатели болгарской письменности и болгарской литературы ученые братья Кирилл и Мефодий, а также их ученики ощущали себя не только болгарами, но и представителями всего славянства. Их проповедь была обращена ко всем славянским народам. Именно это широкое сознание себя «народом среди народов» было свойственно и всем лучшим произведениям древнерусской литературы: «Повести временных лет», житиям первых русских святых, Киево-Печерскому патерику, «Хождению черниговского игумена Даниила в Святую Зем-

лю» и многим другим. Это замечательное сознание единства русского народа со всем человечеством, приобретая разные формы, станет существенной особенностью русской литературы на всем протяжении ее существования.

* * *

Остановимся на некоторых произведениях древней русской литературы первого века ее существования.

«Слово о Законе и Благодати» первого киевского митрополита из русских («русина») Илариона, поставленного по воле киевского князя Ярослава Мудрого, посвящено сложнейшей историософской проблеме. Оно говорит о месте Руси во всемирной истории, об исторической роли русского народа.

Оно полно гордости успехами христианской культуры на Руси, и как удивительно, что при всем том оно лишено национальной ограниченности. Иларион не ставит русский народ выше других народов, но говорит о равноправности всех народов мира, приобщившихся к христианству.

Это совершеннейшее произведение и по глубине своего содержания и по той блестящей форме, в которую оно облечено: последовательность, логичность, легкость переходов от темы к теме, ритмичность организации речи, разнообразие образов, художественный лаконизм делают «Слово» Илариона одним из лучших произведений мирового ораторского искусства. И произведение это — не перепев византийских образцов, ибо это не просто богословская проповедь того типа, который был распространен в Византии, а богословско-политическое выступление, которых не знало византийское ораторство, и при этом на национально-русскую тему.

Совсем другого характера «Повесть временных лет». Это произведение многих авторов-летописцев. Последний из них, Нестор, придал Начальной летописи художественную и идейную законченность и дал ей название, которое в полном виде звучит так: «Се повѣсти времяньныхъ (прошлых) лѣтъ, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киевѣ нача первѣе княжити, и откуду Руская земля стала есть».

В произведении этом выдержано художественное единство, но единство особого, средневекового типа. Сейчас мы требуем от художественного произведения полного единообразия стиля, жесткого единства идей, полного отсутствия

швов и различий в отдельных частях. Если различия есть, – они входят в некое объединяющее их строгое единство. Художественное единство в Древней Руси понималось гораздо шире. Это могло быть единство ансамбля, создававшегося в течение ряда десятилетий и сохранявшего авторские особенности в каждом из своих разновременных слоев. Переходя от темы к теме, произведение соблюдало и те особенности стиля, которые по литературному этикету Средневековья приличествовали каждой из тем. В рассказах о самых древних событиях русской истории летописец отражал свойственные дошедшим до него легендам простодушие, краткость и то, что мы сейчас назвали бы фабульностью. В рассказе о крещении Руси и о первых христианах-мучениках летописец применяет всю церковную церемониальность изложения. С другой стороны, совершенно особый характер носит летописный рассказ об ослеплении князя Василька Теребовльского. Здесь летописцу нужно было поразить читателя ужасом совершенного преступления, и этот рассказ полон своеобразного средневекового натурализма, в котором детально описываются самые ужасные подробности.

Историческое сознание, выраженное в «Повести временных лет», очень высокого уровня. Первые летописцы не просто записывали события, свидетелями которых они были, – они восстанавливали древнейшие события русской истории по самым разнообразным, письменным и устным, источникам. Они были своеобразными исследователями, взвешивали различные версии одного и того же события. К своей работе они привлекали греческие хроники и греческие жития святых, документы, сохранившиеся в княжеских архивах (тексты договоров с греками), церковные записи, родовые предания, легенды и проч. Восстанавливая ход русской истории, летописцы стремились связать эту историю Руси с историей мировой, понять ее как часть всемирной истории, выяснить происхождение славян и отдельных восточнославянских племен. С педагогической ясностью описывает летописец географическое расположение Руси, начиная свое описание с водораздела Волги, Днепра, Западной Двины, и, следуя их течению, описывает – в какое море каждая из этих рек впадает и в какие страны можно плыть по каждому из морей.

В целом «Повесть временных лет» представляла для своего времени своеобразную историческую энциклопедию. Из нее можно было узнать и о происхождении славянской азбуки, и об основах христианской религии, и о происхождении рода русских князей, и о многом другом.

А какой великолепный ансамбль представляют собой сочинения киевского князя Владимира Мономаха! Они включены в один из списков «Повести временных лет» (так называемый Лаврентьевский) под 1097 годом и известны под названием «Поучения» Владимира Мономаха. На самом деле «поучением» может быть признано только первое из них; за этим первым следует автобиография Мономаха, где он рассказывает о своих «путях» (походах) и «ловах» (охотах); за автобиографией следует письмо Мономаха своему исконному врагу Олегу Святославичу («Гориславичу») — родоначальнику князей Ольговичей. Все три произведения написаны в различной манере, соответственно тем различным жанрам, которые они представляют, но все три связаны одной сильной политической идеей, — и как связаны! На этой идее сочинений Владимира Мономаха стоит остановиться особо. В сущности, она очень проста, но в своей простоте поражает современного читателя высоким чувством патриотического долга.

Во времена Мономаха Русь уже переживала интенсивный процесс феодального дробления со всеми свойственными этому дроблению опасностями для силы и независимости Русской земли. Феодальное дробление было результатом интенсивного экономического и культурного роста отдельных феодальных княжеств, при котором каждая из растущих областей выражала тенденцию к обособлению и самостоятельности. Этот процесс был естественным и даже необходимым, но он вел к военному ослаблению Руси и к многочисленным междоусобным войнам. Надо было предотвратить распад Руси. Ослаблению экономических связей надо было противопоставить сознание политического и исторического единства Русской земли. Надо было воззвать к самым высоким патриотическим чувствам русских людей и дать личный пример забвения обид. Высокий долг падал на церковь и литературу. И вот Владимир Мономах, а немного спустя его сын Мстислав Великий (внук последнего англосаксонского короля Гаральда, потерпевшего страшное поражение от Вильгель-

ма Завоевателя в битве при Гастингсе 1066 года; отец Мстислава Мономах был женат на дочери Гаральда) покровительствуют летописанию, создают культ князей братьев Бориса и Глеба, стремятся к тому, чтобы каждый из князей владел своим уделом и чтобы князья вступали в договорные и союзные отношения между собой.

Мало этого, Мономах пишет собственные сочинения, где пропагандирует строгое соблюдение взаимных обязательств и взаимную уступчивость князей. В первом из своих сочинений он иллюстрирует свою идею богословскими соображениями. Между прочим, он прибегает к следующему примеру из мира природы. Весной птицы летят из рая и расселяются по всей земле. Каждая птица находит свое место, и каждая довольствуется своим уделом: и слабые птицы, и сильные. В следующем сочинении – своей автобиографии – Мономах стремится показать необходимость соблюдать принципы довольства наследственными уделами личным примером, но не боится говорить и о тех нарушениях своего принципа, которые допускал сам. Но самый изумительный пример уступчивости дает Мономах в своем письме к Олегу. События, послужившие поводом к письму, разыгрались в 1096 году. В междоусобной битве был убит сын Мономаха Изяслав. Старший сын Мономаха Мстислав послал письмо Олегу с требованием отступиться от незаконно захваченных Олегом владений и предложением примирить Олега с Мономахом. Олег отказался, двинул войска против Мстислава, был наголову им разбит и бежал за пределы Руси. Мономах пишет не просто убийце своего сына: Олег в какой-то краткий промежуток примирения крестил Изяслава, был его крестным отцом и, по представлениям Средневековья, должен был поэтому считаться больше чем сыноубийцей. О чем же пишет Мономах разбитому в бою убийце своего сына? Он прощает его. Он предлагает ему вернуться на принадлежащие ему земли, он утешает его. Он пишет ему, что жизнь человеческая в руках Божьих, и просит его только отпустить молодую вдову Изяслава, чтобы он мог утешить ее. Письмо Мономаха свидетельствует об очень высоких нравственных представлениях Мономаха и о его готовности от многого отказаться ради мирного утверждения принципа – «пусть каждый князь владеет княжеством своего отца».

Другой памятник, очень характерный для начального этапа древнерусской литературы, — «Житие Феодосия Печерского».

«Житие Феодосия Печерского» представляет собой совершенно особый и уже вполне законченный тип повествования. И это удивительно, так как оно принадлежит тому же Нестору, который придал окончательное и совсем другое оформление Начальной русской летописи, созданной на основе предшествующих летописей «Повести временных лет». Умение подчиняться требованиям жанра — признак писательской зрелости в Средние века.

«Житие Феодосия», хотя и являлось по существу первым русским житием, сообщило завершенность биографическому жанру. Рассказ о человеке ведется в этом произведении путем выделения только некоторых моментов его жизни: тех, в которых он достигает как бы наивысшего своего самопроявления.

Из «Жития Феодосия» мы узнаем многое об окружающем его быте и целиком погруженных в этот быт людях. Здесь и быт богатого провинциального дома в Васильеве, — дома, руководство его властной матерью. Кое-что мы можем узнать о положении слуг в этом доме. Бегство Феодосия в Киев рисует нам торговый обоз с тяжело нагруженными товарами телегами. Его отношения с Изяславом позволяют заглянуть в княжеские хоромы во время пира. Узнаем мы и о разбойничьих шайках, бродивших вокруг Киева, о суде и судьях, о писании книг в монастыре Великим Никоном и о помощи ему Феодосия в их переплетении. Вводит нас жизнеописатель в монастырскую и княжескую поварни, в крестьянский хлев, в пекарню, в монастырские кельи. Но описание быта ведется очень сдержанно, — только в той мере, в какой это необходимо для сюжета, — сюжет же всегда поднимается над незначительностью и суетностью «мимотекущей» жизни. В обстановке временного усматривается вечное, в случайном — значительное. Благодаря этому быт оказывается обряжен в церемониальные формы высоких церковных добродетелей. Это как бы те ветхие и бедные реликвии, которые лежат в драгоценнейших сосудах и которым поклоняются пришедшие в монастырь странники. Бедность монастырской жизни, которая рисуется в «Житии Феодосия», драгоценнее всякого земного богатст-

ва, потому-то она так и подчеркивается. В целом «Житие Феодосия» нашло идеальное выражение монументальному стилю в описании «частной» жизни отдельного человека. В последующем развитии русской литературы рассказ о жизни человека постоянно стал слагаться из отдельных эпизодов, рисующих эту жизнь значительной и как бы предопределенной свыше.

Я привел только немногие примеры русских литературных произведений XI – самого начала XII века, но русская литература этого периода очень богата и разнообразна. В каждом из ее произведений можно найти черты эпохи, индивидуальные черты их авторов, разнообразие жанров. Упомяну еще некоторые произведения XI века: это поучения Феодосия Печерского, в которых он высказывает вполне оригинальные взгляды, это поучения новгородца Луки Жидяты (сокращение от имени Жидислав), рассчитанные на самую простую аудиторию и этим резко отличающиеся от произведений Илариона и Феодосия, это сборники изречений вроде «Стословца» Геннадия, церковные послания, молитвы и проч. и проч.

Начало древней русской литературы определило собой ее характер и на последующее время. Знаменательно, что влияние «Повести временных лет» оставалось действенным в течение полутысячелетия. В полном или сокращенном виде она переписывалась в начале большинства областных и великокняжеских летописей. Ей подражали последующие летописцы. Для политических прославлений образцовым в течение многих веков оставалось «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, для житийной литературы типа «мартирий» (рассказов о мученичествах) – жития Бориса и Глеба, для житийных биографий – «Житие Феодосия Печерского», для церковных поучений – поучения того же Феодосия и т. д.

В дальнейшем русская литература обогащается новыми жанрами, усложняется по содержанию; ее общественные функции приобретают все более и более разветвленные формы и многообразное применение, литература становится все публицистичней, но не утрачивает от этого своей монументальности и средневекового историзма.



Литература эпохи «Слова о полку Игореве»

XII век

Эпоха, которой принадлежит гениальный памятник «Слово о полку Игореве», противоречива и трагична в своей основе. С одной стороны, она отмечена высоким развитием искусств: живописи, архитектуры, прикладного искусства, литературы, а с другой — она характеризуется почти полным распадом Русского государства на самостоятельные княжества, отмечена разорявшими страну междоусобными войнами князей и чревата крайним ослаблением Руси как единого целого в военном отношении.

В свое время — в конце XI и в первой четверти XII века — Владимир Мономах вносил сильное сдерживающее начало в процесс дробления Русской земли. Ему удалось глубокими походами в степь утишить половцев. Со смертью Владимира Мономаха в 1125 году вражда между отдельными русскими

Публ. по: Литература эпохи «Слова о полку Игореве» // Памятники литературы Древней Руси. XII. М.: Худож. лит., 1980. С. 5–22.

князьями усиливается, а через некоторое время возобновляются и набеги половцев. Вплоть до татаро-монгольского нашествия междоусобия отдельных ветвей княжеского рода становятся все более и более частыми. Воюют в основном потомки Владимира Мономаха – «мономаховичи» – с потомками постоянного противника Мономаха Олега Святославича – «ольговичами». Но внутри каждого из этих родов возникают собственные противоречия интересов. Слабеет значение Киева как объединяющего центра Руси, особенно после тех разорений, которым подвергли его сами русские князья. Возникают новые сильные центры притяжения – Владимир-Залесский во Владимиро-Суздальской земле, Чернигов, Владимир-Волынский и Галич на юго-западе Руси, Новгород и Смоленск на севере и северо-западе. Появляется тенденция к еще более мелкому дроблению. Политическое и военное единство Руси фактически перестает существовать. Однако не прекращается сознание исторического, языкового и культурного единства всего русского народа на огромном пространстве северо-востока Европы. Развивается трагическое противоречие между осознанием себя как единого целого и фактическим положением дел. В этих условиях особую роль суждено было сыграть литературе.

* * *

Литература народа – это не простая совокупность литературных произведений. Сами по себе отдельные произведения еще не создают литературы как единого целого. Произведения составляют литературу, когда они связаны между собой в некое органическое единство, влияют друг на друга, «общаются» друг с другом, входят в единый процесс развития и несут совместно более или менее значительную общественную функцию.

Уже в XI веке началось «взаимообогащение литературных произведений», которое в условиях Древней Руси сводилось главным образом к заимствованию из одного произведения в другое целых отрывков или отдельных фраз, к присоединению произведений друг к другу, к их включению друг в друга, к составлению их новых редакций и новых памятников на основе старых.

Вся литература XII – начала XIII века является единым реальным целым, в котором произведения объединяются, со-

единяются между собой, продолжают друг друга, составляются на основе переписки нескольких писателей, живущих в разных концах Русской земли. При этом она становится литературой единой темы — темы Русской истории, литературой единой идеи — идеи необходимости единения.

Вся русская литература XII — начала XIII века, по существу, одно произведение, которое мы могли бы назвать своеобразной проповедью единства Русской земли, — проповедью, составленной в разных концах Руси и в едином стиле монументального историзма, который, возникнув в XI веке, именно в XII и начале XIII века достигает своего особенно активного и действенного расцвета.

Академик М.Н. Сперанский писал о «нескольких типах литературы» в период раздробленности Руси. «И типы эти, — добавлял он, — будут основаны, между прочим, на различиях племенных, также и областных (государственных). Несомненно, что благодаря различной культуре отдельных племен и христианская литература распространялась далеко не равномерно, иначе сказать: перед нами этнографический принцип развития нового миросозерцания»[1].

Представления о том, что литература была так же «раздроблена», как был раздроблен на отдельные феодальные княжества весь государственный строй Древней Руси, стали общим местом всех историй литературы. Однако, в отличие от М.Н. Сперанского, все последующие исследователи главное значение придавали не «этнографическому принципу», а политическому и разделение русской литературы в XII и в начале XIII века вели главным образом по княжествам, а не по племенам.

Между тем русская литература этого периода не только развивается как единое целое, но и не обнаруживает никаких признаков стремления к самостоятельному и замкнутому развитию в отдельных областях и княжествах. Ни одно из произведений не выступает с проповедью разделения Руси, выделения того или иного княжества в самостоятельное государство, не отражает стремления к культурному отъединению. Напротив, писатели этого периода как бы устремля-

[1] *Сперанский М.Н.* История древней русской литературы: Пособие к лекциям в университете. Введение. Киевский период. 3-е изд. М., 1920. С. 282.

ются друг к другу через огромные расстояния, пытаются установить между собой связи, вступают в переписку, ощущают свою общность и избегают творческого одиночества.

Стремление к преодолению расстояний определяет весь характер литературы этого периода. Каждое из княжеств дорожит своею исторической общностью с другими княжествами. Монументально-исторический стиль определяет содержание, форму и самые способы ведения летописания, составления литературных произведений, отношение писателей к окружающему миру и характер литературной традиции.

* * *

Начнем с летописания, которое в силу своего местного происхождения, казалось бы, должно было более всего отразить местный характер литературы, если бы он действительно существовал. Между тем именно летописям принадлежала главная роль в деле взаимообогащения литературы в XI–XIII веках.

«Повесть временных лет», составленная в самом начале XII века, подвела своеобразный итог литературному развитию предшествующего времени. Она явилась своего рода «литературной антологией» русских и переводных произведений. Помимо предшествующих летописных сводов и византийских хроник в «Повести временных лет» были отражены идеи и отдельные выражения из «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Поучение о казнях божиих» Феодосия Печерского, жития первых русских святых и сказания о первых насельниках Киево-Печерского монастыря, повесть об ослеплении Василька Теребовльского и многое другое[1]. В XII веке происходит дальнейшее развитие объединяющего значения «Повести временных лет». Она ставится в начало многих местных летописей. По-видимому, «Повесть временных лет» начинает собой Черниговское летописание князей «ольговичей» (потомков Олега Святославича). Она появляется в Переяславле-Южном, во Владимире-Волынском и во Владимире-Залесском. В по-

[1] См.: *Шахматов А.А.* «Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. IV. М.; Л., 1940.

следнем княжестве в один из списков «Повести временных лет» включается собрание сочинений Владимира Мономаха – его «Поучение», его автобиография и его письмо к Олегу Святославичу. И это включение сочинений Мономаха становится важнейшей символической акцией, знаменуя собой принятие политических и моральных заветов Мономаха во Владимиро-Суздальском княжестве.

Движение «Повести временных лет» по всему горизонту Русской земли не было только историко-литературным фактом. Это был факт политического самосознания.

В XII веке многие летописи, продолжающие общерусское летописание, составляются в разных городах и монастырях Руси. Летописи ведутся не только в Киеве, но и в Чернигове, в Переяславле-Южном (летопись княжеская и летопись епископская), в Новгороде (и при владычнем дворе в Святой Софии, и в небольшой уличанской церкви Якова в Неревском конце Новгорода), и во Владимире-Залесском, и в Ростове, и во Владимире-Волынском, и в Смоленске, а возможно, и во многих других городах Руси.

При этом замечательным свойством русского летописания оставалось его стремление охватить все русские события, всю Русскую землю. В Киевской летописи, начиная со второй половины XII века, мы находим черниговскую летопись и летопись Переяславля-Южного, извлечения из северо-восточного летописания. В летописи Переяславля-Южного отражается Киевская летопись. В новгородском летописании, открывавшемся киевским Начальным летописным сводом XI века, в начале XIII века отражается рязанское летописание и постоянно делаются попытки выйти за пределы только новгородских событий.

В летописание Владимира-Залесского включаются обе летописи Переяславля-Южного – епископская и княжеская, а через них и Киевская летопись.

Выходило за пределы местных событий и летописание Владимира-Волынского.

Летописцы как бы ищут друг друга, их летописи постоянно переписываются и перевозятся из одного княжества в другое. В этом сказываются объединительные тенденции летописцев, их замечательное стремление к «преодолению пространства».

В разнообразии манер, в которых написаны дошедшие до нас летописи (из них главные рукописи – Ипатьевская XV века, Лаврентьевская XIV века и Синодальный список Новгородской первой летописи XIII века), сказываются не столько местные черты, так называемое «областническое начало», сколько разнообразие жанров вошедших в них произведений, разнообразие социальной принадлежности летописцев и разнообразие литературных и «деловых» влияний, которое они испытали.

В Киевский свод 1200 года (он читается ныне в составе Ипатьевской летописи) вошли не только летописи других летописных центров Руси, но и особый жанр семейных хроник князей – Ростиславичей (потомков Ростислава Мстиславича), Святослава Ольговича и его сына Игоря Святославича (героя «Слова о полку Игореве»), вошли повести о княжеских преступлениях – Повесть об убийстве Игоря Ольговича и о преступлении Владимирки Галицкого. Заключался свод торжественной речью игумена Выдубецкого монастыря Моисея по случаю построения монастырской стены над Днепром. Этим обилием и жанровым разнообразием источников определилось в значительной мере литературное богатство сохранившейся до нашего времени Ипатьевской летописи за XII век.

Летопись Владимира-Залесского (она сохранилась в составе Лаврентьевской) велась при храме Успения Богородицы и поэтому отразила стремление своих церковных составителей видеть в каждом знаменательном событии заступничество Богородицы, ее особое покровительство городу Владимиру и владимирскому князю. Летопись Владимира-Залесского отразила влияние главным образом церковной литературы: Паримийника, Жития Бориса и Глеба, слова Феодосия Печерского о «казнях Божиих», «Слова о Законе и Благодати» и проч.

Значительно меньше литературных источников отразила Новгородская летопись. Ее язык ближе всего деловой прозе – языку берестяных грамот и «Русской Правды». Замечательно, однако, что литературные источники летописей также свидетельствуют об их распространении по всей Русской земле. Так, например, киевское «Слово о Законе и Благодати» оказывает воздействие на летопись и на северо-востоке Руси во Владимире-Залесском, и на юго-западе – во Владимире-Во-

лынском. Характерно также, что наиболее детальный рассказ об убиении Андрея Боголюбского попал не в летопись Владимира-Залесского, где события происходили, а в киевскую (сейчас этот подробный рассказ читается в Ипатьевской летописи, а более сжатый — в Лаврентьевской).

Своеобразную местную ограниченность можно усмотреть лишь в некоторых частях новгородского летописания, но объясняется это тем, что одна из новгородских летописей велась в небольшой церкви уличан на Яковлевой улице Неревского конца Новгорода ее попом Германом Воятой. Священники уличанских церквей в Новгороде выбирались жителями улицы, и этим, очевидно, объясняется, что Герман Воята (Воята — сокращение языческого имени Воислав) был носителем полуязыческих представлений. Записи этого священника с двойным — христианским и языческим — именем имеют отчасти личный характер. Так, например, под 1138 годом Герман Воята записывает, что 9 марта «бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще». В тот же год 23 апреля «пополошишася людье: сългаша бо, яко Святопълк у города с пльсковици (псковичами. — *Д.Л.*), и высушася всь город к Сильнищю, и не бы ничто же». В стилистическом отношении очень интересна запись 1143 года, в некоторых своих частях передающая даже короткий ритм устной речи: «...стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгъ». Обращает на себя внимание в этой записи также и замена в определении времени христианского Филиппова заговенья языческим «Корочюном».

Общественный строй Новгорода отразился и на других новгородских летописях, вошедших в состав новгородского летописания при новгородском Софийском владычнем дворе. Язык новгородских летописей простой, с малым количеством церковнославянизмов. В этой же летописи сильнее, чем в каких-либо иных, могут быть отмечены языковые диалектизмы. Элементы новгородского говора выступают в новгородских рукописях вообще довольно рано (так, например, они есть уже в новгородской Минеи 1096–1097 гг.), но и эти диалектизмы не служат еще признаком «областного этнографического» принципа в развитии литературы. Это все свидетельства только языковых различий, но не появления областного самосознания.

В идейном отношении отдельные летописи, как и отдельные повести о княжеских преступлениях, могли стоять за своего князя, за своих местных князей, высказывать различные политические убеждения (летопись была далеко не бесстрастной и равнодушной к добру и злу), но ни один летописец никогда не высказывался за отделение своего княжества в самостоятельное государство, за сепаратистский принцип в жизни страны. Напротив, спор шел только о том, кто из князей, какая из княжеских родовых линий лучше всего служит единству Русской земли.

Та же постоянная общерусская интеграция пронизывает собой и наиболее значительный памятник историко-церковной литературы начала XIII века – Киево-Печерский патерик.

Он создавался постепенно в разных концах Русской земли, на основании различных предшествующих ему литературных памятников и был проникнут идеей общерусского значения Киево-Печерской обители.

Патерик возник в двух крайних концах Русской земли – из переписки киево-печерского монаха Поликарпа с владимиро-суздальским епископом Симоном. В своем письме из Киева во Владимир Поликарп пожаловался Симону, что его обходят в церковных назначениях. Симон ответил Поликарпу наставительным письмом на тему о великой чести подвизаться на Киево-Печерской земле и к своему письму присоединил несколько коротких рассказов о жизни печерских монахов. Письмо, очевидно, подействовало на Поликарпа, и он дополнил рассказы Симона своими собственными в письме к печерскому игумену Акиндину. Письма Симона и Поликарпа были объединены в XIII веке со сказанием Нестора о первых черноризцах Печерских, которое в свое время было включено в состав «Повести временных лет» со сведениями из не дошедшего до нас Жития Антония Печерского, а также Житием Феодосия Печерского и некоторыми другими литературными материалами. Так создалось сводное произведение, не совсем похожее по форме и жанровым признакам на византийские патерики, но тем не менее названное в поздних своих списках именно патериком, чтобы как-то ввести его в привычные церковные жанры.

В Киево-Печерском патерике сказались разнообразные влияния: и влияние эпистолярной практики своего времени,

и воздействие тех же греческих патериков, отразились летописная форма изложения, стиль житийной литературы, стиль учительных сочинений и, наконец, содержание устных слухов, преданий и других жанров восточно-славянского фольклора. В литературной истории Киево-Печерского патерика можно проследить удивительный процесс формирования оригинального по своим жанровым признакам большого памятника на основании множества самых разнообразных и порой неожиданных влияний. Однако не менее оригинальным явился Киево-Печерский патерик и в идейном отношении. Христианские представления соединились в его идейном содержании с древним культом Земли[1], который также в какой-то мере отразился на идейной стороне монументально-исторической стилистической формации.

В патерике подчеркивается, что Киево-Печерская Успенская церковь воздвигнута «от Севера» и «от Юга»: варягами, давшими материальные средства, и греками, чудесным образом посланными из константинопольского монастыря Влахерны, чтобы построить монастырскую церковь и расписать ее.

Место, на котором построена церковь, — свято. Оно указано чудесами. Чудесно указана и мера церкви. По ней, этой мере, выстроены Успенские же церкви Богоматери в Ростове и Суздале. Из Печерского монастыря выходят епископы, а иноки его строят монастыри по всей Руси — вплоть до далекой Тмуторокани на Черном море. Монастырь как бы распространяет знаки святости по всей Русской земле. Это святыня всерусская и всесветная.

Всякая местность освящается построением в ней монастыря или церкви, историческими или церковно-историческими воспоминаниями. По сути дела, на этом строилось и понятие «Святой Руси»: каждое место в ней утверждалось в своей абсолютной ценности благодаря этим «отметкам» — освящению их воспоминаниями и строениями.

Характерно, что владимирский епископ Симон в своем письме в Киев Поликарпу пишет о «Русском мире» и о той роли, которую играет в нем Киево-Печерский монастырь.

[1] О культе Земли см. подробнее в работе: *Комарович В.Л.* Культ рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XVI. М.; Л., 1960.

Именно отсюда, из Киево-Печерской обители, вышли русские церковные иерархи — Киева, Переяславля, Ростова, Новгорода, Владимира, Юрьева, Полоцка, Тмуторокани, Чернигова, Турова, Белгорода, Суздаля. «И аще хощеши вся уведати, почти летописца стараго Ростовьскаго». В этом летописце Симон отмечает 30 имен русских иерархов, вышедших из Киево-Печерского монастыря, а всего, считая и тех, кто жил позднее, «и до нас, грешных», отмечает Симон, было их около пятидесяти.

При этом обратим внимание вот на что: чтение, и особенно чтение летописи, по словам Симона, внушает мысль о значении Печерской обители для всего «Русского мира». Такова же роль чтения и в проповеди мира, как тишины и спокойствия, братолюбия князей. «Русский мир» и «мир в Русской земле» — это, по существу, нечто общее. Эта идея роли чтения — по-своему замечательна и очень действенна. Ни один из писателей XII — начала XIII века не опускался до высказываний за разделение Русской земли. Летописцы и отдельные книжники могли ошибаться и могли находить именно своего князя правым в создававшихся конфликтах, считая его первым среди русских князей и наиболее достойным занять в Русской земле или в том или ином княжестве руководящее место, однако в целом русская литература на всем протяжении ее вплоть до Батыева нашествия проповедовала только одно: необходимость «блюсти Русскую землю».

Киево-Печерский патерик не только служил идее единства Руси, но и утверждал самобытность этой Руси, способствовал формированию в ней церковного идеала поведения, своих русских церковных обычаев, монашеского «этикета». Так, например, в патерике рассказывается, как родился русский обычай вкладывать в руку умершего написанную молитву с просьбой о прощении ему грехов. Авторы патерика сознавали, что этого обычая нет в других землях.

Авторы патерика стремились создавать идеал чинного образа жизни не только в монастыре, но и за его пределами. В патерике рассказывается, например, на основании Жития Феодосия, как киевский князь Изяслав, навестив однажды Феодосия, спросил у него: почему так вкусна пища в его монастыре, тогда как на его собственных пирах, где пища различна и многоценна, она «не суть такова сладка, яко же сиа». Фе-

одосий разъяснил князю: потому, что она готовится в монастыре благовейно и по обрядам, описал эти обряды, а у князя пища приготовляется рабами, которые работают «сварящеся (ссорясь. – *Д.Л.*) и шегающе (насмехаясь. – *Д.Л.*) и кленуще друг друга, и многажды же биеми суть от приставник, и тако вся служба их с грехом съвръшаеться».

Патерик относится к тому времени, когда происходило становление феодального быта, устанавливался этикет – этикет поведения, этикет воинский, княжеский, монашеский. Каждое сословие в это время предстает в литературе как бы в своем геральдическом знаке, изображающем его в момент исполнения им его высшего сословного долга: князь выезжает на битву впереди войска и первым ломает в битве копье (т. е. начинает битву); подручные князя ездят у стремени своего главы; отроки предстоят перед князем: бояре заседают в совете («бояре думающие»); крестьяне пашут и т. д. Характерен тот образ работающего монаха, который дает Киево-Печерский патерик: «Многажды же великому Никону седящу и строащу книгы, и блаженому (Феодосию. – *Д.Л.*) въскрай его седящю и прядущу вервие еже на потребу таковому делу. Таково бе того (Феодосия. – *Д.Л.*) смирение и простота». Сравните в патерике другую идиллическую сцену с тем же Феодосием: Ларион «беяше бо книгам хитр писати, и съй по вся дъни и нощи писаше книгы в келии блаженнаго отца нашего Феодосиа, оному же (т. е. Феодосию. – *Д.Л.*) псалтыр поющу усты тихо и рукама прядуща вълну или ино кое дело...» «Делание» книг (их писание, переплетание и проч.) – это одно из важнейших монашеских занятий. Но есть и другие. Патерик замечателен тем, что живописует и эти занятия монахов помимо молитвы и бдения – в садоводстве, в приготовлении пищи, а иногда и в руководстве строительными работами. В последнем случае описываются в патерике и конфликты, возникающие между работниками, нанятыми со стороны, и монастырем. Не всегда идеально ведут себя и сами монахи. В них сказываются и дурные черты характера, и разные слабости. Однако конфликты в конце концов прекращаются и монашеская идиллия восстанавливается.

Патерик, с одной стороны, показывает нам становление на Руси нового литературного жанра, с другой же стороны, параллельно этому – становление на Руси феодального быта

и феодальных идеалов поведения. Восхваляя или осуждая, авторы патерика и в том и в другом случае пропагандировали идеальные с их точки зрения отношения внутри монастыря и с окружающим его обществом — князем в первую очередь.

* * *

Становление литературных жанров, как и становление опять-таки быта, в целом рисует нам и другое знаменитое произведение того времени — «Моление Даниила Заточника». Это произведение во многом загадочное, но и безусловно замечательное. Не ясен прежде всего главный персонаж — он же и предполагаемый автор «Моления» — Даниил Заточник: кто он по своему социальному положению, чьи интересы он выражает, какому князю служит. Не ясна и жанровая принадлежность произведения. «Загадочность» «Моления» не случайна — это результат того, что сама литература находилась в XI–XIII веках в процессе жанрообразования, а общество было обществом несформировавшимся, становящимся, находящимся в процессе классообразования. Если принять во внимание эту неустойчивость общества и всеобщее стремление обрести эту устойчивость, в частности в литературе, где шли поиски новых жанров, отвечающих задачам русской действительности, то объяснение «Молению» может быть дано такое.

В византийской и древнерусской литературе еще в XI веке существовали сборники изречений. В частности, известен был в Древней Руси «Стословец» Геннадия — сочинение, возможно, и древнерусское. Но в этих сборниках изречения не располагались в каком-либо стройном порядке. Каждое изречение имело самодовлеющее значение. «Моление» — это тоже в какой-то мере сборник изречений, но нанизанных на определенный и довольно острый сюжет: бедный, зависимый, а может быть, и сосланный человек размышляет над тем, как ему выбраться из своего тяжелого положения, прикидывает различные жизненные ситуации, которые помогли бы ему выбраться из его унижений, и обращается к князю с разными мольбами. Положение, знакомое различным эпохам, но особенно острое для эпохи совершающегося классообразования. Мысленно примеривая себя к разным жизненным ситуациям, Даниил шутит над собой. Он вымаливает у князя милость, может быть — подачку, стремится рассмешить князя или поразить остроумием. Среди

его шуток – предложение жениться на богатой, но «злообразной» жене и изображение этой жены: это как бы сценки для пирушек, на которых присутствуют только мужчины. Восхваляя силу князя и преувеличивая, может быть, свою нищету, Даниил вносит оттенок иронии и в свои похвалы князю.

И все же заканчивается «Моление» вполне серьезным превознесением силы князя и мольбой к Богу дать «князю нашему Самсонову силу, храбрость Александрову (Александра Македонского. – *Д.Л.*), Иосифль разум, мудрость Соломоню и хитрость (искусность. – *Д.Л.*) Давидову и умножи, господи, вся человеки под нози его». Последняя просьба к Богу особенно характерна. В огромных пространствах Русской земли людей было немного. Обязанностью князя было привлечь в свои владения как можно больше крестьян, «блюсти смерд», то есть умерять их эксплуатацию отдельными феодалами в интересах всего класса феодалов в целом, и давать крестьянам надежную защиту от набегов половцев.

* * *

Широкое ви́дение Русской земли, как бы «панорамное зрение», которое, с одной стороны, охватывало Русь одновременно в разных ее концах и заставляло воспринимать происходившие в ней события в глубоко исторической перспективе (основные признаки монументально-исторического стиля), с другой – заставляло писателей и читателей древнерусских произведений XII – начала XIII века интересоваться и окружающими Русь странами. Этот интерес особенно характерен для Галицко-Волынского летописания, вошедшего в состав сохранившейся до нашего времени Ипатьевской летописи. В последней мы постоянно находим сведения об отношениях с Венгрией, Польшей, Литвой, Византией, половцами. Русская земля мыслится не только во всей ее широте, но и как часть вселенной, во всяком случае – как часть христианского мира.

Этому осознанию Руси как части вселенной служил жанр «хождений» в «Святую землю» и в Царьград. Это были два центра мировой истории и мира в его целом. Приобщение к этим центрам воспринималось как приобщение к мировому единству. Паломники и простые путешественники как бы удостоверялись в своих путешествиях, что мир как целое существует, существует и «священная» история мира.

Первым из «хождений» было «Хождение в Святую землю игумена Даниила». Путешествия в Палестину, на Афон и в Константинополь совершались и до XII века. На Афоне был, например, основатель Киево-Печерского монастыря Антоний, путешествовал туда же игумен Варлаам, но только игумен Даниил оставил об этом своем путешествии в Палестину подробные и знаменательные записки. Его записки обращены ко всем русским, кто хотел бы вслед за ним совершить паломничество в те же места. Это своего рода путеводитель: подробный и наставительный. Он свидетельствует о чувстве неразрывной связи всей Русской земли с тогдашним религиозным центром мира, и не случайно, что в Иерусалиме игумен Даниил возжигает кадило у Гроба Господня «от всей Русской земли», а не только от своего монастыря или княжества. Даниил был в Палестине, когда она находилась в руках крестоносцев. Он был принят королем Балдуином как представитель Русской земли с особенным почетом. Он пишет сам о себе как об «игумене русском», а не какого-то отдельного монастыря.

В «Хождении» Даниила поражает его подготовленность к этому путешествию. Он знает историю тех мест, где он бывал, и соответственно сам выбирает свой маршрут. Такую же осведомленность он предполагает в своих читателях. В своем сочинении он как бы сверяет свои знания с виденным и дополняет уже известные сведения сообщением о сохранности памятников, их размерах, расстояниях между памятными местами, о почитании их среди местного населения и у паломников.

По многим признакам можно считать Даниила выходцем из одного из южных княжеств, однако это никак не сказывается «идеологически». В конце XII века ходил в «Святую землю» и в Царьград новгородец Добрыня Ядрейкович, и он также составил описание своего путешествия — как своего рода путеводитель будущим русским ходокам.

Когда в 1204 году крестоносцы захватили и разграбили Константинополь, — это событие глубоко потрясло Русь. Один из русских, находившихся в это время в Константинополе, составил о взятии Константинополя крестоносцами подробную повесть — одно из самых детальных и обстоятельных описаний этого события. Русский автор этой повести показал свою глубокую осведомленность в византийских со-

бытиях, описал мотивы тех или иных действий обеих сторон и остро почувствовал трагичность происходящего. Повесть составлена одновременно и умело и просто. Автор не только видел некоторые из событий собственными глазами, но и слышал о них от других — от греков. Впоследствии повесть была включена не только в сочинения по всемирной истории («Еллинский и Римский летописец»), но и в Новгородскую летопись: Новгород, стремившийся к церковной самостоятельности от Киева, был особенно тесно связан с Константинополем, несмотря на свою крайнюю отдаленность от него, и новгородцев глубоко интересовало все, что там происходило.

Интерес к мировой истории отразился также в распространении переводных и компилятивных сочинений по всемирной истории — особенно по истории библейской и византийской — с захватом истории Греции и Рима. Особенно большое значение имел в это время «Еллинский и Римский летописец». Под «Еллинским летописцем» разумелось описание языческой части мировой истории, под «Римским» — история христианских государств: Рима Первого, западного, и Рима Второго, восточного, связь с которым ощущалась на Руси не только по церковной линии, но и, в широком смысле, — по культурной.

О мудрости мироустройства подробно говорил «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского. Это сочинение оказывало сильное влияние на всю русскую литературу и отчасти на изобразительное искусство вплоть до XVIII века. Это было любимое произведение русских читателей, интересовавшихся смыслом не только всего преходящего, но и всего «вечно» устроенного. «Шестоднев» рассказывал о творении мира в шесть дней (отсюда и его название) и о целесообразности всего в нем существующего, о саморегулировке всего в природе и самоочищении мира, о круговороте воды, о целесообразности всего живущего, о красоте моря — его набегающих на песчаный берег волнах, — разумности расселения в мире рыб и птиц и о многом другом. Человек был представлен в этом сочинении как центр вселенной, ради которого живет и совершается все в природе и который нравственно отвечает поэтому за все то, что его окружает и ему, в сущности, принадлежит и подчиняется.

Все переводные или перешедшие к нам из Болгарии сочинения как нельзя лучше соответствовали стилю монументального историзма, в рамках которого воспринимался мир в Древней Руси XII–XIII веков. Большинство апокрифов, патеричных рассказов Синайского или Азбучного патериков, сборников изречений учили древнерусского читателя тому же широкому видению, умению за случайным и преходящим угадывать нечто значительное и «вечное».

В тесной связи с произведениями, перенесенными к нам из Болгарии и Византии, находились те русские оригинальные сочинения, которые были написаны в строгих рамках традиционных жанров.

Русская литература в XII и начале XIII века, как мы уже видели, постоянно пыталась создать и развивать свои собственные жанры, способные наилучшим образом ответить потребностям русской действительности. Даже многие традиционные жанры претерпевали значительные изменения — как, например, жития святых, проповеди, поучения, в которые все сильнее и сильнее вторгались политические мотивы. Однако жанр торжественной проповеди сохранился почти без изменений, и в нем древнерусские писатели достигли большого искусства. Таковы были, например, «Слова» Кирилла, епископа Туровского, переписывавшиеся в древнерусских и южнославянских рукописях наряду с произведениями лучших древнехристианских и византийских ораторов: в первую очередь — наиболее авторитетного в Древней Руси отца церкви — Иоанна Златоуста.

«Слова» Кирилла Туровского, посвященные тем или иным церковным праздникам, составлены по самым высоким канонам византийского ораторства, отличаются удивительным изяществом языка, расчетливо учитывающего устное произнесение в церкви при большом стечении молящихся. По-своему — это тоже произведения монументально-исторического стиля и монументально-исторического мышления. Кирилл в каждом из своих «Слов» напоминает слушателям о «вечном смысле» происходящего, о своеобразном священном круговороте праздничного годового цикла. Он приглашал своих слушателей воспарить умом и сердцем, взглянуть на совершающийся праздник как на своего рода вечное действо, существующее «ныне и присно» (т. е. сейчас и всегда).

Очень мало дошло до нас от писаний Климента Смолятича — митрополита из русских, поставленного в Киеве, как в свое время и Иларион, без санкции константинопольского патриарха. Сохранилось лишь его послание некоему священнику Фоме. Это — часть их переписки (а переписка была очень характерна, как уже говорилось, для этого времени), которая велась киевским митрополитом Климентом Смолятичем (он был одно время епископом в Смоленске) с князем Ростиславом Мстиславичем и его священником Фомой. Но эта часть позволяет говорить, что переписка в целом велась по общемировоззренческим вопросам и касалась литературных принципов. Фома обвиняет Климента в том, что он увлекается языческой философией, и, в частности, высказываниями Гомера, Аристотеля и Платона. Это не означает, что Климент хорошо их знал. По-видимому, Климент цитировал греческих философов по сборникам изречений, которые были широко распространены в то время, но все же отзывы летописи о Клименте как о «книжнике» и «философе» свидетельствуют о высокой культуре этого писателя, сочинения которого, к сожалению, в основном до нас не сохранились, хотя летопись и говорит о том, что он был автором «многих» произведений.

* * *

Кульминация всех идейно-стилистических особенностей литературы XII века — гениальный памятник «Слово о полку Игореве».

По своим идеям «Слово о полку Игореве» не было одиноким памятником. В сущности, вся русская литература XII века пронизана идеей необходимости единения, — особенно единения княжеского, сплочения военного и прекращения усобиц. Литература противостоит печальной действительности. Она отталкивается от нее, призывает к ее исправлению. В этом своеобразная диалектика отношений литературы и действительности. С одной стороны, она порождена действительностью и не может сказать ничего, чего бы не было в этой действительности или в существующей в это время литературной традиции («вторичной действительности» своего времени); с другой стороны — литература идет впереди своего времени. Это особенно характерно для русской лите-

ратуры, которая всегда стремилась к исправлению общественных недостатков. На этом передовом характере литературы строился весь общественный авторитет русской литературы. И этот общественный авторитет она стала завоевывать с самого начала, но особенно в XII веке, в эпоху, когда литература составила большую общественную силу, — эпоху «Слова о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» посвящено походу 1185 года на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича и написано, очевидно, под свежим впечатлением от его поражения. Но, по существу, настоящим героем этого произведения является вся Русская земля, взятая в широчайших географических и исторических пределах. Вот в этом широком охвате Русской земли и заключена конкретность призыва автора к единству всех русских княжеств: автор сознает реальное и художественное их единство, их историческую общность и, следовательно, трагичность разрыва между печальной действительностью Руси, ввергнутой в раздоры князей, и идеальным и возможным величием ее истории, ее природы, находящейся в сочувственном единении с русским народом.

Повествование в «Слове о полку Игореве» непрерывно переходит из одного географического пункта в другой. Автор «Слова» постоянно охватывает крайние географические точки своими призывами к единению, обращениями к отдельным князьям. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю Русскую землю по окружности — ее самые крайние точки. Мифическое существо «Див» кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморию, и Сурожу, и Корсуню, и Тмутороканскому болвану на Черном море. Жена Игоря Ярославна плачет на самой высокой точке Путивля, в котором она скрывалась во время пленения Игоря, — на крепостной стене, над заливными лугами Сейма, обращаясь к солнцу, ветру, Днепру. Девицы после возвращения Игоря из плена поют на далеком Дунае, их голоса вьются через море[1] до Киева. Каждое действие воспринимается как бы с огромной высоты. Благодаря этому сама битва Игоря с по-

[1] Хотя между Дунаем и Киевом лежит суша, но автор «Слова», согласно представлениям своего времени, видит пространство по путям передвижения. Путь же от Дуная до Киева шел по морю, а затем по Днепру.

ловцами приобретает всесветные размеры: черные тучи, символизирующие врагов Руси, движутся от самого моря. Дождь идет стрелами с Дона великого. Ветры веют стрелами с моря. Битва как бы наполняет собой всю степь.

«Слово» постоянно говорит о «славе» князей — нынешних и умерших — и также в этих широчайших пределах. От войска Романа и Мстислава дрогнула земля и многие страны — Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и половцы копья свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Князю Святославу Киевскому поют славу немцы и венецианцы, греки и моравы. Пространственные формы приобретают в «Слове» и такие понятия, как «тоска», «печаль», «грозы»: они текут по Русской земле, воспринимаются в широких географических пределах, почти как нечто материальное и ландшафтное.

Стиль монументального историзма сказывается в «Слове» и в попытках передать действие как столкновение сил, как передвижение больших масс. Действующие лица переносятся в «Слове» с большой быстротой: постоянно в походе Игорь, парадируют в быстрой езде «кмети» — куряне, в быстрых переездах Олег Гориславич и Всеслав Полоцкий. Последний, обернувшись волком, достигает за одну ночь Тмуторокани, слышит в Киеве колокольный звон из Полоцка и т. д.

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, не его «золотое слово» обращено с Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям и обходит по кругу всех русских князей по границам Руси. Движется не он, но зато движется все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет их движением. То же самое и Ярослав Осмомысл. Он неподвижен высоко на своем златокованом столе в Галиче, но его железные полки подпирают горы угорские, он мечет бремены через облаки, рядит суды до Дуная, грозы его по землям текут, и он отворяет врата Киеву.

В таком же церемониальном положении изображен и Всеволод Суздальский, готовый вычерпать шлемами Дон, расплескать веслами Волгу, полететь к Киеву. Великий князь церемониально неподвижен, но он среди движения.

Вообще церемониальность играет существенную роль в стиле монументального историзма и, соответственно, — в «Слове о полку Игореве». Не случайно в «Слове» так часто говорится о таких церемониальных формах народного твор-

чества, как слава и плач. Боян поет славу старому Ярославу и храброму Мстиславу, он свивает славы «оба полы сего времени» и исполняет славу князьям на своем струнном музыкальном инструменте. Славу поют Святославу иноземцы. Говорится в «Слове» о плаче русских жен, о пении славы девиц на Дунае, приводится плач Ярославны.

Описан и упомянут в «Слове» целый ряд церемониальных положений: обращение Игоря к войску, звон славы в Киеве: «Звенить слава въ Кыевѣ... стоять стязи въ Путивлѣ». Игорь вступает в золотое стремя — момент тоже церемониальный. После первой победы Игорю подносят «черьленъ стягъ, бѣлую хорюговь, черьлену чолку, сребрено стружие». В церемониальном положении изображен «на борони» Яр-Тур Всеволод. О пленении Игоря сообщается как о церемониальном пересаживании из золотого княжеского седла в седло кощеево (рабское). Своеобразно церемониальное положение Всеслава Полоцкого: он добывает себе Киев, как «девицу любу», скакнув на коне и дотронувшись стружием (древком копья) до золотого киевского стола, что напоминает сватовство к невесте в русской сказке (Иванушка скачет на коне и успевает снять кольцо с руки царевны, сидящей высоко в тереме). Церемониален плач Ярославны. Она плачет открыто, при всех, на самом видном месте Путивля. Наконец, завершается «Слово» великолепной церемонией въезда Игоря в Киев и пением ему славы в разных концах Руси.

Церемониальность и монументализм XII века сочетается в «Слове» и с тем, что каждое событие воспринимается в нем в большой исторической перспективе. В «Слове» постоянно говорится о дедах и внуках, о славе дедов и прадедов, об «Ольговом гнезде» (Олег Святославич — дед Игоря). Сам автор «Слова» — внук Бояна, ветры — «Стрибожи внуци», русское войско — «силы Даждьбожа внука», Ярослав Черниговский с подвластными ему войсками ковуев звонят в «прадѣднюю славу». Изяслав Василькович «притрепал» славу деду своему Всеславу Полоцкому. Внуков последнего призывают понизить свои стяги — признать себя побежденными в междоусобных битвах и т. д. и т. д.

Для того чтобы опоэтизировать события, современные походу Игоря, автор привлекает русскую историю XI века. Свои поэтические сопоставления автор «Слова» делает с исто-

рией Олега Святославича и Всеслава Полоцкого, с битвой Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве, с гибелью в реке Стугне юноши князя Ростислава, с поединком Мстислава Тмутороканского и Редеди. Это все события XI века — «дедовские» по времени. Автор вспоминает певца Бояна — также XI века.

В «Слове о полку Игореве» остро ощущается воздух русской истории. Повторяем: «Слово» принадлежит монументально-историческому стилю, который не только определял внешнюю форму произведений, но был глубоко идеологичен и лучше всего мог выразить представления о единстве Руси — в географическом и историческом осмыслении этого понятия. Впоследствии, когда «Задонщина» заимствовала из «Слова» ряд формул, образов и положений, она оказалась неспособной заимствовать от него эту самую характерную и самую важную черту художественной системы «Слова» — его монументальность и глубокий средневековый историзм, придающий «Слову» при всей его лиричности своеобразную эпичность: это как бы плач и слава всей Русской земле в ее огромных пределах и в ее глубокой исторической перспективе.

Монументально-исторический стиль возник вместе с русской литературой. На первых порах (в XI веке) он выражал собой преодоление страха перед пространством, появление широкого видения мира, возникновение исторического сознания и ощущение своей связи с окружающим Русь миром, с мировой историей. В эпоху усиленного дробления Руси на отдельные княжества монументально-исторический стиль усложнил свои «идеологические функции»: он был идеальным выражением сознания единства всей Русской земли. В «Слове о полку Игореве» он был теснейшим образом связан с его призывом к единению, к защите пространства Руси, к динамизму обороны. Благодаря тому, что монументализм выражался в эту эпоху по преимуществу с помощью изображения быстроты передвижения в огромных пространствах, — очень небольшое по своим размерам «Слово» производило исключительно сильное впечатление непосредственным ощущением единства всей Русской земли как живого огромного существа.

Оно сумело соединить лирическое отношение к Руси с эпическим, историю Руси с походом Игоря Святославича, рассказать о несчастных последствиях одного, казалось бы небольшого, похода для всей Руси. По точному определению академи-

ка А.С. Орлова: «Героем "Слова" является *"Русская земля"*, добытая и устроенная трудом великим *всего Русского народа»*[1].

«Слово о полку Игореве» не было одиноким памятником своего времени. Это ясно не только потому, что оно принадлежало тому же стилю монументального историзма, к которому принадлежали и все другие произведения того же времени. Это ясно и не потому также, что в нем отразилось то же сознание единства Руси, которым жили все русские произведения XII – первой трети XIII века. В «Слове о полку Игореве» есть и прямые совпадения с летописью (главным образом с Киевской в составе Ипатьевской) и с отдельными произведениями.

Стоит в этой связи остановиться на слове, которое было произнесено 2 мая 1175 года в день празднования памяти Бориса и Глеба в черниговском соборе неизвестным автором, – «Слове о князьях». Оно, очевидно, не случайно предшествует «Слову о полку Игореве» и при этом возникает в том самом родовом гнезде «ольговичей», с которыми были тесно связаны герои «Слова» – Игорь Святославич Новгород-Северский, Святослав Всеволодович Киевский и брат Игоря – Всеволод Буй-Тур. В «Слове о князьях» Борисе и Глебе, погибших мученической смертью от руки подосланных их старшим братом Святополком убийц, восхваляется безропотное подчинение старшему брату и осуждаются княжеские усобицы – усобицы, возникающие иногда «за малую обиду» (ср. в «Слове о полку Игореве»: «И начяше князи про малое се великое млъвити»). В междоусобиях князья лишаются «чести славы» (ср. в «Слове...»: «...уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ»).

Даже в службе XII века «Покрову», празднику русскому по своему происхождению, мы находим поэтические строки, осуждающие братоубийственные раздоры князей. В службе этой говорится о вражеских стрелах, летящих «во тьме разделения нашего».

* * *

Несомненно, что период со второй четверти XII века и по 1237 год (год нашествия Батыя) был периодом самого интенсивного становления жанровых и идейных особенностей рус-

[1] *Орлов А.С.* Слово о полку Игореве. М.; Л., 1946. С. 48.

ской литературы на всем обширном пространстве Русской земли — от Новгорода на севере и до ее границы со степью на юге, от Галича и Владимира-Волынского на юго-западе и до Минска, Турова и Витебска на северо-западе, а оттуда — до Волги на востоке. Литература разнообразна по жанрам, по стилистическим особенностям языка и вместе с тем удивительно едина по своим идеалам и политическим устремлениям: она не имеет одного центра и вместе с тем не провинциальна, она продолжает традиции XI века и одновременно обогащает эти традиции различными новизнами. Старое и новое, чужеземное и свое — местное, возникшее в самых различных, раскинутых по всей Русской земле городских и монастырских центрах, церковное и светское в самых различных сочетаниях — определяют удивительное богатство литературы этого периода.

В пору, когда между отдельными княжествами распадались экономические и политические связи, в литературе возникло прямо противоположное явление — стремление к объединению, утверждались идеи объединения Руси, развивались конкретные литературные связи, стремление к переписке, к взаимопополнению отдельных произведений в разных частях Русской земли. Вопреки утвердившемуся в литературоведении мнению о делении литературы на «областные кусты»[1], литература на самом деле сильнейшим образом тяготела к «перекрестному творчеству».

Литература мыслится в этот ответственнейший период ее истории прежде всего как общение людей между собой, как укрепление единомыслия, как проповедь идей единства. Одной из форм этого общения становится переписка, другой — устное, прочитанное слово, обращенное к многочисленным слушателям, третьей — обращение к потомкам, попытка закрепить настоящее и прошлое для будущего. Во всех этих случаях это общение коллективное или становящееся коллективным в процессе переписки — многих летописцев, многих авторов, многих переписчиков и редакторов произведений,

[1] Мнение о делении литературы по областям возникло под влиянием ложного представления о том, что литература должна непременно пассивно следовать за действительностью. На самом деле литература определяется действительностью, но в иные исторические периоды идет впереди действительности, выражая ее скрытые тенденции.

стремившихся вложить в произведение свой личный опыт и при этом пишущих в разных концах Русской земли – «Русского мира», как его называл Киево-Печерский патерик. Коллективность (в авторстве и в чтении произведения), разнотерриториальность создания – важная черта стиля монументализма, сложившегося в своих существенных чертах еще в XI веке, но в XII веке приобретшего особенно острое идеологическое наполнение.

Литературное самосознание, начиная со второй четверти XII по начало XIII века, не только определялось монументально-историческим стилем, но в значительной мере накладывало свой отпечаток на этот стиль, сообщало ему не только внешнюю монументальность, но и монументальность идейного воздействия на русскую действительность. Исторический монументализм согласовывался с той громадной обязанностью, которая легла на литературу, – сохранение единства Руси. Именно эта обязанность объясняет нам то, что за перо брались люди, облеченные властью и авторитетом, – киевский князь Владимир Мономах, а может быть, и его сын Мстислав Великий – новгородский, возможно – владимирский князь Андрей Боголюбский (гипотеза Н.Н. Воронина), митрополит Климент, владимирский епископ Симон и многие другие.

Если можно говорить в XII веке о Русской земле как о едином целом, то это целое было воплощено прежде всего в языке, в исторической и культурной общности, однако самосознание этого единства было выражено только в литературе – единой и зовущей к единству. Литература явилась живым воплощением единства Руси.

Краткий разрыв между единством всей русской литературы и отсутствием этого единства в политической и экономической жизни страны, военная слабость как следствие этого разъединения, – придали русской литературе особый трагический характер, сильнее всего выразившийся в характернейшем произведении этого периода – «Слове о полку Игореве». Однако этот же разрыв способствовал росту общественного авторитета литературы. Она становится важнейшим фактором сохранения единства, значительной исторической силой.

Все изложенное объясняет нам ту особую роль, которую отныне стала играть русская литература в русской истории,

и то обстоятельство, почему так высоко был поднят ее моральный авторитет в русском обществе. Эту роль и этот авторитет русская литература сохранит и впоследствии – вплоть до нашего времени.

Период литературного развития, начавшийся непосредственно после смерти Владимира Мономаха, когда утеря единства Руси стала несомненным фактом, и закончившийся с полным разгромом Руси во время нашествия Батыя, подготовил собой ту мужественность, с которой в русской литературе были встречены эти катастрофические события разгрома Руси. Сознание своего долга, сознание единства, вера в будущее освобождение – все это оказалось как никогда важно в пору страшного иноземного владычества.



Литература трагического века в истории России

XIII век

Под 1224 годом галицкий летописец записал: «Приде неслыханая рать: безбожнии моавитяне, рекомыи татарове...» Новгородский летописец пишет о том же: «приидоша языци (народы. – *Д.Л.*) незнаеме, и ихь же добре никто же ясно весть, кто суть и отколе изидоша, и что язык их (что они за народ. – *Д.Л.*), и коего племени суть, и что вера их; и зовут их татары, а инии глаголють таурмене, друзии же печенезе <...>».

И в самом деле, те, кого русские летописи и в первые, и в последующие века называют «татарами», не были какою-то определенной и единой национальностью. Это было государственное объединение различных кочевых племен, находившихся в стадии кочевого феодализма, объединение крайне агрессивное и подвижное, сплоченное столь же силь-

---

Публ. по: Литература трагического века в истории России // Памятники литературы Древней Руси. XIII. М.: Худож. лит., 1981. С. 5–26.

ной жаждой захвата новых земель, как и стремлением к разрушению соседних оседлых культур.

Объединенные орды кочевых племен, которые мы в дальнейшем будем условно называть монголо-татарами, начали проявлять необычайную активность еще в начале XIII века. Их появлению в 1223–1224 годах на границах Русской земли предшествовали чрезвычайные военные успехи в Азии.

В 1207 году монголо-татары покорили Южную Сибирь, в 1211 году – Китай, затем Туркестан, Афганистан, Персию. Крупнейшие культурные очаги Средней Азии – Самарканд, Бухара, Мерв – лежали в развалинах. В 1221–1223 годах полчища монголо-татар захватили Кавказ и Закавказье и появились на границах Руси, победили русских в 1223 году в битве на Калке, а затем ушли. Однако в 1236 году они переправились через Яик, покорили Волжскую Болгарию и снова пришли на Русь, взяли Владимир и другие города, а в 1240 году овладели Киевом. На западных рубежах Руси русские вынуждены были отражать нападения шведов, ливонских и тевтонских рыцарей.

Монголо-татарское нашествие, перешедшее затем в страшное иноземное иго, когда, по словам летописца, «и хлеб во уста не идешеть от страха», принесло жесточайший урон русской культуре и изменило развитие литературы. С середины XIII века основными жанрами русской литературы стали воинские повести, жития мучеников за веру, проповеди, призывавшие к нравственному очищению как залогу будущего освобождения. Монументализм литературного стиля, столь характерный для предшествующего периода, отныне приобретает более сдержанный, суровый и лаконичный характер.

Драматичность ситуаций, о которых повествуют литературные произведения середины и второй половины XIII века, усиливается сознанием собственной вины русских, приведшей к установлению ига: недостаток единства среди князей и недостаток твердости в сопротивлении чужеземным захватчикам.

В сущности, эти две темы присутствуют уже в неясных предчувствиях грядущей опасности, которыми была пронизана русская литература в первой трети XIII века – накануне монголо-татарского нашествия.

Русские авторы уже в XII и начале XIII века ясно понимали, что рядом с разрываемой княжескими усобицами Русью стоит наготове ее внешний враг – степные народы.

Вот почему каждая из княжеских распрей заставляла русских писателей тревожиться за целостность и независимость Русской земли. Братоубийственные войны князей были опасны не только сами по себе, но были чреваты также резким внешним ослаблением страны. Назиданием русским князьям кончается «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году», написанная кем-то из русских очевидцев этих событий: «И тако погыбе царство богохранимаго Костянтиняграда и земля грьчьская въ свадѣ цесаревъ, ею же обладають фрязи». Иными словами, даже царство богохранимого Константинограда – Византия, погибло от свары князей. Междоусобия «князей-цесарей» представлялись несчастьем мирового порядка.

В Лаврентьевской летописи под 1227 годом мы находим обличения в «мздоимании», «граблении», «насилиях»: «Горе́ град Володимерь и церквии згоре 27 и дворъ блаженаго князя Костянтина и церкы згоре ту сущия святаго Михаила, юже бе украсилъ христолюбивый князь Костянтинъ. Се же наводит на ны богъ, веля нам имети покаянье и встягнутися от грех, от блуда, и зависти, и грабленья, и насилья, и от прочих злых делъ неприязнинъ. Богъ бо казнит рабы своя напастми разноличными, огнем, водою, ратью, смертью напрасною, тако бо и подобает христьяном многыми напастми и скорбьми внити в царство небесное...»

В 1218 году, меньше чем за двадцать лет до Батыева нашествия, рязанский князь Глеб Владимирович и его брат Константин пригласили к себе князей – своих ближайших родственников. Приехал родной брат Олега и Константина Изяслав Владимирович, приехали пять их двоюродных братьев со своими боярами и дворянами. Пир был летом, устроен он был за городом, в большом шатре. В разгар веселого пира Глеб и Константин обнажили мечи и вместе с заранее скрытыми у шатра половцами и воинами бросились на братьев и перебили их всех. Рязанский летописец князя Ингваря Ингоревича, описав этот пир, так обращается к этим самым рязанским князьям: «Что прия Каинъ от бога, убивъ Авеля, брата своего <...> или вашь сродникъ оканьный Святопълкъ, избивъ братью свою?»

Обличение этого страшного злодеяния было опять-таки как бы освещено предчувствием страшной катастрофы Батыева нашествия. Рассказчик замечает про рязанского князя Ингваря: «Ингворъ же не приспе приехати к нимъ: не бе бо приспело время его». Когда же оно «приспело»?! Это время явилось с нашествием Батыя. Следовательно, писалась эта летописная повесть о сваре рязанских князей уже после национальной катастрофы.

Перу того же рязанского летописца, который описал преступление Глеба и Константина, принадлежит и первый летописный вариант «Повести о разорении Рязани Батыем» в 1237 году. Тот же рязанский летописец, что описал усобицы, — описал и гибель старой могущественной Рязани под ударами войск Батыя... Рассказ этот, принадлежащий рязанцу, читается сейчас в Новгородской первой летописи. Он был первым вариантом той замечательной «Повести о разорении Рязани Батыем», которая представляет сейчас одно из лучших произведений древней русской литературы и о которой мы будем еще говорить в дальнейшем.

Есть принципиальное различие между нашествиями половцев и нашествием Батыя. Половцев и орды Батыя не следует смешивать и рассматривать как явление одного и того же порядка. Половцы выступали то как враги, то как союзники и родичи русских князей (впрочем, только по женской линии: русские князья женились на половчанках, но русские княжны не выходили замуж за половецких ханов). В какой-то относительной мере половцы были вовлечены в круговорот княжеских распрей, становились их «внутренними участниками».

Появление орд Чингисхана, а затем Батыя было явлением совсем другого характера. Это был враг куда более страшный, чем половцы. Не случайно, что испуганные половцы в первый момент бросились к русским князьям за помощью. Они имели основание надеяться на эту помощь и не ошиблись. Русские вышли на помощь своим врагам и союзникам одновременно, так как понимали различие между половцами и монголо-татарами.

Последствия нашествия монголо-татарских орд для русской культуры были в полном смысле катастрофическими. Исчезли целые разделы ремесел, ибо монголо-татары уводили в плен прежде всего ремесленников. Исчезли города, по-

добно старой Рязани, и возрождать их пришлось уже на других местах.

В литературе произошло почти то же, что произошло во всей русской культуре в целом. Рукописи сгорали вместе с городами и монастырями. Многие произведения домонгольской поры исчезли совершенно (даже житие основателя Киево-Печерского монастыря Антония не сохранилось). Литература сжалась тематически, сжалась в своем трагическом и эмоциональном единстве. И это сжатие не было признаком ее ослабления. Так могло только казаться. Накопленный за предшествующие века литературный опыт не пропал даром. Мы увидим в последующем, какую огромную роль он сослужил. Он сослужил ее в пору возрождения русской культуры — непосредственно перед Куликовской битвой, когда Русь готовилась к решительной борьбе за свою независимость, и после Куликовской битвы, когда Русь испытала на себе веяния Предвозрождения. Это было как бы сжатием силы. Литература накапливала силы. Почти столетие она находилась в этом состоянии внутреннего титанического напряжения. В чем состояло это напряжение, и надлежит нам сейчас рассмотреть. Увидеть его далеко не просто.

Единство русской литературы на всем пространстве Руси от Новгорода на севере до Киева на юге и от Владимира и Ростова на северо-востоке до Галича и Волыни на юго-западе сказалось особенно отчетливо в повестях о нашествии монголо-татар, и прежде всего — в уже упоминавшихся нами в начале этой статьи повестях о Калкской битве 1223 года.

В Новгородской первой и в Лаврентьевской летописях сохранилась одна из таких повестей, и замечательно, что монголо-татары рассматриваются в ней как общие враги всех дотоле известных русским восточных народов — половцев, ясов, обезов (грузин), касогов. Жестокость нового врага подчеркивается рассказом о том, как связанных князей удавили, уложив под доски, на которые сами татары сели обедать, чтобы изобразить тем самым свое полное равнодушие к страданиям врагов.

Другой рассказ о Калкской битве читается в Ипатьевской летописи в составе «Жизнеописания Даниила Галицкого» и подчеркивает мужественное поведение Даниила, не чуявшего на себе ран в битве.

Более поздний рассказ о Калкской битве в Новгородской четвертой летописи делает ее участниками богатыря Александра Поповича и других «богатырь 70», убитых в битве.

Повести о Калкской битве объясняют поражение русских — «недоумением» русских князей, действовавших несогласованно и эгоистично. Одним из главных виновников поражения автор повести считает киевского князя Мстислава, который не помог другим русским князьям, когда обратившиеся в бегство половцы «потъпташа бежаще станы русскыхъ князь».

Во всех повестях о Калкской битве говорится о том, что поражение русских явилось следствием недостатка единства русских князей, и свидетельствуется появление врагов «из невести». Последнее не менее важно, чем первое. С точки зрения книжных людей Древней Руси, враждебность таинственна и непонятна. Враги находят на Русь из «страны незнаемой». Напротив того, мир добрый — это мир, хорошо известный, мир упорядоченного строя, мир законного престолонаследия и взаимной уступчивости князей.

Поэтому междоусобицы князей сами являются следствием отсутствия порядка в общественной жизни и открывают ворота на Русскую землю неведомым народам. Вражда князей — предвестие враждебного завоевания, само же враждебное вторжение неведомых народов — вестник конца мира.

Одержав победу над соединенными силами половцев и русских, монголо-татары, как мы уже говорили, удалились и вновь появились под предводительством хана Батыя в 1237 году. Это второе пришествие неведомых и жестоких врагов было куда более ужасно.

В первом из княжеств, подвергшемся страшному разгрому ордами Батыя, было создано и наиболее значительное произведение об этом нашествии — цикл повестей, связанных с иконой Николы, находившейся в момент нашествия в небольшом рязанском городе Заразске (с XVII века Зарайске).

Нашествие Батыя застигло Рязанское княжество в тот момент, когда, казалось бы, приумолкли усобицы рязанских князей, когда сгладились и отношения Рязани с соседним Владимирским княжеством. На рязанском столе сидел Юрий Ингоревич, шесть лет пробывший в заключении во Владими-

ре при Всеволоде Юрьевиче, но уже давно отпущенный его сыном Юрием Всеволодовичем. Он был чист от обвинений в интригах против своих же младших рязанских князей и ничем не нарушил за последние годы добрых отношений с соседним Владимирским княжеством. Но ни владимирские, ни черниговские князья не пришли ему на помощь, когда войска Батыя подошли к пределам Руси и вторглись в Рязанское княжество. Положение на Руси было почти то же, что и при авторе «Слова о полку Игореве», с тем только различием, что теперь последствия разъединения оказались во сто крат тяжелее. Сильнейший князь северо-восточной Руси – Юрий Всеволодович Владимирский, – сын того самого великого князя владимирского Всеволода, обращаясь к которому за помощью автор «Слова о полку Игореве» писал, что он может «Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти», не внял мольбам рязанских князей, не пошел им на помощь.

Монголо-татары страшной лавиной прошли по Руси, и не к кому было уже обращаться с укорами и призывами к прекращению усобиц. Эти призывы вновь раздались позже, спустя полтора столетия. И тогда вновь зазвучала публицистическая лирика «Слова о полку Игореве» в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище». Теперь же на разоренной Рязанской земле создался цикл произведений, в котором упреки князьям за их «недоумение» (неразумие) были умерены похвалой им и всему прошлому Рязанской земли, а публицистическая направленность повествования смешалась с плачем о погибших. Но никогда до того ни одно произведение не было исполнено такой веры в моральную силу русских бойцов, в их удаль, отвагу, стойкость и преданность родине, как тот единственный цикл, который сохранился от всей, очевидно немалой, рязанской литературы. Созданный на пепелище, он сохранил тем не менее тот великолепный «пошиб» письма и точность стилистического чекана, по которым опознается не только личная одаренность, но и принадлежность целой группы авторов, работавшей над его созданием, к высокой школе мастерства.

Речь идет о своеобразном своде различных произведений, составлявшемся и разновременно пополнявшемся в течение нескольких веков при церкви Николы в Заразске. Здесь, в составе этого свода, многократно переписывавшего-

ся и расходившегося по всей Руси во множестве списков, читаются «Повесть о иконе Николы Заразского», родословие служителей Николы, из поколения в поколение вплоть до XVII века отправлявших церковные службы в заразской церкви Николы, знаменитая «Повесть о разорении Рязани Батыем» — одно из лучших произведений древнерусской литературы, «Похвала роду рязанских князей» и «Коломенское чудо» — рассказ о чуде от иконы Николы, произошедшем значительно позднее — в 1522–1531 годы.

В основе первой повести лежит распространенный сюжет о чудесном переходе христианской святыни из одной страны в другую в результате угрозы завоевания или божественного покровительства новому местопребыванию именно этой святыни. Древнейший обзор такого рода сюжетов при переносе святыни принадлежит автору одной из переработок рязанского свода в первой половине XVII века. Называется этот обзор: «О таковых же преславных чудесах и знамении и прехождении от места на место, от страны во страну и от града во град в божественном писании в различных повестях много о святых иконах повествуют <...>». Давая затем едва ли не самый полный список всех повестей на тот же сюжет — перенесения святынь с места на место, — автор этой статьи рассматривает повесть как пример традиционного жизненного положения: так, по его мнению, всегда бывает перед «казнию божиею». В повести о перенесении иконы Николы из Корсуни в Рязанскую землю больше жизненной, исторической правды, чем может показаться с первого взгляда. В форму «чуда» в ней облечено жизненно реальное, историческое содержание. И далеко не случайными оказываются в ней многие детали.

Почему же, в самом деле, так настойчиво «гнал» Никола своего служителя со своею иконою из Корсуни, почему выбрал для своего нового местопребывания именно Рязань? Гнал служителя, конечно, не Никола, — гнали половцы, пришедшие в движение после Калкского поражения, вспугнутые монголо-татарами, наполнившими причерноморские степи и отрезавшими Корсунь от Руси. Никола «запрещает» своему служителю идти через опасные половецкие степи и указывает ему путь вокруг Европы через Рижский залив, Кесь и Новгород на Рязань. Рязанское княжество не случайно также бы-

ло выбрано для нового места пребывания иконы Николы. Русское население на берегах Черного моря издавна было связано с Черниговским и Рязанским княжествами. Тесные связи Рязани с Причерноморьем определялись вхождением Чернигова и Муромо-Рязанской земли в единое владение Святослава Ярославича. Правнук Святослава Ярославича новгород-северский князь Игорь Святославич в своем знаменитом неудачном походе на половцев ставил себе целью достигнуть далекой Тмуторокани на Таманском полуострове. Русское население было довольно обильным и в Тмуторокани и в Корсуни еще в XIII веке. Впрочем, в первой половине XIII века эти древние связи настолько ослабели, что служитель иконы, отказываясь выполнять требование Николы идти в Рязанскую землю, мог сослаться на свое незнание этой земли.

Вторая повесть рязанского свода – о разорении Рязани Батыем – и наиболее значительна по размерам, и наиболее ценна в литературном отношении. Это типичная воинская повесть – одно из лучших произведений древней русской литературы. В ней нет открытого вымысла, но есть уже художественное обобщение, приведшее к некоторому искажению исторических событий – искажению, которое было вызвано тем, что в народной памяти ко времени написания повести сложились уже свои представления о гибели независимости Руси.

Когда, явившись на пограничную со степью реку Воронеж, Батый прислал к рязанским князьям «послов бездельных» с требованием уплатить «во всем десятину», рязанский князь Юрий Ингоревич созывает на совещание князей Рязанской земли. В этом совещании по повести принимают участие живые и мертвые... Многих из созываемых Юрием князей к 1237 году уже не было в живых: Давыд Муромский умер в 1228 году, Всеволод Пронский – отец Кир Михаила Пронского, упоминаемого в дальнейшем, – умер еще раньше, в 1208 году. Сзывает Юрий и Олега Красного, и Глеба Коломенского (последний, впрочем, упоминается не во всех списках и по летописи не известен). Родственные отношения всех этих князей эпически сближены, все они сделаны братьями. В последовавшей затем битве все эти князья гибнут, хотя об Олеге Красном (на самом деле не брате, а племяннике Юрия) известно, что он пробыл в плену у Батыя до 1252 года и умер

в 1258 году. Это соединение всех рязанских князей — живых и мертвых — в единое братское войско, затем гибнущее в битве с Батыем, вызывает в памяти эпические предания о гибели богатырей на Калках, записанные в поздних летописях XV — XVI веков. Там также были соединены «храбры» разных времен и разных князей (Добрыня — современник Владимира I и Александр Попович — современник Липицкой битвы 1212 года). И здесь и там перед нами, следовательно, результат общего им обоим эпического осмысления Батыева погрома как общей круговой чаши для всех русских «храбров». Образ общей смертной чаши много раз как рефрен настойчиво повторяется в повести. О смертной чаше, испить которую пришел перед битвой черед князьям и дружине, говорят перед боем князья; он развивается в образ боя-пира; им подчеркивается равенство всех: «...и не оста во граде ни единъ живых, — говорится о Рязани, — вси равно умроша и едину чашу смертную пиша. Несть бо ту ни стонюща, ни плачуща. И ни отцу и матери о чадех, или чадом о отци и матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертви лежаща».

Круговая общая чаша смерти для тех, кто не признавал равенства в политической жизни, кто стремился к обособлению и междоусобной вражде, — такова доля русских князей. Согласно воззрениям Древней Руси за «неустроение сущих властей» страдает весь народ: «...Отья господь у нас силу, а недоумение и грозу и страх и трепет вложи в нас за грехы наша» — такова основная мысль исторической литературы XIII века.

Чинное, неторопливое и одновременно лаконичное изложение событий в «Повести о разорении Рязани Батыем» исполнено сознанием значительности всего совершающегося. Детали интересуют автора только в тех случаях, когда они о чем-то свидетельствуют. Во всем остальном динамичность повествования лишена суетного внимания к мелочам. Монументальность повести производит тем большее впечатление, что сама повесть относительно невелика. Все рассказываемое в ней «объемно», события крупны и значительны, но рассказ скуп и краток.

Создавалась повесть как свод и сама входила в еще больший по размерам свод рязанских повестей, где заняла центральное место.

В своем наикратчайшем виде повесть читается как своего рода выдержка из рязанского летописания Ингваря Ингоревича, попавшая в Новгородскую первую летопись XIII века. Мы уже об этом говорили выше. Затем она стала обрастать легендами по мере того, как детали событий утрачивались в памяти. Уже в XIV веке повесть была дополнена словами плача Ингваря Ингоревича, а в XV веке в повесть была включена замечательная историческая песнь о Евпатии Коловрате. Сама повесть дошла до нас во многих списках, из которых древнейший — не ранее конца XV века. Но движение повести можно проследить по отражениям ее в различных московских исторических повестях — о нашествии Тохтамыша, в «Слове о Дмитрии Ивановиче Донском», в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище».

Однако публицистическая нота в «Повести о разорении Рязани Батыем» выражена значительно слабее, чем, скажем, в «Слове о полку Игореве». Автор «Слова» имел возможность обращаться к живым князьям — своим современникам, он звал их к единению перед угрозой грядущей опасности утраты независимости Руси. Автор же «Повести о разорении Рязани» стоял уже перед лицом совершившегося. Он обращался к мертвым князьям, уже испившим общую смертную чашу и тем как бы искупившим своею кровью, пролитой за Русскую землю, преступления усобиц. И это различие особенно отчетливо выступает в «Похвале роду рязанских князей».

С точки зрения литературной отделки, тонкости литературного рисунка — «похвала» эта своего рода образцовое произведение, «шедевр», какой средневековые ремесленники обязаны были выполнить перед вступлением в цех для доказательства своего мастерства. Ее сжатость, отточенность формулировок, ритм синтаксических оборотов, напоминающий повторяемость орнаментальных мотивов, позволяет сравнивать ее с произведениями столь развитого на Рязани ювелирного искусства. Стилистическая выделка этой краткой «похвалы» доведена до медальонной чеканности. Только при внимательном наблюдении можно заметить некоторые швы и спайки, допущенные в этом поразительном по законченности групповом портрете рязанских князей: «плоти угодие не творяще», но и «на пированье тщивы», «взором грозны», но и «сердцем легкы».

И вместе с тем, несмотря на всю идеализированность и обобщенность этого группового портрета, мы узнаем в нем все же именно рязанских князей. «К бояром ласковы», «до господарских потех охочи», «на пирование тщивы»: так писать нельзя было, скажем, о князьях владимирских, упорно и сурово боровшихся со своим боярством. Напротив, беспокойные, своевольные и «резвые» на походы, потехи и пиры (и скорые на кровопролитие – именно на этих пирах), – рязанские князья как нельзя более подходили к этим чертам их характеристики. Не случайно автор «похвалы» фантастически и неправильно возводит их происхождение к Святославу Ольговичу Черниговскому. «Хороброе Ольгово гнездо» черниговских князей имело много общих черт с гнездом князей рязанских.

Этот идеализированный портрет рязанских князей мог создаться только в такую эпоху, когда ушла в прошлое и была смыта кровью, пролитой за родину, память о многих преступлениях одной из самых беспокойных, воинственных и непокорных ветвей рода Владимира Святославича Киевского.

Вот почему, прочтя эту «похвалу» роду рязанских князей, мы тут только начинаем понимать всю святость для ее автора земли-родины, которая, впитав в себя пролитую за нее кровь храбрых, хотя и безрассудных, рязанских князей, так начисто смогла их освободить от всех возможных укоров за ужасы феодальных раздоров. Мы живо чувствуем в этой «похвале» роду рязанских князей тоску ее автора по былой независимости родины, по ее былой славе и могуществу. Эта «похвала» роду рязанских князей обращена не к Олегу Владимировичу, «сроднику» знаменитого Олега «Гориславича» и братоубийцы Святополка Окаянного, и не к какому-либо другому из рязанских князей – она обращена к рязанским князьям как к представителям родины. Именно о ней – о родине – думает автор, о ее чести и могуществе, когда говорит о рязанских князьях, что они были «к приежди привѣтливы», «к посолником величавы», «ратным (врагам. – *Д.Л.*) во бранех страшениа ивляшеся, многие враги, востающи на них, побежаша, и во всех странах славна имя имяша». В этих и во многих других местах похвалы рязанские князья рассматриваются как представители Русской земли, и именно ее чести, славе, силе и независимости и воздает похвалу автор. С этой точки зрения, «похвала» эта близко свя-

зана — и общим настроением скорби о былой независимости родины, и общей формой ритмически организованной «похвалы» — с другим замечательным произведением того же времени — со «Словом о погибели Русской земли».

«Слово о погибели...» прославляет и оплакивает Русскую землю, какой она была до поражения русских. Это плач и слава одновременно, но, в отличие от «Похвалы роду рязанских князей», оно посвящено не только русским князьям, но и всей Русской земле — ее былой красоте и богатству.

В науке существуют две точки зрения на этот поэтический памятник: согласно одной «Слово о погибели» — своеобразное введение к «Житию Александра Невского», согласно другой — это самостоятельное произведение, но, по-видимому, правы обе стороны. Мы видели, что произведения часто строились как своды других, предшествовавших произведений. «Слово о погибели» в обоих сохранившихся списках предшествует одной из редакций «Жития Александра Невского», следовательно, оно фактически служило предисловием, но было ли оно с самого начала написано как предисловие — это сомнительно. Скорее всего, оно, как и «Похвала роду рязанских князей», было включено в состав того свода произведений, которыми стало обрастать «Житие Александра».

Постоянные вставки в предшествующие произведения, соединение различных повестей в единый свод показывает, что историзм русской литературы этого времени вынуждал к открытой форме. Интерес к истории был так силен, что превозмогал потребность в законченности и цельности повествования. Произведение на историческую тему получало продолжение, росло вместе с развитием самой истории, как бы следовало за событиями по пятам. Как и летописи, исторические повести все время устремлялись к настоящему — настоящему, постоянно отодвигавшемуся и поэтому вынуждавшему переписчиков и разного рода других книжников дополнять своих предшественников собственными продолжениями. Даже самые даты, которые имеются в «Повести о разорении Рязани Батыем» и в предшествующей ей «Повести о перенесении иконы Николы в Рязанские пределы», показывают тяготение литературы XIII века к летописной форме. Летопись стала ведущим жанром. Летопись не только сохраняла память о прошлом, но служила самосознанию настоящего. Ис-

торическое повествование становилось общенародным делом, способствуя динамизации стиля монументального историзма, который был так характерен для древней русской литературы особенно в первые века ее существования.

Киевское и владимирское летописание прекратилось, ибо в развалинах лежали и самые города, зато два центра летописания развивались особенно усиленно — это Новгород и Ростов. Первый взял на себя главные трудности в защите северо-западных границ, второй в XIII веке возглавлял внутреннее сопротивление чужеземным захватчикам и стал центром первого против них восстания 1262 года.

Замечательная повесть о взятии Владимира войсками Батыя, читающаяся сейчас в Лаврентьевской летописи, была составлена, по предположениям А.Н. Насонова, именно в Ростове, хотя главным героем ее сделан владимирский князь Юрий Всеволодович.

Повесть не первоначальна, она составлена по различным источникам — один из которых ростовский, а другой, может быть, принадлежит перу спасшегося от гибели владимирца. Вот почему рассказ о взятии Владимира войсками Батыя читается с многочисленными дублировками: дважды гибнет князь, дважды умирает епископ. Но картина мужественной обороны и жестокого истребления населения дана в этом рассказе с потрясающей силой.

Ростовское летописание было явно связано с ростовской княгиней Марьей — вдовой погибшего в борьбе с татарами ростовского князя Василька Константиновича и дочерью замученного в 1246 году в Орде черниговского князя Михаила Всеволодовича. Вот почему ростовское летописание Марьи не носит только личный характер, связанный с ее семейными интересами, но поднимает большие общественные вопросы своего времени и приветствует восстание против монголо-татар: «Избави богъ от лютаго томленья бесурьменьскаго люди Ростовьския земля: вложи ярость въ сердца крестьяномъ, не терпяще насилья поганыхъ, изволиша вечь, и выгнаша из городовъ, из Ростова, из Володимеря, ис Суждаля, изъ Ярославля».

Движение против монголо-татар, поднятое и руководимое из Ростова, было подлинно народным. Однако нельзя не видеть, что борьба за независимость находила себе сочувствие и в княжеской среде.

Ростовский свод, составленный после того, как начались восстания, весь проникнут идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. Именно эта идея определила собой и содержание, и форму летописи. Летопись Марьи соединяет в своем составе ряд рассказов о мученической кончине русских князей, отказавшихся от всяких компромиссов со своими завоевателями. Рассказы эти резко выделяются и своим объемом, и своим стилем в ростовском летописании Марьи. Враги много «нудили» Василька Константиновича стать на их сторону, «быти въ их воле и воевати с ними», но Василько не покорился их «безаконью», остался верен родине и был убит. Так же точно остался верен родине великий князь Юрий. Монголо-татары присылали к нему послов, предлагая мир, но Юрий предпочел славную брань постыдному миру. Не поклонился огню и болванам (идолам) в ханской ставке и князь Михаил Черниговский, убитый в Орде в 1246 году. Мученически умер и рязанский князь Роман. Враги заткнули ему рот, резали по суставам; с уже мертвого князя враги содрали кожу на голове, а голову отрубили и воткнули на копье. Роман — «новый мученик», описание его кончины сопровождается горячим обращением к русским князьям следовать его примеру: «О възлюбленнии князи русский, не прелщаитеся пустошною и прелестною славою свѣта сего, еже хужьши паучины (слабее паутины. — *Д.Л.*) есть и яко стѣнь (тень. — *Д.Л.*) мимо идеть; не принесосте бо на свѣтъ сей ничто же, ниже отнести можете» и т. д. Князь Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царство небесное вместе со «сродникомъ своимъ Михаилом (Черниговским)». Литературный образец всех этих некрологов князей-мучеников отыскивается отчасти в «Житии Бориса и Глеба». Культ этих святых братьев-мучеников широко поддерживался княгиней Марьей, назвавшей даже в честь их своих сыновей Борисом и Глебом. «Житие Бориса и Глеба» оказало влияние и на составленное при ней житие ее отца — Михаила Черниговского. Все позднейшие рассказы о князьях, замученных монголо-татарами, в той или иной степени подвергались воздействию «Жития Михаила Черниговского» и других житийно-некрологических статей летописного свода Марьи. Но вместо князя-преступника — Святополка Окаянного — в них выступают в роли мучителей чужеземные враги, и муче-

ничество князей становится мученичеством за независимость родины.

Идея свода княгини Марьи не была идеей чисто политической. Свод был лишен ясной исторической концепции. Он ставил себе по преимуществу нравоучительную цель. Борьба с чужеземным игом воспринималась прежде всего как нравственно-религиозная. Вот почему свод княгини Марьи так легко превращался в собрание некрологов, выдвигая идеалы княжеской жизни в мученичестве за веру. Но и такая задача в условиях, когда все было полно ужасом перед чужеземными захватчиками, когда, по словам летописца, и хлеб не шел в рот от страха, имело большое значение, воспитывая стойкость и непримиримость, вселяя уверенность, что внешней силе завоевателя можно противопоставить силу духа.

Мученичество и смерть мирили народ с теми из князей, которые сопротивлялись завоевателям. Вот почему и владимирский князь Юрий (Георгий)[1] Всеволодович, погибший в битве с монголо-татарами, который далеко не был идеальным князем, подвергся идеализации в народной легенде о невидимом граде Китеже. Об отказе Юрия (Георгия) Всеволодовича прийти на помощь рязанским князьям зло говорит «Повесть о разорении Рязани Батыем»: «Князь великий Георгий Всеволодович Владимерьской сам не пошел и на помощь не послал, хотя о собе сам сотворити брань з Батыем». Кроме того, Юрий известен длительной борьбой за наследие его отца Всеволода Большое Гнездо со своими братьями – Константином и Ярославом. Замечательный исследователь русского летописания А.Н. Насонов пишет о переработанном тексте «Повести о взятии Батыем Владимира» в Лаврентьевской летописи: «Переработка делалась с целью показать читателю братское единение князей, дать образцы княжеского согласия и взаимной любви. В редакции Лаврентьевской летописи вражда, длившаяся с 1211 по 1216 г., почти полностью замалчивалась»[2]. При этом всячески идеализировался Юрий. Так, например, Юрий и Ярослав, приехав во Владимир по смерти Константина, будто бы плакали по нем «плачем вельим, акы

---

[1] *«Юрий»* – сокращение имени «Георгий» через ряд промежуточных форм – «Гюргий», «Гюрий».

[2] *Насонов А.Н.* История русского летописания. XI – начало XVIII века; М., 1969. С. 193.

по отци и по брате любимем, понеже вси имеяхуть и́ (его. — *Д.Л.*) въ отца место». Имелась в Лаврентьевской летописи и подробная характеристика-некролог Юрию под 1239 годом.

Идеализация князей, павших в борьбе с врагами Русской земли, не была единичной особенностью Лаврентьевской летописи. Мы видели такую же идеализацию в «Повести о разорении Рязани Батыем» и в «Похвале роду рязанских князей». В известной мере она была даже общенародной. И это легко показать на той же истории с владимирским великим князем Юрием.

Дело в том, что героем древнейшей основы Китежской легенды сделан именно Юрий. Его гибель в неравном бою послужила основой в разное время возникавших и переделывавшихся и так или иначе отражавшихся в письменности рассказов о том, что есть такие места, куда не проникли враги и куда может попасть только чистый сердцем человек, внутренне не причастный злу и не вступивший в союз с врагами. Сделать главным героем такой легенды Юрия могла только всеобщая вера в то, что Юрий не запятнал себя ни в чем своим прежним поведением.

В том, что народные легенды о Юрии возникали очень рано и что какие-то первоначальные версии «Китежской легенды» существовали уже в XIII веке, убеждает один сравнительно короткий текст Новгородской первой летописи, древнейшая рукопись которой относится к XIII веку. Согласно этой летописи Юрий бежал в сторону Ярославля и о смерти его существуют разные рассказы: «...бог же весть како скончася: много бо глаголють о немь инии». Не приходится сомневаться, что из этих народных рассказов и выросла знаменитая Китежская легенда, согласно которой, потерпев поражение в битве на Сити, Юрий с остатками своего войска очутился в невидимом граде Китеже, войти в который могут только чистые сердцем люди, не запятнавшие себя союзом с врагом. Моральное значение этой легенды верно почувствовал в конце XIX века Н.А. Римский-Корсаков, сделав ее сюжетной основой своей оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Жизнь Февронии относится к совсем иной эпохе, но и в ней есть та моральная основа, которая позволила Н.А. Римскому-Корсакову и либреттисту оперы В.И. Бельскому соединить обе легенды в один музыкальный

рассказ: вышедшая из крестьянской среды муромская княгиня Феврония не уступает преследованиям спесивых боярских жен и уходит из Мурома, уводя с собой своего князя и оставив в Муроме все земные блага.

Представление о существовании невидимого, избегнувшего завоевания, безгрешного града или даже целой страны существовало во все века народного угнетения и способствовало впоследствии переработкам этих представлений в легендах о счастливом Беловодском царстве[1].

* * *

По какому пути могло бы пойти развитие русской литературы в XIII веке, если бы Русь не была захвачена монголо-татарами, отчасти показывает Ипатьевская летопись, – вернее, лежащие в ее основе галицко-волынские произведения XIII века.

Монголо-татарское нашествие мало отразилось на положении юго-западной Руси. Она сохранила некоторую самостоятельность, свободу общения с Византией и западными странами. Литературное развитие продолжалось в Галицко-Волынской Руси по предустановленному пути. Путь этот вел к развитию личностного начала в литературе и к появлению обширного связного исторического повествования. То и другое нашло свое выражение в создании жизнеописаний галицких и волынских князей, – жизнеописаний пышных, подробных и в той или иной мере светских.

Список Ипатьевской летописи относится к середине XV века. Он был переписан, как предполагал А.Н. Насонов, с летописи, составленной в Турово-Пинском княжестве на основе, с одной стороны, Киевского летописного свода, доведенного до 1200 года, а с другой – своеобразных жизнеописаний галицких и волынских князей.

Первая часть Галицко-Волынского раздела Ипатьевской летописи после 1200 года, на котором кончалась Киевская летопись Рюрика Ростиславича, может быть с полным правом названа «Жизнеописанием Даниила Галицкого». Жизнеописание это носит своеобразную, непривычную для предшествующего периода форму связного биографического повест-

[1] См.: *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967. С. 239–290.

вования. Замечательно, что в нем, как отметил еще Н.М. Карамзин, не было обязательной для большинства летописей хронологической канвы, дат описываемых событий. Указания «в лето 6712» или «в лето 6713» и т. д. были вставлены значительно позднее, по-видимому, самим книжником, писавшим Ипатьевский список, так как в другом списке той же Турово-Пинской летописи — Хлебниковском — даты эти отсутствуют. Сами даты, вставляемые позднейшим летописцем, не заслуживают доверия. Первая же дата Галицко-Волынских известий представляет собой неверный домысел позднейшего летописца.

В самом деле, Галицко-Волынское летописание, первую часть которого составляло «Жизнеописание князя Даниила Галицкого», было механически присоединено к Киевскому своду 1200 года. Последнею датою Киевского свода был 1200 год, поэтому в качестве первой даты для следующего за Киевским сводом изложения составитель Ипатьевского списка взял 1201 год, обозначив им смерть Романа Галицкого. Между тем польские источники называют иную, и при этом совершенно точную, дату смерти Романа — 19 июня 1205 года. Как можно думать на основании внимательного анализа текста, первоначальная последовательность рассказа устанавливалась исключительно связующими фразами вроде следующих: «времени же минувши», «по тех же летех» и т. д. Жизнеописатель то забегал в своем рассказе вперед, то упоминал о событиях более ранних, не разбивая свое повествование никакими хронологическими рамками.

Автор называет свое произведение «хронографом», и действительно литературная манера автора теснее всего примыкает к типу византийских хронографов, связно описывавших историю царствований византийских императоров.

«Жизнеописание Даниила Романовича Галицкого», как литературное произведение, целиком посвящено прославлению его и его дела. Отец Даниила — Роман — был храбрым воином. Его выразительная характеристика помещена в начале жизнеописания Даниила. Сам Даниил был «дерзъ и храборъ, от главы и до ногу его не бѣ на немь порока». Даниил, «спешаше и тосняшеся на войну», стремился углубиться в землю врага и обогатиться полоном и добычей. Его деяния сравниваются с деяниями Святослава Храброго и Владимира Святого.

Даниил был первым русским князем, повоевавшим «землю Чешскую»; никто, кроме Владимира Святого, не входил «толь глубоко» в Польскую землю. Он «из млада» не давал себе покоя в борьбе с внешними врагами Руси. Его войско одним своим видом вызывало удивление иноземцев. Стоит в этом отношении обратить внимание на парад русских войск, описание которого попало в Ипатьевский список под 1251 годом. Здесь описывается сбруя лошадей, светлые латы и оружие воинов, а главное – удивительный наряд самого Даниила: сапоги зеленой кожи и золотые плоские кружева, которыми был ошит его кожух из греческой кожи.

Автор жизнеописания подробно следит за деятельностью своего князя, дает развернутые картины его городского строительства, всюду подчеркивая любовь к нему населения. Жители Галича устремляются к нему, как дети к отцу, как пчелы к матке, как жаждущие воды к источнику. Подробно приводит автор жизнеописания речи Даниила, полные высокого рыцарского представления о чести воина и чести родины, многие из которых представляют собой образцы высокого ораторского искусства. Автор следит за ратными подвигами Даниила, описывает его участие в боевых схватках. Не раз обнажает меч Даниил, не раз ломает свое копье (т. е. лично начинает битву), не раз оказывается на волосок от смерти. В сражении на Калке Даниил, в пылу битвы, «не чуял» на себе ран, и только вода, которую он выпил, заставила его почувствовать их боль. Другой раз конь вынес его из смертельной опасности, конец вражеского меча успел отхватить кусок шерсти на «стегне» у коня.

Как в личном летописце (автобиографии) Владимира Мономаха, жизнеописатель Даниила рассказывает не только о его ратных трудах, но ведет счет и его «трудам» на «ловех» (охотах). Автор скорбит об унижении Даниила в ханской ставке, радуется его успехам, отмечает его болезни и т. д. В тоне резкого раздражения говорит автор о врагах Даниила – боярах. Одного из них, Ярослава, он называет «льстивым», он «лукавый льстѣць», его язык «лъжею питашеся». Устами Даниила автор проклинает Ярослава в самых патетических выражениях: «Проклят ты буди, стоня и трясыся на земли... да не будеть ему пристанъка во всихъ земляхъ, и рускихъ и во угорьскыхъ (венгерских. – *Д.Л.*), и ни в ких же странахъ,

да ходить шатаяся во странахъ, желание брашна (еды) да будеть ему, вина же и олу поскуду да будеть ему, и да будеть двор его пуст и в селе его не будеть живущаго <...>». Автор сатирически изображает бояр. У льстивого боярина Семьюнка лицо было красное, как у лисицы. Боярин Доброслав, когда ехал на коне, то в гордости не смотрел на землю. Малодушные изменники бояре, которые вынуждены были сдать Галич Даниилу, выходят к нему со слезами на глазах, с осклабленными лицами, облизывая губы. Автор описывает, как подлые заговорщики, «сидя в думе» и совещаясь, как бы убить Даниила, были испуганы его братом Васильком. Молодой Василек вышел к ним и обнажил на одного из слуг «мѣчь свой играя», а у другого, играя же, вырвал щит. Заговорщики, решив, что они открыты, бежали подобно Святополку Окаянному. Автор описывает, как бояре оскорбляли Даниила, как один из них на пиру выплеснул чашу вина ему в лицо и т. д.

Таким образом, автор жизнеописания Даниила ставил себе задачи не только прославления Даниила, но и пропаганды сильной княжеской власти и необходимости борьбы с боярством.

В отличие от Владимиро-Суздальского летописания стиль жизнеописания Даниила в основном светский, в нем мало церковного. Автор жизнеописания — начитанный дружинник, скорее всего — это печатник князя Кирилл, ставший затем митрополитом, или кто-то из его окружения. Он пользуется песнями об отце Даниила — Романе, упоминает «песнь славну», которую пели Даниилу и Васильку при возвращении из похода на ятвягов. Отзвуки какой-то половецкой песни на тему о любви к родине содержит самое начало жизнеописания. Поэтической темой этой песни пленялись впоследствии не раз русские поэты: это песнь о степной траве «евшан» (полыни), запах которой заставил хана Отрока вернуться на родину. К фольклору, а также, отчасти, к византийской хронографии восходит в жизнеописании широкое пользование эпитетами: «борзый конь», «острый меч», «светлое оружие» и мн. др.

Установленное академиком А.С. Орловым[1] влияние компилятивного хронографа на Галицкую летопись имеет важное

[1] См.: *Орлов А.С.* К вопросу об Ипатьевской летописи // Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР. Т. XXXI. 1926. С. 93 и сл.

принципиальное значение. Княжеская власть стремилась найти опору своему возрастающему значению в византийской культуре. В Галицкой Руси это византийское влияние облегчалось при Данииле еще и тем, что Галиция имела общие с Византией границы по Дунаю и издавна находилась с нею в союзных отношениях. Сильные князья стремятся подражать византийским императорам и вводят у себя придворную хронографию, отчасти сходную с византийской. В Византии был распространен обычай, по которому император назначал при жизни историографа, в обязанность которого входило составлять жизнеописание своего монарха. Император сам следил за работой такого историографа. Этот последний свободно пользовался его архивами, записывал многое с его слов и заканчивал свою работу уже после смерти императора. Но жизнеописание Даниила прервалось до его смерти в 1264 году — где-то около 1255–1256 годов. Поводом к составлению жизнеописания Даниила могло быть получение им в 1255 году от римского папы титула короля. Настойчивость, с какою восхваляется могущество Романа и Даниила, должна была утвердить законность титула «короля» даже в глазах тех, кто не признавал права папы даровать титул «короля» русским князьям.

Можно предполагать, что подобные же жизнеописания были составлены в Галицко-Волынской Руси для Владимира Васильковича, Мстислава Даниловича и Льва Даниловича. Все они читаются в Ипатьевской летописи и показывают, как утвердилась в юго-западной Руси новая манера исторического повествования. Особенно интересно жизнеописание Владимира Васильковича с подробным и красочным рассказом о его смерти и предсмертной политике его, завещание и заключительная похвала, в которой автор использовал слово митрополита Илариона «О Законе и Благодати», стремясь словами Илариона восхвалить его просветительную деятельность среди вновь крещенных народов.

Галицко-Волынская летопись поразительна по энергии повествования. Меньше одной страницы посвящено в ней описанию взятия Киева ордами Батыя, но что за слова отобраны, какая монументальная картина разворачивается перед нами! Кратко изложенное, описание все-таки дает яркое представление о грандиозности и трагичности происшедшего. Слова летописи приобретают былинный строй:

«Приде Батый Кыеву в силѣ тяжьцѣ, многомь множьствомь силы своей, и окружи град и остолпи сила татарьская, и бысть град во обьдержаньи велицѣ. И бѣ Батый у города и отроци обсѣдяху град, и не бѣ слышати от гласа скрипания телѣгъ его, множества ревения вельблудъ его, и рьжания от гласа стадъ конь его. И бѣ исполнена земля руская ратныхъ <...>».

Не менее поразителен плач летописца и всех окружающих по поводу унижения Даниила в ставке Батыя (под 1250 годом). Само это унижение описано почти как драматическая сцена с диалогом между князем и ханом, с указанием жестов и движений: «...и поклонися по обычаю ихъ, и вниде во вежю его...» Описав, как Даниил выпил «черное молоко» — «кумуз» (кумыс), летописец замечает, что на приеме у ханши Даниил пил уже присланное ему Батыем вино, и пишет: «О злѣе зла честь татарьская!» И далее оплакивает унижение своего князя.

Светское «Жизнеописание Даниила Галицкого» послужило образцом для церковного «Жития Александра Невского». И именно это облегчило автору «Жития Александра Невского» задачу создания нового типа церковного жития святого-полководца. «Житие...» было, по-видимому, составлено в том же кругу книжников, ибо «печатник» Даниила — Кирилл — стал митрополитом Кириллом, переехавшим на северо-восток и помогавшим Александру. Он сам, этот Кирилл, или кто-то из его окружения составил оба жизнеописания — и Даниила, и Александра. В этом убеждает множество стилизованных и лексических совпадений[1]. Среди других образцов для «Жития Александра» были «Александрия», «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Повесть о Троянском пленении», «Летописец вкратце» патриарха Никифора, «Девгениево деяние» и мн. др. Александр Невский сравнивается в житии с Александром Македонским, Ахиллесом, Девгением Акритом, императором Веспасианом, Иосифом Прекрасным, Самсоном, Давидом, Моисеем, Иисусом Навином. Его деяния и он сам вставлены в величественную раму мировой истории. Сам Александр Невский как бы сознает свою мировую роль и, отвечая папе римскому на предложение принять

[1] См. подробнее: *Лихачев Д.С.* Галицкая литературная традиция в «Житии Александра Невского» // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. V. М.; Л., 1947. С. 36–56.

его учение, отвечает: «Отъ Адама до потопа, от патопа до разделения языкъ, от разьмѣшениа языкъ до начяла Авраамля, от Авраама до проитиа Иисраиля сквозе море, от исхода сыновъ иисраилевъ до умертвия Давыда царя, от начала царства Соломоня до Августа и до Христова рожества, от рожества Христова до страсти и воскресения, от въскресения же его и на небеса взшествиа и до царства Константина, до перваго збора и седьмаго — сия вся добрѣ съвѣдаемь, а от вас учения не приемлем».

Как и в «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Житии Александра Невского» рассказывается о героизме простых ратников — о шести «храбрых и сильных мужах», которые совершали подвиги в битве на Неве.

Заканчивается «Житие...» описанием народного горя при известии о смерти Александра. Люди рыдали так, что и «земли потрястися». Александр сравнивается с зашедшим солнцем.

Перед нами яркая вспышка того исторического и «космического» монументализма, который был так характерен для домонгольской литературы.

* * *

Заключая свой рассказ о нашествии Батыя, новгородский летописец замечает: «Усобная же рать бываеть от сваженія дьяволя». Это не случайно. В период монголо-татарского ига особое значение приобрели церковные проповеди с моральными наставлениями пастве или отдельным лицам — по преимуществу князьям. Вражеские нашествия и стихийные бедствия (землетрясения, неурожаи, наводнения и т. д.) всегда считались божьим наказанием за моральные грехи людей. Одним из популярнейших произведений было «Слово о казнях божиих» Феодосия Печерского, часто цитировавшееся в летописях XII — начала XIII века. Однако после установления монголо-татарского ига были еще и особые обстоятельства, которые придали этим церковным наставлениям особое значение. Бесправие населения и произвол чужеземных властителей вели к мрачному моральному падению многих князей: князья добывали себе благоволение угодливостью, уступчивостью чужеземной власти, доносами друг на друга. И все это стало жесточайшим бедствием в общественной жизни. Авторитет княжеской власти среди народа никогда еще не па-

дал так низко. Церковь стремилась обуздать пороки паствы и отдельных князей, чтобы укрепить власть последних, а литература брала на себя заботы по возрождению павшего было общественного сознания. Стремление к моральному возрождению и сплочению охватило всю Русь.

Проповеди владимирского епископа Серапиона — живое свидетельство единства русской литературы на всем пространстве Русской земли от Киева на юге, Галицко-Волынской Руси на юго-западе и Владимиро-Суздальской Руси на северо-востоке. А вместе с тем его проповеди свидетельствуют об общем всей русской литературе отношении к страшным событиям иноземного нашествия и ига.

Серапион был до 1274 года архимандритом Киево-Печерского монастыря — монастыря, сыгравшего значительную роль в укреплении общерусского самосознания, самый патерик которого был составлен на основе переписки из двух крайних концов Русской земли — Поликарпа, жившего в самом Киево-Печерском монастыре, и Симона, жившего во Владимире. Серапиона взял с собой из Киева во Владимир митрополит Кирилл — бывший «печатник» галицкого князя Даниила. Самим Кириллом непосредственно или кем-то из его окружения, сопровождавшего его в переезде на север, как мы уже говорили, было составлено «Жизнеописание Даниила Галицкого», включенное впоследствии в состав Ипатьевской летописи, и написано «Житие Александра Невского» — одно из самых популярных произведений древнерусской литературы на всем протяжении ее существования. Кириллу принадлежит «Правило Кирилла, митрополита русского», представляющее собой литературное объединение постановлений церковного собора, происходившего во Владимире в 1274 году. Можно установить непосредственную близость по содержанию, по форме и языку между этим произведением и пятью сохранившимися проповедями Серапиона. Больше того, мы можем заметить живую связь между всеми произведениями русской литературы XIII века как в оценке событий и их причин, так и в правилах того, как следует держаться в новых условиях «томления и муки» чужеземной тирании.

Первое из поучений Серапиона написано им около 1230 года, то есть до катастрофы Руси, связанной с Батыевым на-

шествием. Оно, как и все другие произведения первой трети XIII века, полно предчувствий надвигающегося. Этим подтверждается тот неоспоримый для нас факт, что внешнее поражение Руси воспринималось как следствие ее внутреннего неблагополучия. И характерно, что самое мрачное из его поучений именно это первое, написанное им еще до того, как он увидел и испытал на себе все последствия длительного ига. Четыре других поучения с удивительной образностью и художественной энергией и лаконизмом говорят о иге и нашествии: гнев божий застиг людей «аки дождь съ небеси», пролитая кровь «аки вода многа землю напои», но тем не менее он уверен, что, сохранив моральную чистоту и стойкость, не идя ни на какие сделки с совестью, «гнѣвъ божий престанеть <...> мы же в радости поживем в земли нашей».

Иго чужеземцев — это прямое следствие «вражды» князей между собой и безудержного использования труда простого населения — «несытства именья», «резоимства» (ростовщичества), отсутствия патриотизма и гражданской солидарности.

В отличие от знаменитого проповедника XII века Кирилла Туровского, поучения Серапиона Владимирского просты по форме, доступны не только «преизлиха насытевшейся» «сладости книжности» аудитории и читательской среды, которая была у киевского митрополита Илариона XI века, но самым широким слоям читателей и слушателей. Простота проповедей Серапиона не была, однако, следствием его собственной простоты и необразованности. Он знает сочинения Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого и «инѣхъ святитель святыхъ, ими же вѣра утвержена бысть». Он осведомлен в событиях на Далматинском побережье Адриатики, Польши и Литвы. Он выступает против самых грубых суеверий: против расправы с теми «жонками», которым молва приписывала порчу урожая, засуху, падеж скота, мор. Он выступает против испытания водой, которое особенно упорно было принято в Новгороде и часто вело к гибели многих ни в чем не повинных людей. Он убеждает не подвергать самосуду тех, кого толпа считала виновными в чародействе, не считать, что погребение утонувших людей или самоубийц ведет к неурожаям, и многое другое.

Его проповеди отличаются ясностью мысли, ритмической организацией речи, особой лиричностью. В них чувству-

ется уже приближение той эпохи, когда эмоциональность широко овладеет литературой и обращение к человеческой психологии станет характернейшим явлением не только литературы, но и изобразительного искусства.

К 1281 году относится и «Послание Иакова-черноризца к ростовскому князю Дмитрию Борисовичу». Необходимо отметить, что духовники (т. е. священники, которые исповедовали мирян и отпускали им грехи) обладали известной долей независимости. Это позволяло им не только обращаться к своим «духовным детям» с поучениями, но и разоблачать дурное поведение самих высокопоставленных лиц, а если они обнаруживали свое непослушание, то и выступать с публичными к ним упреками.

Год, в который было написано послание Иакова, был годом начавшейся борьбы между ростовскими князьями. Князь Андрей испросил себе в Орде ярлык на великое княжение и с разными «коромольники» пошел с татарской ратью на Дмитрия Борисовича. К татарской рати Андрея присоединились Константин Ростовский и другие. Вся земля от Мурома и до Торжка подверглась страшному опустошению: «...множьство безчислено христианъ полониша, по селомъ скотъ и кони и жита пограбиша, высѣкающе двери у хоромовъ; и бяше великъ страхъ и трепетъ на христианскомъ родѣ» (Симеоновская летопись).

Черноризец Иаков уговаривает Дмитрия Борисовича проявлять любовь к ближнему, причем указывает, что сейчас «год ратен». И действительно, ссора с братьями угрожала перейти в огромное военное столкновение: Дмитрий Борисович стал в Ростове «наряжать полки» и «город весь замяте», но вскоре «замирился».

* * *

Воздействие литературы на общественную и политическую жизнь всегда трудноучитываемое. Но можно все-таки предполагать, что оно было немалым и в Древней Руси вообще, и особенно в тяжелейшие годы монголо-татарского ига. Осуждения в письменных произведениях страшились, похвал добивались. Значение литературы в исторической жизни русского народа становилось все выше, а ее отрезвляющий моральный голос звучал все увереннее.

Если можно говорить об идеологической направленности литературного стиля, то теперь эта направленность приобретала все более четкие очертания. Стиль монументального историзма, который раньше заставлял читателей подниматься над суетностью повседневной жизни, видеть жизнь с высот общечеловеческой истории и как бы с птичьего полета, теперь в эпоху нашествия и начавшегося ига направлен прежде всего на моральное оздоровление русского общества.

Литература этого периода как бы слилась с действительностью. Она может быть понята только в органической связи с трагическими событиями монголо-татарского нашествия. Рассказы об ужасах нашествия удесятерялись в силе своего воздействия на читателей именно потому, что в них не было вымысла. Читатели знали: это все было, и не только было, но продолжало существовать в своих последствиях. Погибли родные, погибли отцы и деды, погибли их односельчане и жители их города, продолжала гибнуть вся Русская земля. И читая, каждый думал о своем, близком, родном ему. Историзм русской литературы, запрещавший рассказывать заведомый вымысел, стал в повествованиях о нашествии больше, чем историзмом, — он стал требованием писать только о том, что есть, что еще не ушло целиком в прошлое, что существует в своих последствиях и объясняет настоящее. Повести о монголо-татарском нашествии воспринимались не как рассказы о прошедшем, а как сообщения о только что случившемся. Легенда о невидимом граде Китеже была рассказом о том, что теперь, сейчас, существует где-то заветный град, не покорившийся врагу, в который могут войти те, кто чист сердцем, не примкнул к неправде. Повесть о разорении Рязани Батыем была не только простым рассказом о том, как погибла старая Рязань, как она запустела, но и объяснением этого запустения, а вместе с тем и воздаянием должного памяти ее защитников... Именно поэтому она заканчивалась «Похвалой роду рязанских князей» — как бы светской им «вечной памятью». Писатели «плели» в своих произведениях мученические венки погибшим в сражениях на поле брани и при защите городов, уведенным в полон, убитым в Орде, скрывшимся в невидимом Китеже.

Стиль литературы середины XIII — первой половины XIV века не имел резко выраженных особых черт в своей словес-

ной форме, но все же если бы потребовалось его особое определение по своему содержанию, то монументализм древней русской литературы этого времени мог бы быть условно назван монументализмом нравственным.

Литература этого периода решала вопросы, касавшиеся всех и каждого. События были огромны, и моральные проблемы выступали на первый план, при этом в громадных охватах: как вести себя всем князьям, всему войску, всему населению города или сельских местностей. Нравственные проблемы охватывали не только отдельных людей, а всех в целом, в совокупности. И хотя жизнь заставляла прибегать к компромиссам, литература учила только бескомпромиссности и только в решительном отказе склонить голову перед врагом видела правый пример для остальных.

Вот почему именно в это время, в XIII и XIV веках, получили особенное распространение сочинения по всемирной истории, описания вселенной, животного и растительного царств. Судьба народа — своего собственного и всех народов мира, всей вселенной — интересовала читателей в этот период с особенной остротой.

Нравственный монументализм был содержанием произведений середины XIII — первой половины XIV века, но в известной мере он коснулся и их формы. Экспрессивность сжатого и лаконичного изложения, столь типичная для многих произведений древнерусской литературы, достигла в это время исключительной силы.

Лучшие произведения этой поры очень невелики по объему, точно их авторам нет времени заниматься многописанием, но они огромны по охватываемому ими пространству. Все они своеобразные реквиемы, за которыми, однако, стоит величайшая жизнеутверждающая сила, вера в жизнь, не страшащаяся смерти, убежденность в бессмертии правды и неизбежности победы над врагами.

Учительный и патриотический характер русской литературы, ее нравственная бескомпромиссность определились в XIII–XIV веках с полной отчетливостью и сохранились в русской литературе до нового времени включительно, став одной из важнейших национальных черт русской литературы в ее целом.



Литература времени национального подъема

XIV – середина XV века

Главное историческое событие в жизни Руси второй половины XIV века и первой XV – победа на Куликовом поле.

В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, собрав многочисленное войско почти всех русских княжеств, преградил путь на Русь золотоордынской армии Мамая. Куликовская победа имела огромное национальное значение. Именно Москва организовала сопротивление Золотой Орде. Дмитрий Донской, защищая не одно только свое Московское княжество, но всю Русь, выступил вперед и встретил золотоордынское войско за рубежами Руси – в «диком поле». Именно здесь, у Непрядвы и Дона, решался вопрос о том, вокруг какого княжества объединяться русскому народу. Ни изменившая Рязань, ни медливший с посылкой своих войск Новгород,

---

Публ. по: Литература времени национального подъема // Памятники литературы Древней Руси. XIV – сер. XV. М.: Худож. лит., 1981. С. 5–26.

ни какой-либо другой центр не получили в глазах всего населения такого общерусского авторитета, как Москва.

Куликовская победа «за Доном» подняла политический престиж Москвы, сделав ее подлинной главой русских княжеств. Эта битва подняла русское национальное самосознание и сама явилась результатом не только экономического и военного роста Руси, но и роста культурного и общенародного. Литературный подъем предшествовал Куликовской победе и продолжался после.

Несмотря на то что через два года после Куликовской битвы хан Тохтамыш «изгоном» захватил и разорил Москву, а уплата ордынского «выхода» длилась еще целое столетие, рост национального самосознания не замедлялся.

Что же предшествовало в русской культуре главному историческому событию эпохи – Куликовской битве?

Прежде всего отметим начавшееся еще с середины XIV века восстановление культурных связей с балканскими странами – с Византией, Болгарией и Сербией в первую очередь. Культурная изоляция Руси, существовавшая более века после нашествия Батыя в результате чужеземного ига, закончила на время свое существование. Русская культура включилась снова в культурное развитие Европы. Страна стала выходить из оцепенения чужеземного ига, когда, по выражению летописца, и «хлеб не шел в рот от страха». Явления письменности и искусства об этом свидетельствуют с достаточной убедительностью.

Появились и крупные центры умственного общения – монастыри Афона, Константинополя, Сербии и Болгарии по преимуществу.

Возникло единое умственное направление, единое развитие, не отменявшее, конечно, национальных особенностей, а, напротив, способствовавшее развитию отдельных национальных культур.

Во второй половине XIV и в начале XV века на Русь переносится огромное количество различных новых переводов, сделанных на славянский литературный язык в Болгарии, Сербии, монастырях Греции, Иерусалима, Синая. Здесь и сочинения отцов церкви в новых переводах, сочинения богословские, церковно-канонические, церковно-служебные и, что для нас самое главное, – произведения литературные.

Оригинальные южнославянские произведения (главным образом жития) составляют сравнительно небольшую часть появившихся на Руси памятников письменности. Среди перенесенных к нам из Византии через южнославянское посредство произведений отметим новые переводы или новые редакции старых переводов Четвероевангелия, Апостола, Псалтыри, «Служебных миней», гимнографической литературы, «Песни песней», «Слов» Григория Богослова, «Лествицы» Иоанна Лествичника, «Пандектов» Никона Черногорца, «Вопросов-ответов» Псевдо-Афанасия, «Жития» Антония Великого, «Жития» Варлаама и Иоасафа, «Синайского патерика», «Слова» Мефодия Патарского и других, а также переводы ранее неизвестных в славянской традиции сочинений отцов церкви и византийских мистиков: Василия Великого, Исаака Сирина, Григория Синаита, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т. д. Особое значение имело появление в XIV веке переводов Дионисия Псевдоареопагита — философа и богослова, в сочинениях которого ясно ощущаются элементы античной традиции.

Приблизительно в это время или чуть раньше на Руси появляются «Повесть об Индийском царстве», «Сказание о двенадцати снах Шахаиши», «Хождение Зосимы в блаженную страну рахманов», «Слово о Макарии Римском». Особенно же много делается на самой Руси новых переводов историческихсочинений и редактируются старые. Перерабатывается «Еллинский и Римский летописец» («еллинским» он назван потому, что охватывал языческие времена античности, а «римским» — так как охватывал византийскую историю, считавшуюся историей Римской империи), создаются Иудейский хронограф и Толковая Палея. Переносятся на Русь и славянские переводы болгарских и сербских святых.

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими переводами с греческого делаются переводы и на Руси, а также в Константинополе, на Афоне и в болгарских монастырях, где тоже жили русские. Переводами с греческого занимался сам московский митрополит Алексей и многие русские церковные деятели. Преемник Алексея на русской митрополичьей кафедре болгарин Киприан списывал в Константинопольском Студийском монастыре «Лествицу» Иоанна Лествичника, а затем в Голенищеве под Москвой «многие святыя книги

со греческаго языка на руський язык преложи и довольно списания к пользе нам остави».

Этот далеко не полный перечень переводческой деятельности и интереса к переводной литературе, свидетельствующей о большом умственном подъеме в XIV–XV веках, должен быть сопоставлен с одновременными фактами южнославянского и особенно непосредственного византийского влияния в русском искусстве, появлением на Руси византийских и сербских мастеров. Связи с балканскими странами отнюдь не ограничивались письменностью.

Чрезвычайно существен и факт обратного, русского влияния в южнославянских странах. Это влияние отмечено для письменности многими исследованиями.

* * *

В чем сущность того единого умственного движения, которым был охвачен восток и юго-восток Европы и которое не знало отчетливых границ между восточнославянскими и южнославянскими народами? В этом умственном движении могут быть отмечены некоторые черты, которые типичны для этого периода и в Западной Европе.

Главная черта этого периода — рост личностного начала. В отличие от Западной Европы, где этот процесс был связан с общим обмирщением культуры и ослаблением церковности, на востоке и юго-востоке Европы рост личностного начала совершался внутри самой церковной культуры. Церковь здесь продолжала иметь огромное значение — особенно в борьбе с иноверными завоевателями. Борьба с чужеземным игом и нашествиями захватывала народные силы, но общение между странами, восстанавливавшееся во второй половине XIV и первой половине XV века, открывало доступ новым идеям.

Внутренняя жизнь человека — вот что интересует теперь в первую очередь и писателей, и художников и что входит в церковную жизнь. Уединенная молитва, молитвенное самоуглубление, отшельничество, уход от людей в далекие скиты становятся необходимыми элементами монашеского подвига.

Рост личностного начала в культуре имел огромное значение на Руси. В эпоху борьбы с игом выступали вперед личные свойства человека: его преданность князю, его стойкость, неподкупность, независимость, мужество и т. д. и т. п. Поэтому

на личные качества человека и обращалось в литературе и изобразительном искусстве гораздо большее внимание, чем раньше.

С развитием личностного начала в определенной мере связано появление в XIV веке, сперва на Балканах, а вскоре и в России, нового литературного стиля — экспрессивного, эмоционального, а вместе с тем и «ученого», усложненного и часто торжественного. Так, на середину XIV века падает на Балканах короткий расцвет Тырновской литературной школы. Расцвет этот наступил в 1371 году, когда главный деятель этой школы Евфимий стал патриархом в Тырнове, и продолжался до захвата Тырнова турками в 1393 году.

Тырновское литературное направление было направлением, развивавшим в литературе торжественный стиль, с помощью которого можно было бы прославить болгарских деятелей. Стиль этот способствовал развитию литературного языка, обогащению его лексики за счет искусственных словообразований. В Тырнове развивалась особая «филологическая» ученость, было реформировано правописание и изменялись даже почерки рукописей. То же самое мы видим и в Сербии, где в Ресавском монастыре производится реформа орфографии и письма.

Реформы языка, усложнение стиля, появление новой орфографии имели своей целью создать единую для всех славян письменность, сблизить эту письменность с письменностью Византии, объединить литературу всех южных и восточных славян. Действительно, по свидетельству деятеля болгарской литературы этого времени Григория Цамблака, в Тырнове учились и работали «не токмо же болгарских родов множество, но и северная вѣе до океана и западная до Илирика».

Возникший в XIV веке в Болгарии в Тырнове панегирический стиль создал чрезвычайно искусную орнаментальную прозу.

Новый сложный стиль, стиль «плетения словес», ответил на Руси потребностям начавшегося перед Куликовой победой подъема национального самосознания. Его торжественность позволяла восхвалять церковных и светских деятелей русской истории. Само название этого стиля — «плетение словес» — следует понимать как плетение словесных венков — венков победных и мученических, — венков славы.

Особенное значение этот новый стиль «плетения словес» имел в Москве.

Это объясняется особой идейной атмосферой, установившейся в Москве уже в середине XIV века и сохранявшейся значительно позже.

* * *

В исходе XIV века Москва постепенно становится крупнейшим средоточием литературных сил, еще раньше, чем она стала средоточием русской государственности. Конец XIV и первая половина XV века – время идеологической подготовки создания единого Русского государства. При этом подъем всех духовных сил русского общества идет под знаком возрождения традиций времени национальной независимости – Владимирской и Киевской Руси XI–XIII веков.

Дмитрий Донской первым стал на ту точку зрения, что только Москва является наследницей Владимирского княжества. В Москве возрождаются строительные формы Владимира, традиции владимирской письменности и летописания. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. Из Владимира же перекочевывают в Москву и те политические идеи, которыми руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной и значительной, придав уже в XIV веке политике московских князей необычайную дальновидность, поставив ей цели, осуществить которые Москве удалось после ряда столетий чрезвычайных усилий только во второй половине XVII века. Идеей этой была идея собирания всего киевского государственного наследства.

Московские князья, настойчиво добивавшиеся ярлыка на великое княжение, так же как и тверские, владимирские, видели в себе потомков Мономаха.

В их городе с начала XIV века обосновался митрополит «Киевский и всея Руси», и они считали себя законными наследниками киевских князей: их земель, их общерусской власти.

Постепенно, по мере того как нарастает руководящая роль Москвы, эта идея киевского наследства крепнет и занимает все большее место в политических домогательствах мос-

ковских князей, соединяясь с идеей владимирского наследства в единую идею возрождения традиций государственности независимой и могущественной домонгольской Руси. Московские князья претендуют на все наследие Владимира I Святославича и Владимира Мономаха, на все наследие князей Рюрикова дома. Борьба за киевское наследие была борьбой с Ордой, поскольку киевское наследие было наследием национальной независимости, национальной свободы. Борьба за киевское наследие была также борьбой за старейшинство московского князя среди всех русских князей; она означала борьбу за единство русского народа, а в будущем — за Смоленск, за Полоцк, за Чернигов, за Киев, она означала также тяжкий труд над образованием единого Русского государства.

Отсюда естественное на первых порах стремление судить обо всем «по старине и по пошлине» — на основе традиций эпохи независимости. В эпоху борьбы с Ордой это стремление к восстановлению старых традиций было явлением прогрессивного порядка. Только в будущем, в XVI и XVII веках, когда Русь была уже полностью независимой, этот первоначально творческий принцип стал препятствием на пути развития русской культуры, явившись как бы знаменем государственного консерватизма XVI–XVII веков.

Стремление к возрождению традиций эпохи независимости Руси характеризует и древнерусскую литературу второй половины XIV–XV века. Мысль обращается к независимому прошлому с желанием увидеть в нем будущее. Русские литературные произведения XI–XIII веков становятся образцами для создания новых. Заимствуются отдельные места, образы и идеи из «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, из житий Бориса и Глеба, из «Повести временных лет», из произведений Кирилла Туровского, из Киево-Печерского патерика, из «Слова о полку Игореве», из «Слова о погибели Русской земли», «Жития Александра Невского», «Повести о разорении Рязани Батыем» и проч. На этой основе создаются новые произведения, посвященные современности или ближайшему, не утратившему своего значения, прошлому.

В этих условиях обращение к литературе времен национальной независимости с ее высоким и весьма искусным стилем (особенно в произведениях Илариона XI века, Кирилла Туровского XII века и др.) совпало с аналогичными тенденци-

ями нового литературного стиля, возникшего на Балканах. Новый стиль проник на Русь вместе с многочисленными памятниками письменности, которые были привезены беженцами с Балкан, но его привезли также и живые носители этого стиля – замечательные писатели – болгары по происхождению: митрополит Киприан и Григорий Цамблак. Значительно позже, в XV веке, его распространял на Руси и профессиональный писатель Пахомий Серб, писавший по заказам тексты служб и жития русским святым в Новгороде и Москве.

Переехав на Русь и став московским митрополитом, болгарин Киприан написал ряд сочинений, из которых значительнейшее – житие митрополита Петра. Московский митрополит Петр был первым, который окончательно перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву и здесь даже собственными руками построил себе в новом Успенском соборе гробницу, как бы утверждая этим «вечность» своего пребывания в новом церковном центре Руси. Киприан своим «Житием московского митрополита Петра» также точно обосновывал свою связь с Москвой, а некоторыми деталями своего произведения подчеркнул общность своей судьбы с судьбой митрополита Петра. Болгарин Киприан на русской митрополичьей кафедре ощущал себя прежде всего главой русской церкви и москвичом.

Уже имевшееся до него житие Петра Киприан значительно переработал в новом стиле. По этой переработке мы ясно можем себе представить – что именно внес Киприан нового в свое житие митрополита Петра. Это новое заключалось прежде всего в том, что он добавил в житие чрезвычайно много личного. Никогда прежде биография святого не становилась в такой мере предметом для размышления о своей собственной судьбе. И это «новшество» очень типично для конца XIV века. Говоря о путешествии Петра в Константинополь для поставления в митрополиты, Киприан подчеркивает схожесть своих собственных затруднений в Константинополе с поставлением в русские митрополиты с теми затруднениями, которые встретил там же Петр и по тому же поводу. Далее Киприан прямо вставляет в «Житие...» Петра размышления о своих собственных злоключениях, когда его не хотел принимать в Москве Дмитрий Донской и он вынужден был жить некоторое время в Литве.

Связь своей судьбы с судьбой Петра Киприан обращает в нечто реальное, когда пишет о том, что, заболев в Царьграде, он обратился с молитвой к митрополиту Петру и молитва эта помогла ему: исчезли все тяжкие болезни. В Москве он с особенным усердием обращается к гробу Петра и молится Петру – как своему покровителю.

Эпическая тема – биография святого – разрешена в произведении Киприана как лирическая повесть. Это характерно для нового стиля – стиль этот лиричен в своей основе.

* * *

Стиль панегирической прозы XIV–XV веков в его русском варианте отмечен какой-то особой напряженностью поисков эмоциональной выразительности. Он понуждал авторов к усиленной работе, к неустанным поискам наилучшего выражения, свидетельствовал о высокой филологической культуре своего времени, был «неспокойным», и в нем ясно ощущалось стремление выразить особое, лирическое отношение к миру. Форма в нем требовательно подчинялась содержанию, он был связан с определенным мировоззрением, вернее – мироотношением, со стремлением взглянуть на окружающий мир со своей особой, индивидуальной точки зрения. Мы можем назвать этот стиль орнаментальной прозой и видеть в нем одно из проявлений усиления личностного начала в литературе.

Характерная черта нового стиля – появление единого «сверхсмысла», извлечение новых значений из сочетания слов, развитие контекста. Создаются различные эффекты ритма, игры словами, – особенно словами, имеющими общий корень, или словами синонимичными, близкими по значению.

Встает вопрос: не является ли это стремление к «контексту» выражением общего стремления эпохи к единству, с которым связан и культ троичности – «единства во множественности»? Гармония согласованных усилий, как и нравственные искания разного рода становятся в это время основной темой и литературы, и изобразительных искусств. Это – знамение времени, доминанта всего его изобразительного искусства, как и всей литературы.

Если в монументальном стиле предшествующих периодов основой единства было внешнее его оформление, монолит-

ность и спаянность, отражающаяся в силе и тяжести, то теперь на первый план выступают внутренние явления монолитности. Единство как бы растет изнутри, освящает и, одновременно, освещает объект некиим внутренним светом. Это отчетливо заметно в зыбкой, колеблющейся, «играющей» прозе орнаментального стиля так же, как и в особом «сиянии» красок рублевской «Троицы», в пристрастии к «плави», к различным формам передачи света (особенно в композиции «Преображения» – одном из излюбленных сюжетов этого времени).

О внутреннем свете очень часто говорят произведения панегирических жанров, и его же пытаются передать художники в своих произведениях. Об этом же говорит и ритмическая устремленность в вышину, которая все больше сказывается в произведениях архитектуры, особенно в XV веке.

Одна из характерных особенностей живописи этого времени – использование различных оттенков одного и того же цвета. Если для предшествующего времени была характерна многокрасочность, то в XV веке появляется использование разных оттенков синего (в «Троице» Рублева), красного (в новгородских иконах).

Не чистый цвет, а оттенки цвета и их сопоставления имеют очень большое значение в живописи XIV и XV веков. Художники второй половины XIV–XV века стремятся к согласованию цвета, к единому ритму, пронизывающему всю композицию. Это мы видим и в произведениях Рублева, и в произведениях Феофана Грека, и во многих других, особенно лучших созданиях того же времени.

* * *

Расцвет русской орнаментной прозы падает на конец XIV–XV век и связан прежде всего с именем замечательного русского писателя Епифания Премудрого. В его произведениях орнаментная проза достигла своего высшего и непревзойденного цветения. Ему принадлежат составленные в этом стиле «Житие Стефана Пермского» и дошедшее до нас в позднейшей переработке – «Житие Сергия Радонежского».

Последнее произведение особенно замечательно своим идейным содержанием.

Основатель ставшего самым знаменитым в Московском княжестве Троице-Сергиева монастыря, Сергий Радонежский всю жизнь прожил в монастыре, не только полунищенской, но и трудовой жизнью.

Сквозь драгоценную узорчатость «плетения словес» с тем большим контрастом выступает перед читателем личная скромность Сергия и его тяжелая жизнь труженика и радетеля о Русской земле; ордынские нашествия, насилия московских воевод, жизнь в лесу среди диких зверей, постоянная нехватка пищи.

Сергий властен и силен. Сильный физически («имел силу против двух человек»), он силен и своим влиянием на народ.

«Житие Сергия Радонежского» состоит из отдельных рассказов с сюжетной законченностью. Многие из этих рассказов явно восходят к народным легендам о Сергии. Образ Сергия в этих легендах всегда один и тот же: он силен и сдержан, «дерзновенен» к властям и смирéн перед Богом, скромен и вместе с тем отличается большим чувством собственного достоинства. В сущности, образ Сергия создан не Епифанием — он заключен уже в народных о нем рассказах. Стиль плетения похвал святому, который так ярко представлен в «Житии...» Сергия и который так часто делал неправдоподобными все авторские восторги, здесь у Епифания органически связан с содержанием.

Орнаментальная проза панегирúческого стиля Епифания не является простой языковой игрой, бессодержательным орнаментом: нагромождение однокоренных слов или слов с ассонансами нужны для усиления экспрессии, нужны по смыслу. Ключевое слово, создающее плетенку, подчеркивает в тексте основное[1]..

* * *

Вернемся к тем культурным, и в частности литературным, связям, которые были восстановлены начиная с середины XIV века между Русью и Балканским полуостровом.

Реальные связи со странами Балканского полуострова были закреплены в обширной литературе путешествий, интерес к которым особенно проявляли новгородцы, чей Великий Го-

[1] См. подробнее: *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 118–126.

род стоял на одной из важнейших торговых дорог Европы, хотя временно и прерванной во второй половине XIII века нашествием Батыя, а теперь возобновленной благодаря включению Новгорода в Ганзейский союз.

Новгородцы всегда были неутомимыми путешественниками, людьми книжными и ценителями искусств. Таким именно внимательным к культуре иных стран путешественником оказался Стефан Новгородец, составивший подробное описание Константинополя.

«Хождение Стефана Новгородца в Царьград» относится к 1343–1349 годам. Стефан пришел в Константинополь не один, а с «другы осемью». Кто были эти «другы», мы не знаем, так же как не знаем и цели, с которой приходил Стефан: был ли он торговым человеком или приходил в Царьград по делам новгородской церкви. Стефан описывает в Константинополе не только религиозные ценности, но и архитектуру, предметы искусства. Он обратил внимание на статую Юстиниана (для русского человека, не знавшего у себя на родине скульптурных монументов, эта статуя была особенно удивительна), описывает знаменитые колонны Софийского храма, отмечает статую Христа в «новой» базилике, колонну Константина Великого, перечисляет украшения и художественную утварь храмов. При этом Стефан прежде всего всюду обращает внимание на то, что отсутствовало у него на родине и что было для него самым необычным: помимо скульптуры – колонны, портики, описывает мрамор – его твердость и цвет, подробно рассказывает об огромной гавани Константинополя и о морских судах.

Стефан, как и другие новгородские паломники, отмечает в своем «хождении» следы разрушений, причиненных Константинополю крестоносцами в 1204 году. И это невольно выдает в нем осведомленного человека, интересующегося памятниками искусства и их историей.

Кроме «Хождения» Стефана Новгородца, от XIV века дошли до нас еще два своеобразных «путеводителя» по Константинополю – «Сказание о Царьграде» и «Беседа о святынях Царьграда». Оба эти памятника составлены не очевидцами, а восходят к какому-то не дошедшему до нас третьему описанию Константинополя – может быть, принадлежащего Василию Калике – будущему новгородскому архиепископу Васи-

лию, написавшему «Послание к тверскому епископу Федору о земном рае».

И это послание Василия о земном рае характеризует тягу русских людей XIV века к далеким странам и далеким путешествиям. Василий описывает земной рай, который видели его «дети» — новгородцы. Непосредственной темой «Послания» Василия послужил спор о том, существует ли рай на земле, в котором жили Адам и Ева, или материальный рай погиб и есть только рай «мысленный», то есть идеальный, неземной.

Спор этот, довольно типичный для Средневековья, касался одной из основ религиозного мировоззрения той эпохи. Несториане и яковиты, сторонники прямого и непосредственного понимания библейской истории, как реально существовавшей, верили в материальный рай на земле, доступ в который для людей крайне затруднен, но возможен. В этом споре глава новгородской церкви Василий становится на одну точку зрения с «еретиками». Василий даже определяет место существования земного рая: «А в Паремии (т. е. в Ветхом Завете. — *Д.Л.*) именуются четыре рѣкы, идуть из рая: Тигр, Нил, Фисонъ, Ефраксъ — со въстока, Нил же — под Египтомъ... течетъ же с высокых горъ, и еже суть от земля и до небеси, а мѣсто непроходимо есть человекомъ, а верху его рахмане живуть».

Одна из деталей «Послания» Василия делает его рассказ о новгородцах, нашедших земной рай, типично новгородским по своему вниманию к живописи, которой новгородцы славились далеко за пределами своего города. Горы, стеной отделяющие рай со стороны моря, имеют изображение деисуса: «...написанъ дѣисусъ лазоремъ чуднымъ и велми издивленъ паче мѣры, яко не человѣчьскыма рукама творенъ, но божиею благодатью». Фантазия новгородцев клонилась, следовательно, к тому, чтобы и горы украсить фресками, написав их драгоценнейшим «лазорем», которого в действительности едва хватало на миниатюры. Тема деисуса тоже не случайна для ограды рая: «деисус», или «деисис», означает моление, которое возносят Богоматерь и другие святые к страшному судии мира Христу с просьбой о прощении грешников, — это тема конца мира, Страшного суда, в результате которого определяются те, кто попадает в рай и кто пойдет в ад.

Тема конца мира характерна для времени больших исторических поворотов: читатели хотели судить о настоящем в свете всей человеческой истории — от ее начала и до грядущего конца.

В Москве первое обширное «хождение» в Царьград относится к 1389 году. Оно было составлено Игнатием Смольянином и описывало русское церковное посольство в Царьград, все перипетии борьбы за место митрополита московского и внутренние события византийской жизни, — в частности, борьбу за византийский императорский престол между Иоанном II и Мануилом II. Игнатий присутствовал при восшествии на престол Мануила II и подробно описал церемонию, причем не забыл отметить и мотив бренности существования властителей, так интересовавший русских в XIV и XV веках и отразившийся несколько позже в «Сербской Александрии». После венчания Мануила II первыми поздравляют его «мраморницы и гробоздатели», принесшие ему на выбор для его будущей гробницы различные сорта мрамора. Гробовщики напоминают царю, что он смертен и тленен, что с сильных мира сего больше спросится на том свете, а поэтому царю надо особенно стремиться иметь «страх господень, и смирение, и любовь, и милость».

Из других описаний путешествий отметим «Хождение» Зосимы, побывавшего в Иерусалиме и Константинополе в 1420-х годах. Сильнее, чем у многих других путешественников, отразились в «Хождении» Зосимы сочинения его предшественников — в частности, игумена Даниила начала XII века и уже упоминавшееся «Хождение» Стефана Новгородца.

* * *

Интерес к Константинополю и другим странам растет параллельно с интересом к всемирной истории. На Русь переносятся переведенные у болгар византийские хроники Иоанна Зонары и Константина Манассии. Последний со своей экспрессивной манерой повествования оказал огромное влияние на русскую историческую литературу XV–XVII веков. В «Хронике» Манассии большое внимание уделялось характеристикам исторических лиц, психологическим мотивировкам их действий, моральным сентенциям и нравоучительности. История предстояла перед читателем как огромная школа

житейской мудрости. Все действующие лица резко делятся на положительных и отрицательных, и для оценки их действий автор не скупится на самые резкие или возвышенные эпитеты.

В составе «Хроники» Манассии русский читатель получил и новый вариант рассказа об осаде Трои ахейцами, обычно называемый «Притчей о кралех», многие подробности которой восходят к мифологическим поэмам Овидия, а другие взяты из западной средневековой поэзии и сохраняют дух рыцарской куртуазности.

Особое значение в формировании нового исторического стиля на Руси, помимо «Хроники» Манассии, имели биографии сербских «кралей» — Стефана Немани, написанной его сыновьями Стефаном и Савой, и Стефана Лазаревича, написанной Константином Костенческим, а также «Жития и повести кралей Србския поморския земли», сложенные архиепископом Даниилом. Биографии эти были составлены пышно и имели целью приукрасить и возвысить сербскую династию Неманичей, независимость Сербии, прославить воинские доблести сербских «кралей» и их воинов. Это были панегирики сербским властителям, а в их лице и сербскому народу.

В бою сербские воины «женяаше (прогонял. — *Д.Л.*) един тысящю, а два двигнета тмы (десятки тысяч. — *Д.Л.*)». Сам Стефан Лазаревич именуется «громоименитым царем», смотреть на него было так же трудно, как на солнце, врагам он грозил как «молнийная стрела» и т. д.

Стиль этих пышных биографий повлиял и на русские биографии великих князей московских и тверских и продолжал влиять в течение всего XV и XVI веков, отразившись в русской «Степенной книге царского родословия» XVI века.

Интерес к всемирной истории был связан со стремлением осмыслить настоящее, найти философское утешение в размышлениях о превратностях судеб царств — даже самых могущественных, обрести надежду на освобождение. Вместе с тем в какой-то мере размышления над превратностями исторических судеб поднимали национальное самосознание, позволяли видеть судьбы Русской земли в перспективе всей мировой истории.

Появление историчности сознания — одна из характернейших и существеннейших черт Предвозрождения. Статич-

ность предшествующего мира сменяется динамичностью нового. В домонгольский период время космическое; оно исчисляется по временам года, сменам дня и ночи; оно все повторимо; время — круговорот. В XIV и XV веках появляется сознание неповторимости эпох, событий, личности. Историзм органически связан с открытием ценности отдельной человеческой личности и с особым интересом к историческому прошлому.

Мир как история! — понимание это соединено с антропоцентризмом. Представление об исторической изменяемости мира связано с интересом к душевной жизни человека, с представлением о мире как о движении, с динамизмом стиля. Мир понимается и воспринимается во времени, и показательно, что некий «сербин» устанавливает в Москве первые городские часы, а архиепископ Евфимий в Новгороде строит часозвоню.

Ничто не закончено, а поэтому и невыразимо словами; текущее время неуловимо. Его может лишь в известной мере воспроизвести поток речи, динамичный и многоречивый стиль, нагромождение синонимов, обертоны смысла, ассоциативные ряды.

Если раньше история представлялась человеческому сознанию как цепь событий, то теперь она предстает и как смена состояний. Состояние зависимости от иноземной власти резко противостоит прежней независимости Руси.

С конца XIV века на основе летописей других княжеств и существования в самой Москве непрерывавшихся традиций ведения исторических записей усиленно развивается московское летописание. Московское летописание стремится охватить своими записями все русские земли, иначе говоря — стать летописанием общерусским. Используются летописи Твери, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова, Новгорода и других городов. Московские летописцы не только «записывают», но и осмысляют события, стараются извлечь из событий нравоучительный смысл, ищут в истории уроки нравственные, политические и даже просто военные. В летописание проникают элементы публицистические, что было так типично для летописания XI–XIII веков. Характерно, что киевская «Повесть временных лет» по-прежнему переписывается во главе русских летописей, подчеркивая тем самым «связь

времен», общность исторических корней, происхождения русского народа и княжеского рода.

Наиболее значительное произведение московского летописания – это Троицкая летопись, использованная в свое время Н.М. Карамзиным в его «Истории государства Российского» и сгоревшая в пожаре 1812 года, тогда же, когда сгорела и рукопись «Слова о полку Игореве». Текст Троицкой летописи был восстановлен по частям с разной степенью достоверности известным советским историком – М.Д. Приселковым[1].

* * *

Интерес к недавней истории отразил замечательный цикл произведений, посвященных центральному событию эпохи – Куликовской битве: две летописные повести о Куликовской битве (краткая и пространная), поэтический отклик на сражение «за Доном» – «Задонщина», очень популярное в Древней Руси «Сказание о Мамаевом побоище», а также «Слово о царе и великом князе Дмитрии Ивановиче».

В «Задонщине» имеется в начале текста такое место: «Снидемся, братия и друзи и сынове рускии, составим слово к слову...»[2] Обычное понимание этого места такое: «...создадим произведение...» Но такого выражения нигде больше в древнерусских текстах не зафиксировано. Написание нового произведения, сочинительство, никогда не представлялось как «соединение слов».

Вместе с тем выражения «приложить слово к слову», «составить слово» встречается довольно часто (например, в Киево-Печерском патерике), и оно означает соединение различных произведений в одно, сочинение произведения («слово» означает произведение, а не только слово – единица речи); «оставить слово» – прекратить рассказ[3].

Следовательно, то место в «Задонщине», где говорится «составим слово к слову» следует переводить так: «сочиним "Слово" к "Слову" – на основе одного "Слова" составим дру-

---

[1] См.: *Приселков М.Д.* Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.;Л., 1950.

[2] Цит. по списку Ундольского, но место это имеется и в других списках.

[3] «Сицева же (такая же. – *Д.Л.*) бысть вещь по смерти блаженаго отца нашего Феодосиа, от преслушания сътворенное. Иже аще и несть зде лепо исповедати ея, но обаче по въспомяновение того приидохом и сему подобно слово к слову приложим» (*Абрамович Д.И.* Киэво-Печерський патерик. Київ, 1931. С. 59; ср. с. 78 – «оставим слово»).

гое». Напомним, что «Задонщина» – это научное название произведения о Куликовской битве, а в самом тексте оно называется «Слово о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате его князе Владимере Андрѣевиче, яко побѣдили супостата своего царя Мамая».

Оправдывается такое сопоставление старого слова и нового тем, что Дмитрий Донской потомок Владимира Киевского и киевских князей вообще.

Автор «Задонщины» последовательно сопоставляет события Донской битвы с событиями поражения Игоря Святославича, как они изображены в «Слове о полку Игореве», «ввергая печаль» на войско Мамая и воздавая славу Дмитрию и Владимиру Андреевичу словами «Слова о полку Игореве».

В «Слове о полку...» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск, которым грозит поражение. В «Задонщине» те же зловещие предзнаменования соответствуют походу войск Мамая.

В «Слове» «дети бесовы», то есть половцы, кликом поля перегородили, в «Задонщине» же русские сыны широкие поля кликом огородили. В «Слове» «черна земля» посеяна костьми русских; в «Задонщине» – татарскими.

В «Слове» кости и кровь русских всходят тугою по Русской земле; в «Задонщине» восстонала земля татарская, бедами и тугою покрывшись.

В «Слове» тоска разлилась по Русской земле; в «Задонщине» по Русской земле простерлось веселие и буйство.

В «Слове» «поганые» приходили со всех сторон с победами на землю Русскую; в «Задонщине» же – «уныло царей их (татар. – *Д.Л.*) веселие и похвальба на Русскую землю».

«Задонщина» – была обращением к духовным и художественным богатствам «Слова о полку Игореве». Русская культура середины XIV – первой половины XV века была вся, как мы уже сказали, обращением к духовным богатствам эпохи независимости: в литературе, в политической и в церковной жизни, в эпосе, в архитектуре, в живописи и т. д.

«Задонщина» явилась своего рода символом этих реставрационных тенденций XIV–XV веков, возникших в связи с Куликовской победой. Она была попыткой изобразить победу Дмитрия Ивановича Донского как отплату за поражение Игоря Святославича – в тех же образах и выражениях.

Одно из самых распространенных в Древней Руси произведений — «Сказание о Мамаевом побоище». Оно известно в нескольких редакциях, по существу представляющих собою самостоятельные литературные произведения — обширные, часто иллюстрировавшиеся, включавшиеся в состав летописей.

«Сказание...» создано после летописных повестей (краткой и пространной) о Куликовской победе и после «Задонщины», отрывки из которых оно включило в свой состав. Вместе с тем различные редакции «Сказания...» имели и самостоятельные источники, а одна из редакций, условно называемая «Печатной», испытала на себе и непосредственное влияние «Слова о полку Игореве». Многое отражено в «Сказании...» и по устным источникам. Только в «Сказании...» мы найдем рассказ о гадании по приметам накануне Куликовской битвы. Только в «Сказании...» читается эпизод с переодеванием Дмитрия перед сражением, рассказ о поединке Пересвета и татарского богатыря, рассказы о подвигах отдельных воинов, в числе их и о подвиге некоего Юрки-сапожника.

В целом же в «Сказании...» очень отчетливо проведена официальная точка зрения на события, на взаимоотношение светской власти и церковной, на роль Москвы и измену рязанского князя Олега.

«Сказание о Мамаевом побоище» замечательно тем, что в нем искусно сочетаются части, написанные в разных стилях. Есть места, в которых заметно «плетение словес» и панегирическая выспренность; есть части в характере народных плачей; есть, наконец, отдельные куски текста, описывающие фактическую сторону событий в летописном стиле.

Несомненно, что «Сказание...» — это очень значительное произведение, сравнительно большое по своим размерам, исполненное сознанием важности совершающегося, как поворотного момента в русской истории.

Монументально-исторический стиль, который был так характерен для предшествующей литературы XI — начала XIV века, не исчез ни во второй половине XIV века, ни в XV веке. Он только приобрел иные формы, утратил единство, растворился в панегирическом стиле, в монументальном повествовании огромных летописных сводов, в разнообразии жанров, в которых на первый план выступали разные стороны монументализма и историзма.

* * *

После Куликовской победы золотоордынцы продолжали свои наступления на Русь, но эти наступления носили характер набегов, совершаемых быстро, «изгоном» и подготовляемых втайне. Эти набеги приносили огромные несчастья Русской земле, и рассказы о них отразились в летописи. Характер этих рассказов был совершенно иным, чем произведения о Куликовской победе. В них мало лирики (разве что плачи по погибшим и сетования на причиненное разорение), но зато они рассудительно анализировали поведение русских военачальников и неприятеля, анализировали всю обстановку и придавали своему анализу публицистическую направленность. Объединять произведения о Куликовской победе и произведения о набегах золотоордынцев в единый жанр «воинских повестей», как это часто делается, невозможно. В последних перед нами живая публицистика. Их пафос в исправлении создавшегося положения, при котором русское население часто оставалось совершенно беззащитным. Но это и не былые «повести о княжеских преступлениях», каких было много в XII–XIII веках. Повести о набегах золотоордынцев анализируют всю обстановку, тактику наступающего врага, тактику обороны, поведение различных слоев населения, международное положение Москвы и политику отдельных княжеств. Перед нами сложнейшее литературное явление, в котором ощущается опыт многих поколений, оказавшихся под игом монголо-татар.

В 1382 году татарский хан Тохтамыш внезапно подошел к Москве с большим войском. Дмитрий Донской был застигнут врасплох и не смог собрать крупного войска для защиты Москвы. Обращение за помощью к другим русским князьям не имело успеха. Он отступил от Москвы, оставив горожан самих оборонять город, и стал собирать войско на севере. Татары обманом взяли Кремль, разграбили и пожгли всю Москву.

«Повесть о нашествии Тохтамыша» дошла в двух редакциях с двумя различными тенденциями.

В одной из повестей, написанной для летописи митрополита Киприана, главная роль в защите Москвы принадлежит литовскому князю Остею. И это понятно: митрополит Киприан, осознававший себя главой православной церкви как на Руси, так и в Литве, хотел укорить московского князя и во-

евод, оставивших свое население на произвол судьбы, примером литовских князей. По другой редакции, составленной несколько позднее, город обороняют сами жители, особенно купцы — «суконники и сурожане», то есть купцы, ведшие далекую торговлю с заморскими странами через крымский город Сурож (Судак). Эта последняя редакция «Повести о нашествии Тохтамыша» наиболее интересна. «Повесть...» начинается с указания на небесные знамения: появление «хвостатой звезды» (кометы), предвозвестившей «злое пришествие Тохтамышево». Описана рознь князей, не пошедших на зов Дмитрия Донского. Защищают город сами горожане, оказавшиеся без князя. Горожане силой удерживали тех, кто хотел бежать из города, который был «аки море в велице бури». Автор на стороне горожан, которые готовились к обороне с молитвою и надеялись на бога, и не разделяет самоуверенности тех, кто, упившись медом, хвастливо заявлял, что не сдадут города, в котором и «стены камены и врата железна». Тем не менее и автор повести признает, что москвичи не сдали бы города, если бы не поверили лживым посулам врагов. Особенно отмечает он подвиг некоего «суконника Адама», который попал стрелою прямо в «сердце гневливое» сына ордынского хана. С чувством гордости описывает автор сильную стрельбу горожан по осаждавшим из пороков, самострелов и пушек.

С горечью осуждает автор вторичную измену рязанского князя Олега, уже ранее предавшего русское войско перед Куликовской битвой и указавшего путь войску Тохтамыша на Москву. С иронией сообщает он о том, что на обратном пути войска Тохтамыша пограбили Рязанскую землю.

Отдельные формулы «Повести о нашествии Тохтамыша» заимствованы из «Повести о разорении Рязани Батыем», особенно те, в которых передается плач по опустошенной Москве, но общее содержание повести, ее своеобразный нравоучительный тон, попытка глубоко разобраться в исторических событиях вводятся в литературу впервые.

Иной характер носит «Повесть о Тамерлане», или, как его называют русские летописи, о Темир-Аксаке — Железном Хромце. Здесь повествователя интересуют по преимуществу личность легендарного завоевателя, покорившего половину тогдашнего мира, но не дошедшего до Москвы в 1395 году и повернувшего назад.

Впереди Тамерлана разносятся вести о его завоеваниях, бесчисленных победах и всесветном могуществе. Жизнь Тамерлана рисуется как своего рода феномен – игралище судьбы. Он стал фантастическим героем из сына бедного раба. Он был мелким вором, «ябедником», «лютым разбойником», его поймали с украденной овцой, нещадно били, и он, охромев, принужден был сковать себе железную ногу. Железо – символ жестокости, и вся дальнейшая его судьба как бы выросла из этого несчастного случая. «Железный Хромец» собрал вокруг себя таких же разбойников, а затем и бесчисленные войска, завоевал многие страны и отступил от Москвы только благодаря чудесной помощи Богоматери. В Москву перед тем была перенесена икона Владимирской Божьей Матери, и именно она, одетая в багряные одежды жена в сопровождении святителей, явилась Тамерлану во сне и приказала повернуть назад. «Повесть...» полна церковного красноречия, и в ней явственно ощущается религиозный характер.

Третья повесть снова нравоучительного и публицистического характера, – это «Повесть о нашествии Едигея в 1408 году».

Хан Едигей скрыто вторгся на Русскую землю и подошел к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич, как и Дмитрий Донской при нашествии Тохтамыша, ушел на север. Едигей разорил почти все московские области и, взяв «окуп», ушел назад. Этот внезапный набег опять послужил поводом к обширному нравоучению русским князьям, недостаточно оберегающим русские земли от тайных набегов, и снова в пример беспечности русским ставятся осторожные литовские князья.

По поводу «Повести об Едигее» Н.М. Карамзин писал: «Описанием Едигеева нашествия заключается харатейный Троицкий летописец»[1]. Троицкая летопись – это важнейшая московская летопись самого начала XV века, и если она заключалась именно этим произведением, то, следовательно, ему придавалось большое значение: это был как бы вывод из предшествующей московской истории, наставление московским князьям, да и всем москвичам.

---

[1] *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. V. СПб., 1892. Примечания. С. 71 (примеч. 207).

По-видимому, «Повесть о нашествии Едигея в 1408 году» была написана несколько раньше составления Троицкой летописи, еще во Владимире, куда в 1408 году удалился митрополичий двор во время нашествия Едигея, а затем использована для заключительной части этого свода. При включении «Повести...» в конец летописи она была несколько расширена и обрамлена рассуждениями летописца, повторившими основную мысль «Повести...». Эта основная мысль автора «Повести...» состоит в том, что исконные враги русской независимости — не Литва, а степные народы. Многочисленные исторические ссылки автора говорят о том, что он был внимательным читателем «Повести временных лет»: «...не сихъ ради преже Киеву и Чернигову бѣды прилучишася, иже имѣюще брань межи собою, подимающе половци на помощь, наважаху братъ на брата, да и первое наимуюче ихъ, сребро издааше из земля своея. А половци, исмотривше рускый наряд (русское вооружение и расстановку войск. — *Д.Л.*), по сем самим одолѣша».

Автор протестует против того, что князья пользуются «половецкою», то есть татарскою, помощью, а татары, высмотревши расположение и «наряд» русских, тем удобнее затем на них нападают. Он обращает внимание своих читателей на назидательный смысл истории взаимоотношения русских со степными народами: «...разумѣти же убо нам лѣпо есть на семь и памятовати, хотящим по сих любовь имѣти съ иноплеменники». Когда пограничные отряды Едигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «старци же сего не похвалиша, глаголюще: "Добра ли се будеть дума юных наших бояръ, иже приведоша половець на помощь?"» Резкому осуждению подвергнуты в «Повести...» и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы перед приходом войск Едигея летописец вставил цитату из псалма, не оставляющую никаких сомнений в цели ее применения: «Добро есть уповати на господа, нежели уповати на князя».

Но взгляд на степные народы как на главных врагов Руси и доказываемая с этой точки зрения необходимость союза Руси и Литвы против их общего врага — ордынцев не помешали автору «Повести...» протестовать против оказываемого тем же литовцам чрезмерного внимания в Москве. Особенному

осуждению подвергся в летописи князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою» (т. е. католику), кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В «Повести...» вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским (термин, заимствованный из «Повести временных лет», где он применен к Киеву), города Пречистой Богоматери, в котором «князи велиции рустии первосѣдание и столъ земля Русскыя приемлють».

Не случайно, что «Повесть о нашествии Едигия», как и вся московская летопись, опирается в своих общеисторических рассуждениях на «Повесть временных лет». Примером «великого Селивестра Выдобыжского» оправдывает составитель «Повести...» смелость своих обличений князей. Автор заверяет «властодержцев», которые прочтут его труд, что он писал его не ради того, чтобы досадить им, не из зависти к их чести, но по примеру «начального летословца киевского», который «вся временнобогатства земская не обинуяся показуеть». Автор ссылается на пример первых наших «властодержцев», которые повелевали без гнева описывать все случившееся — доброе и недоброе. Он ссылается на пример того почета, которым окружил Владимир Мономах Сильвестра Выдубицкого, описывавшего события русской истории без прикрас («не украшая пишущего»). Он просит «наших» властодержцев (т. е. в первую очередь московского князя Василия Дмитриевича) последовать примеру древних князей и слушать старцев, «ибо красота граду есть старчество». Таким образом русская литература времен независимости Руси давала не только образцы для подражания и некий политический идеал, но и моральные уроки, уроки нравственной мудрости.

* * *

Несколько обособленно развивалась литература Новгорода. Традиции государственной независимости от Киева, а впоследствии от северо-восточных русских княжеств были в Новгороде чрезвычайно сильны, а умственная жизнь особенно интенсивна, благодаря чему здесь постоянно возникали ереси и расцветал политический сепаратизм.

Обращение к эпохе независимости Руси приобрело в Новгороде особую форму. Если в Москве и окружавших ее княже-

ствах это было по преимуществу обращение к Киевской и Владимиро-Суздальской старине, то в Новгороде, сохранявшем и оборонявшем свою независимость от северо-восточных княжеств, это обращение к старине направлялось на возрождение только своей, новгородской, старины.

В старых формах восстанавливается Николо-Дворищенский собор (в XIV веке) и церковь Параскевы Пятницы на Торгу (в 1345 году).

Чем сильнее была опасность присоединения Новгорода к Москве, тем интенсивнее шло возрождение новгородской старины.

Во второй четверти XV века выделяется как энергичный политик, покровитель искусств и письменности архиепископ Евфимий II (годы его архиепископства — 1429–1459). Лихорадочная строительная деятельность Евфимия II свидетельствует о его стремлении утвердить независимость Новгорода, его самостоятельность и могущество. Евфимий II обстраивает новыми зданиями владычный двор Новгородского Детинца, строит на Софийской и Торговой сторонах, строит в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыни и т. д. Некоторые здания он воздвигает с помощью западных мастеров, в других возрождает, иногда даже с некоторой утрировкой (церковь Ильи на Славне), старые новгородские формы XII века.

В письменности Евфимий II укрепляет антимосковские и сепаратистские тенденции, возрождает интерес к новгородской старине, воскрешает различные предания и легенды, стремится создать свой, новгородский, круг святых и организовать свои формы их почитания. Евфимий II учреждает обряд поминовения новгородских князей и святителей, торжественно открывает мощи двух новгородских святых: Варлаама Хутынского и архиепископа Иоанна, известного своею борьбой в XII веке с Владимиро-Суздальским, Рязанским и другими княжествами.

При Евфимии II около 1432 года создается обширный владычный летописный свод Софийского временника — летописи, ведшейся при Софийском соборе. Создаются и другие летописные своды, впоследствии присоединенные к московскому летописанию.

В 1436 году произошло открытие мощей архиепископа Иоанна, при котором в 1169 году совершилось «чудесное» спа-

сение Новгорода от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств. Мощи Иоанна были торжественно перенесены в Софийский собор, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и чуда спасения Новгорода от войск суздальцев в 1169 году создается при Евфимии II цикл легенд: своего рода культ новгородской независимости.

Основание культа новгородских святых и возвеличивание новгородского прошлого несколько позднее обставлено было и другой легендой. Под 1439 годом Новгородская летопись сохранила сказание пономаря Аарона. В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверми», то есть теми, которыми перестали пользоваться, вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и перед иконою Корсунской Божьей Матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот, «бысть радостен о таковом явлении», велел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Это чествование привело к тому, что многие устные легенды о новгородских архиепископах были записаны, получили литературную форму.

Из цикла сказаний, связанных с архиепископом Иоанном, особенный литературный интерес имеет легенда о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим. В повести много бытовых, натуралистических подробностей, сближающих ее по своему типу с рассказами Киево-Печерского патерика, с одной стороны, и с народными сказками – с другой. Повесть как бы соткана из целого ряда ходячих мотивов. Таковы, например, распространенные мотивы о бесе или бесах, которых святой заставляет на себя работать (например, при построении монастыря), мотив плавания против течения (против течения плывут часто мощи святых, иконы), мотив прибытия святого в монастырь по воде (например, в «Житии Антония Римлянина»), мотив беса, оборачивающегося каким-либо животным, женщиной (обычно при искушениях), мотив самоотворяющихся дверей и самозажигающихся свечей при появлении святого в церкви, мотив путешествия на бесе (в сказках, из которых он перекочевал, между прочим, в «Ночь перед Рождеством» Гоголя) и проч.

Центральная легенда цикла, связанного с архиепископом Иоанном, — легенда о чудесном спасении Новгорода во время его осады суздальцами в 1169 году. Наибольшую популярность эта легенда получила в обработке югославянского ритора Пахомия Серба, которого Евфимий пригласил в Новгород для своих многочисленных литературных начинаний и для создания церковного почитания новых новгородских святых. Пахомий прибыл в Новгород с Афона не ранее 1429 и не позднее 1438 года. Простые и непосредственные новгородские рассказы о битве суздальцев с новгородцами Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, искусно добиваясь ритмической гладкости слога, необходимого в богослужении, и усилил их назидательный смысл.

Легенда о чуде с суздальцами возникла, очевидно, в XII–XIV веках и проникла в письменность еще до ее пахомиевской обработки. Скромный рассказ летописи об отражении в 1169 году приступа суздальцев, в котором тема чуда еще отсутствовала, был заменен в новгородской летописи новым — с особым заголовком: «О знамении святей богородици». Рассказ этот повествует о том, как в Новгороде во время осады его суздальцами оказались лишь «князь Роман молод» да владыка Иоанн и посадник Якун. Для отражения приступа вынесли на забрало острога из церкви Спаса на Ильине улице икону Знамения. Три дня съезжались суздальцы, «попустиша стрелы, акы дождь умножен на острог». Икона оборотилась лицом к городу, спиной к осаждавшим суздальцам, и «паде на них тма на поле, и ослепоша вси». Новгородцы, выйдя из острога против суздальцев, «овых избиша, а другыя изымааше, а прок их зде отбегоша». «И продаваааху суздальца по две ногате» (Софийская первая летопись).

Этот краткий рассказ Пахомий Серб дополнил некоторыми, очевидно, устными известиями, а кое в чем развил от себя, воспользовавшись для этого версиями северо-восточных летописей. Летописец-суздалец не знает чуда с иконою Знамения на забрале у Десятинной церкви, но он повествует зато о том, как в трех новгородских церквах на трех иконах заплакала Богородица, предвидя наказание новгородцам от Бога за их грехи. Пахомий в своем «Похвальном слове Знамению» изобразил дело так, что плакала вынесенная на забрала Богородица, раненная стрелою суздальцев, а владыка Иоанн со-

брал слезы ее в свой «мафорий» (омофор). В «Слове» Пахомия события схематизированы и лишены всяких конкретизирующих деталей, местного и исторического колорита. Поход на Новгород соединенных сил суздальцев, полочан, рязанцев и прочих изображен как поход одного великого князя, которого Пахомий называет «лютым фараоном». Походу придана порочащая «психологическая» мотивировка в обычной, традиционной манере: «Завистью разгорелся и, собрав вои от различных стран, покушашеся ити на предъреченный град» — Новгород. Перед походом — опять-таки по литературной традиции — Андрею посылается Богом предостережение: болезнь. «Но ума ненаказаннаго никто же исцелити не възможе». Андрей Боголюбский сравнивается с лютым фараоном, а защитник Новгорода архиепископ Иоанн объявляется мужем совершенным в добродетели. Описание осады заменено общей фразой, что осаждавшие «творяще елика обычнаа пленующемь делати и грады раздрушати». В трафаретном описании приступа («стрелы якоже дождь» и проч.) Пахомий допускает явные анахронизмы, вводя в дело современную ему, но еще отсутствовавшую в XII веке артиллерию («и громы каменных метании»). Описание самого чуда прерывается лирическим восклицанием: «О чюднаго ти посещения, владычице! О неизреченной помощи твоей пречистаа!» Кроме того, введены длинные речи-молитвы Иоанна, ответный «глас свыше» и проч. За фактическою частью изложения в «Слове» следовало традиционное «радование» Богоматери, заканчивавшееся отнюдь не традиционным радованием Новгороду: «...радуйся и ты Великий Новъград, сподобивыися такового неизреченного таинства». Заканчивается «Слово» молитвой, традиционные слова которой должны были звучать в обстановке половины XV века особенно остро: молитва заключалась прошением об избавлении «града нашего» «от глада, губительства, труса, и потопа, и нашествия иноплеменникь». Под «иноплеменниками», очевидно, разумелись суздальцы...

Кроме произведений, посвященных обороне Новгорода в 1169 году, Пахомий в первый свой приезд в Новгород при Евфимии II написал «Службу Варлааму Хутынскому», «Похвальное слово» ему же и «Житие Варлаама». По утверждению Пахомия, он пользовался при составлении жития устными рассказами монахов Хутынского монастыря, но на самом деле

в фактической части жития лишь перефразировал вторую редакцию имевшегося уже перед тем жития, в прочей же части прибег к обычному своему «плетению глагол». Житие Варлаама Хутынского сохранилось в большом числе списков, что объясняется, однако, не столько литературными достоинствами труда Пахомия, сколько популярностью святого, имя которого символизировало времена могущества Новгорода.

* * *

Во второй четверти XV века произошло событие, снова насторожившее русских церковных и государственных деятелей против всего того, что шло на Русь из Византии и западных стран.

В 1439 году во Флоренции состоялся церковный собор, на котором была провозглашена уния восточной и западной христианских церквей. Русская церковь была представлена митрополитом Исидором, признавшим унию. В Москве эта уния не была принята, и Исидора взяли под стражу, после чего он бежал из России. Ферраро-Флорентийский собор усилил то недоверчивое отношение, которое существовало на Руси к католической церкви, и это сыграло отрицательную роль в развитии русской культуры, накрепко отделив ее от Запада идеологическими преградами. Однако само путешествие на собор вызвало три его описания, в которых не уделялось особого внимания церковным вопросам, но зато описывались немецкие и итальянские города, а в одном из рассказов, принадлежащем суздальцу Авраамию, было дано подробное описание театрального представления. Авраамий восхищенно описал, как в одной из флорентийских церквей представлялась мистерия Фео Белькари «Благовещение». Авраамий понял содержание мистерии, привел переводы диалогов, хотя, по-видимому, не знал языка, но особенно подробно остановился на сценических ухищрениях, костюмах, декорациях, танцах, назвав все представление «чюдным видением и хитрым деланием».

* * *

Мы наметили только некоторые темы этого значительнейшего периода в развитии русской литературы и остановились на отдельных литературных жанрах, которыми была

столь богата эта переломная эпоха в русской культуре. Перелом совершился не только от упадка к расцвету, но и от статичного монументализма предшествующей эпохи к новому динамическому стилю, стилю эмоциональному, стремящемуся представить внутреннюю жизнь человека, – стилю, в котором все отчетливее звучало личностное начало и индивидуальные особенности авторства.

Эпоху конца XIV – первой половины XV века было бы легко сопоставить с явлениями Возрождения на юге и севере Западной Европы, увидеть в России конца XIV – начала XV века элементы Возрождения. И они действительно были, но резкое отличие заключалось в том, что сопутствующее Возрождению светское начало вовсе не возросло в России. Объяснялось это прежде всего тем, что борьба за национальную независимость имела отчасти религиозные формы: она выливалась в формы борьбы христианства с мусульманством. Поэтому-то, между прочим, в повестях о Куликовской победе доля церковного элемента значительно больше, чем в «Слове о полку Игореве», а во всей русской литературе этого времени заметно усиление мистического элемента. Но главная черта литературы этого времени – национальный подъем, подъем национального самосознания, подъем глубокого интереса к родной истории.



Литература эпохи исторических размышлений

Вторая половина XV века

Определение, вынесенное в заглавие этой статьи, посвященной литературе второй половины XV века, может показаться странным. В самом деле, какая литература не «размышляет», не оценивает, не озабочена будущим своей страны? Да, действительно, литература «думает», но в каждую из эпох она думает о своем, о том, что ей особенно нужно, что волнует народ, что подсказано историческими обстоятельствами.

Во времена Владимира I Святославича и Ярослава Мудрого литература была озабочена будущими судьбами Русской земли, ее предназначением в мировой истории. Были созданы «Слово о Законе и Благодати» и «Начальная русская летопись». Во второй половине XV века, накануне окончательного освобождения от иноземного ига, эти думы об историчес-

---

Публ. по: Литература эпохи исторического размышления // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV. М.: Худож. лит., 1982. С. 5–20.

ких судьбах снова посетили русскую литературу, овладели умами читателей, но при этом в своих более разнообразных и широких аспектах.

Что такое государственная власть, какие на нее накладываются обязанности перед народом? Почему некоторые из мировых держав сходят с исторической сцены, подпадают под чужеземное иго и как сохранить свою национальную независимость? Кому, какому княжеству принадлежит право возглавить всю Русскую землю? До каких пределов простирается власть государя над своими подданными и в какой мере государь отвечает за их нравы и грехи перед Богом?

Еще московский государь не обрел всей полноты власти и независимости в исторической действительности, но литература уже готовилась ответить на вопросы будущего устроения Русского государства. И, может быть, потому, что ответы на эти вопросы были излишне категоричны, — литература оказалась в какой-то мере ответственной, как мы увидим в дальнейшем, не только за все положительные, но и за отрицательные деяния и Ивана III, и Василия III, и Ивана IV.

Особый интерес появляется к загадочным предсказаниям исторических катастроф (видение пономаря Тарасия, видение Зосимы на пиру у Марфы Борецкой, предсказывающее падение Новгорода, и т. п.) и не менее загадочным возвышениям властителей, обретению престола, царственных регалий и т. д.

* * *

Вторая половина XV века — это время, когда Русь становится одним из сильнейших государств Восточной Европы. Москва завершает объединение великорусских земель и выходит на европейскую политическую арену.

Историки часто повторяют рассказ о том, как в 1487 году на рейхстаге в Нюрнберге император Фридрих III и князья Священной Римской империи с удивлением узнали о существовании Московии и слушали рассказ о ней своего посла рыцаря Поппеля. Но Московию не надо было открывать. К ней и в предшествующие века постоянно обращались за помощью и греки, и балканские славяне. В Русской земле уже в XIV веке начинали видеть будущую опору на Востоке и юге Европы от надвигающейся османской опасности.

Падение трехсотлетнего ордынского ига на Руси совершилось без генерального сражения – простым «стоянием на Угре» в 1480 году двух войск – московского и ордынского, в результате которого войско хана Ахмата отказалось от попытки перейти небольшую мелководную реку Угру и повернуло назад. Это совершилось ровно через сто лет после Куликовской победы, а перед тем Москва военной силой покорила последнего своего опасного соперника – Новгород Великий. Два новгородских похода Ивана III, в 1471 и 1478 годы, решили судьбу не только Новгорода, но и всей русской страны.

Образование мощного единого национального государства поставило перед русским народом целый ряд политических, исторических и нравственных проблем, разрешать которые должна была в первую очередь общественная мысль и литература.

Что представляла собой русская литература в этот знаменательный период? Несомненно: русская литература развивалась своим путем, но путь этот на всем его протяжении постоянно перекрещивался с путями литератур других европейских стран – Византии, Болгарин, Сербии, Молдаво-Валахии; в меньшей мере, но все же достаточно ощутимо – Моравии, Чехии и Польши. Русская литература вплоть до XVI века не знала строгих границ, а в то время, к которому мы обращаемся сейчас в нашем очерке, не было ощутимых границ ни с Украиной, ни с Белоруссией в составе Польско-Литовского государства. Три братских восточно-славянских народа имели общий литературный язык – в основе своей болгарский по происхождению и мало различавшийся по своим разговорно-национальным и диалектным особенностям во всех восточно- и южно-славянских странах.

При всем своеобразии пути русской литературы, – своеобразии, определившемся уже в первый век ее возникновения, – русская литература развивалась рядом с европейской. Она имела многие сходные черты со средневековыми литературами Запада, много общих памятников, общие эстетические нормы, сходное (христианское) мировоззрение и сходные общественные проблемы, возникавшие в результате того, что феодализм во всех странах при всем различии в проявлениях был в существе своем именно феодализмом и в общественном строе этих стран не было принципиальных различий.

Вторая половина XV века на Западе – это период Ренессанса в культуре. Чтобы выяснить сходства и различия русской литературы с западно-европейской, необходимо прежде всего дать четкий ответ на вопрос о том – был или не был Ренессанс в России, а если не было его как культурной формации, то коснулись ли России проблемы, поднятые Ренессансом в европейской культуре?

Наряду с итальянским Ренессансом, который считается обычно наиболее идеальным проявлением ренессансных явлений вообще, как известно, существовал Северный Ренессанс, – Ренессанс стран к северу от Альп, – Франции, Германии, Нидерландов, Англии, Скандинавских стран. Существовали, кроме того, чешский и польский варианты Ренессанса. Ренессансы отдельных стран далеко не равноценны. Но ведь оценки и не столь существенны: Ренессанс – это не оценочная категория, а историческая. Так называют эпоху, переходную к культуре Нового времени. Новое время в России вступило в свои права значительно позднее – на переломе от XVII века к XVIII. И с этой точки зрения в России Ренессанса в XV и XVI века не было, но тем не менее не могли не быть отдельные ренессансные явления в общественной мысли, в изобразительном искусстве, в зодчестве и в литературе, вызванные к жизни развитием ремесел, городской жизни, влиянием ренессансного окружения.

В стране классического Ренессанса, Италии, процесс шел путем развития элементов светского гуманистического мировоззрения. В странах севернее Альп – путем развития идей религиозного «обновления». Своеобразие Северного Ренессанса заключалось во внимании к религиозной морали, к попыткам обновления старых норм религиозной и церковной жизни. Элементы русского Ренессанса связаны с попытками исторического осмысления нравственного долга страны и личности в жизни страны, роли личности в государстве. В России ренессансные явления сказывались главным образом в попытках эмансипации искусств, в развитии литературы как искусства и потребностях увидеть в человеке самостоятельную ценность, осмыслить роль и значение человека в истории. Процесс занял длительное время. Вторая половина XV века была только одним из его периодов. Процесс шел незаметно и подспудно. Он не был поэтому резко и определенно выражен.

Русские города, в первую очередь Новгород и Псков, пытались выйти из феодального окружения, развить в себе элементы капитализма и буржуазных отношений, но уже на грани двух веков были подчинены единому русскому централизованному государству.

Точка зрения Хейзинги, рассматривающего Ренессанс как «закат Средневековья»[1] и стремящегося найти элементы Ренессанса в позднем Средневековье, вполне применима и к русским культурным явлениям XV и XVI веков, обладающими еще более ярко выраженной особенностью – отсутствием строгих границ между отдельными эпохами.

Итак, в России Ренессанс не вступил в свои права, но веяния Ренессанса оставили след в русской литературе, изобразительном искусстве, зодчестве, общественной мысли. Они были ослаблены тем, что церковь не только не уступила своих позиций, но в силу ряда причин усилила их. Поэтому крайне замедлилось и усложнилось главное явление Ренессанса – секуляризация жизни. Усилившийся интерес к личности человека, к его внутренней жизни, как мы можем отметить и для XVI века, продолжал осуществляться в пределах церковного мировоззрения.

При этом светское гуманистическое мировоззрение Ренессанса даже в своих очень незначительных формах проникало на Русь не через изобразительное искусство и не через философию, а главным образом через литературу. Одним из признаков этого проникновения было обращение литературы к проблемам светской жизни и освобождение литературы и литературных жанров от задач церковно-воспитательных, усиление развлекательности, а с другой стороны – в связи с тем, что вопросы государственного строительства заняли на Руси первостепенное место в эпоху образования централизованного государства, – в литературе стали обсуждаться также и вопросы взаимоотношения личности и государства.

Секуляризация совершалась как бы косвенно. Парадоксальным образом в искусство всех видов входили результаты обмирщения, его последствия, но не само обмирщение, – явления вторичные раньше, чем первичные.

---

[1] *Huizinga J.* Das Problem der Renaissance // Wege der Kulturgeschichte. Munich, 1930.

Одним из таких интереснейших явлений в литературе было стремление к созданию в произведении загадок, к сюжетности повествования, к почти фольклорной ответно-вопросной форме и т. д.

Наряду с большими историческими произведениями все большее место в исторической литературе начинают занимать повествования, посвященные только одному событию, одной исторической личности, одному явлению, причем эти события, явления и личности составляют как бы повод для размышлений о смысле происходящего. Собственно, этот процесс начался ранее, что сказалось в появлении произведений, посвященных Куликовской битве, Дмитрию Донскому, тому или иному вражескому нашествию.

Во второй половине XV века и в начале XVI века наряду с документальной историей развивается историческая легенда («Повесть о Вавилонском царстве»), «историческая басня» («Повесть о Басарге»), рассказы о занимательных исторических событиях в далеких странах («Александрия») — событиях, не имеющих прямого отношения к тем, которые непосредственно касались современников.

* * *

Вторая половина XV века — время удивительного разнообразия, разнообразия мировых тем и пятисотлетних (полутысячелетних) традиций — перевернутых, поставленных вверх дном, переиначенных, обмененных местами внутри жанров и традиций, примененных заново — к новому содержанию.

Это явление тем более поразительно, что в целом традиционность средневековой литературы — выражение ее творческой силы. Эта традиционность совсем не похожа на традиционность Нового времени. В средневековой традиционности — не вялость творчества, а напротив — стремление облечь резкую и отчетливую мысль в жесткие, прочные формы, причем иногда формы разнообразные, резко несхожие, готовые пронзить воображение какой-то исступленной нереальностью.

Этикетные формулы, традиционные образы ложатся почти спаянными, соединены друг с другом намертво, и чем больше текст переписывается и соответственно меняется, тем больше они объединяются между собой ритмом — ритмом,

за которым следят и переписчики, и читатели, нередко читающие произведения вслух, – то для себя, то для многих слушателей одновременно.

По тексту древнерусских произведений как бы плывут голоса их многочисленных читателей, и этим сглаживаются все шероховатости, вбивается в текст каждое слово, подгоняются его грамматические формы, а иногда заменяются отдельные слова и целые блоки слов, чтобы они плотнее ложились друг к другу.

Литературных традиций в древнерусской литературе – не одна и не две. Их много, они живут рядом – совсем несхожие, контрастируя друг с другом, заставляя читателей перестраиваться каждый раз на новый лад, даже на новую напевную манеру чтения вслух.

Новое потому так легко создается в Средневековье, что оно не отменяет старое, а только по-новому его организует. Новый стиль – либо переделывает, либо переносит жанровые границы, переставляет стиль из одних жанровых рамок в другие, создает, как мы увидим в дальнейшем, некие антистили и антижанры.

Представляя себе древнюю русскую литературу как литературу малоподвижную и однообразную, мы просто не видим ее, имеем дело с собственными о ней представлениями, из которых часто бессильны вырваться, привыкнув к традициям новой литературы и литературным вкусам Нового времени.

Создавая новый стиль, древнерусские авторы не разрушают прежние традиции, а творят как бы основу для новой традиции на основе старых и создают ее не свободной, а снова жесткой и упрямой, сильно ритмизованной и как бы готовой существовать вечно. Готовность к вечному существованию – это готовность не только выкованной формы, но и закованного в нее громадного содержания – содержания, которое сразу и жестко себя выражает и посвящает себя самому важному в жизни не только отдельного человека, но и народа, страны.

Два явления, на первый взгляд противоположных, характерны для литературы второй половины XV века: усиление в ней чисто литературной занимательности, перестройка традиций именно в этом направлении и усиление интереса к историческим судьбам народов, к историософским пробле-

мам. И то развитие, которое происходит в области формы, соответствует расширению содержания. Новые проблемы могли решаться только в условиях новой, более широкой формы.

* * *

Обратимся к памятникам.

В «Сербской Александрии» русского читателя привлекало сознание значительности совершаемых исторических событий. Перед читателем развертывалась гигантская картина мировой истории, охватывающая весь известный тогда мир — от «Окиян-реки» на Западе до Индии на Востоке. Эта мировая история была полна рокового смысла, роковой предрешенности, в ней действовали нравственные силы. Моральная правота Александра, его прямодушие и отсутствие бессмысленной жестокости обеспечивали ему победу над сильнейшим врагом — персидским царем Дарием. В сознании читателя появлялись исторические аллюзии. Дарий отождествлялся с ордынскими ханами, а Александр, на стороне которого было сочувствие автора и читателей, — с русскими князьями. Это отождествление, как и во всяких аллюзиях, не было и не могло быть полным, но чем загадочнее, тем заманчивее оно выступало через строй сказочных деталей, фантастических образов и подробностей. Читатели видели, что любимый герой неизменно побеждает сильнейшего противника, сами мечтали о такой же победе над своими врагами, и при этом победе, сопровождаемой великодушным прощением врага — особенно рядовых пленников, которых Александр отпускает с единственным наставлением: никогда против него не сражаться.

Вера в вещие сны, во вмешательство чудесных сил не была в «Александрии» проявлением простого суеверия, — это была прежде всего вера в осуществление мечты и в торжество исторической справедливости.

В «Александрии» читателя заинтриговывали всевозможные фантастические подробности, экзотика, своеобразие Востока, с которого двигались на Русь завоеватели и которые сами когда-нибудь должны были быть побеждены.

Фантастика «Александрии» и в самом деле была изумительной. Разве не интересовало, например, читателей вол-

шебное платье Поликсены, которое менялось в зависимости от того, на какой камень она смотрела. Не менее интересовало их одеяние персидского царя Сескерсена, украшенное змеиными глазами, или скатерть Дария из сапфира-камня, за которой кто ел — «никогда в унынии не бывал». Или перстень египетской царицы Клеопатры, который делал Александра невидимым и позволял ему дерзко смеяться над своим врагом.

Разве не могли также не утешать русских читателей слова Дария: «Кому боги противятся, тому честь на бесчестие заменяется, того близкие и любимые друзья оставляют». Хорошо было сказано в «Александрии»: «За возвышением в круге времени следует падение, и всякий возвышающийся унизится». Мысль об изменчивости счастья в истории особенно утешала тех, кто был внизу колеса фортуны, тем более что признаки начинающегося на Руси возвышения были уже налицо.

Слова Дария о том, что «персы многие годы дань брали с македонян, ныне же головами своими македонянам платят», могли восприниматься как пророчество о будущем величии Руси, тем более что они напоминали хорошо известные слова хазар о полянах в «Повести временных лет»: «Станут они когда-нибудь собирать дань и с нас, и с иных земель».

Интересовали читателя в «Александрии» волшебники, мудрецы, мудрость исторических действующих лиц, фантастические и удивительные народы, их нравы и многое другое.

В другом роде, но не менее значительной для русского читателя была «Повесть о взятии Царьграда турками». Эта повесть отличалась сравнительно с «Александрией» большей фактичностью.

Если сравнить две повести о взятиях Константинополя — одну начала XIII века о взятии его крестоносцами в 1204 году и другую конца XV века о захвате его турками в 1453 году, то сразу становится заметным их принципиальное различие по своим повествовательным приемам. Первая, начала XIII века, о взятии Константинополя крестоносцами стремится достоверно передавать события в их реальной последовательности, ее интерес — в ее документальности. Вторая — конца XV века о взятии Константинополя турками — построена на единой эмоциональной волне и держит читателя в ожидании рокового конца. Героизм защитников и ожесточенность напа-

дающих в этой последней повести введены в рамки исторической предопределенности падения Константинополя. Читатель постепенно входит в курс событий и их значения.

«Повесть о взятии Царьграда турками» построена как сюжетное повествование, в котором главное внимание уделялось боевой деятельности обоих войск — нападавших и защитников, — длившейся около полугода.

Штурм сменяется штурмом с нарастающим ожесточением нападающих и нарастающим ощущением безнадежности положения защитников. Штурмующие применяют все новые и новые средства, вводят в действие невиданной величины пушку, а осажденные продолжают сражаться с прежним ожесточением.

С самого начала повести читатель догадывается, что защитники города обречены. Рок навис над городом. После четвертого штурма, окончившегося победой защитников, в то время когда турки готовят пятый штурм, из храма Софии исходит пламя и подымается к небесам. Казалось бы, все указывает на предстоящую гибель, но защитники, вопреки указаниям судьбы, сражаются со все большим и большим упорством. Один из главных героев повести — военачальник Зустунея сбит ударом каменного ядра в грудь, но, несмотря ни на что, встает все же на ноги и нечеловеческим усилием воли продолжает руководить защитой. Когда Зустунея вторично выведен из строя, сам царь Константин бросается в бой и выбивает турок из города. Но кровавый дождь вновь свидетельствует о неминуемой гибели Царьграда. В день падения Царьграда Константин сражается с турками на улицах города и погибает под мечами нападающих. Сбывается древнее пророчество о том, что Константин создал Царьград и при Константине же Царьград погибнет.

Рок, судьба, историческое предопределение не только доминируют в рассказе, но определяют и его острую сюжетную завязку, и трагическую развязку.

Характерно увеличение в рассказе литературной занимательности и рост ощущения роковой предопределенности исторических событий вообще. И то и другое — типичные явления исторического повествования и восприятия истории как таковой — даже вне письменных произведений. Может быть, этому способствовало ожидание в XV веке конца мира.

«Слово похвальное инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу» по существу представляет собой три раздельных произведения, возможно и одного автора (инока Фомы), но написанных в различной манере. Эти три произведения знаменуют собой появление идеологии и психологии абсолютизма еще до реального возникновения его в русской жизни, — его как бы «идейную подготовку». Все три произведения восхваляют тверского великого князя как абсолютного и безупречного во всей своей политике монарха. Первое произведение — «Смиренного инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче» восхваляет Бориса в традициях похвальных слов святым. Во втором произведении — «О том же великом князе Борисе Александровиче» — найдены уже, помимо житийных, какие-то особые светские приемы восхваления. Третье произведение — «Слово о том же великом князе Борисе Александровиче» представляет собой не просто похвальное слово, а «похвальную историю» его царствования, в которой явственно проступают черты будущей «Степенной книги» и «Летописца начала царства» XVI века. Поиски новых жанровых форм неизбежно были связаны с тем, что в поле зрения авторов попадали такие стороны жизни, которые оказывались вне его при использовании иных жанров.

Сохранившиеся в единственной рукописи произведения Фомы или нескольких авторов, если они принадлежат различным лицам, — единственный в своем роде триптих не только литературного, но и чисто источниковедческого характера. Описание строительства городов во втором произведении носит исключительно интересный характер, особенно для историков русской архитектуры.

Опытному глазу заметны и некоторые общие сдвиги в самом летописном повествовании: большее внимание к простым людям, непосредственно принимавшим участие в событиях, более реальный взгляд на ход событий и большее место, уделяемое истолкованию значения событий в ходе исторического процесса.

События мировой истории соединялись в сознании русских людей с русскими событиями.

Когда огромное войско хана Ахмата, в ответ на отказ Ивана III платить ему дань, подошло к реке Угре, а с другой сторо-

ны к той же реке подошло русское войско и стояли оба войска друг против друга сорок дней, не решаясь начать битву, – стало ясно, что наступили решающие дни: быть или не быть Руси в иноземной зависимости. Может, именно этим – значительностью и судьбоносностью события – и объяснялось то, что прежде столь решительные противники теперь стояли и не начинали битвы, и в конце концов Ахмат ушел без боя, придя к решению, что попытка принудить Русь к прежней зависимости ни к чему не приведет.

Но пока оба войска стояли друг против друга, напряжение с обеих сторон достигло крайних пределов. Московский митрополит Вассиан Рыло[1] от имени всего русского народа и всей русской церкви ободрял Ивана III, побуждая к активным действиям, напоминая ему всеми примерами мировой истории и решимостью пращура его Дмитрия Донского о необходимости сбросить чужеземную зависимость. Когда в конце концов войско Ахмата ушло, значение совершившегося не было все еще достаточно осознано. Казалось, что окончание зависимости от Орды могло бы явиться только результатом решительного сражения. Уход ордынского войска представлялся еще только временной передышкой, и поэтому составленная вскоре же после события «стояния на Угре» повесть о них продолжала решительно призывать Ивана III и всех его воевод к свержению ига. Как это иногда бывает в истории, современники не во всем и не до конца осознают значение совершившегося. Поэтому «Повесть о стоянии на Угре» завершалась энергичным призывом не только к современникам, но и ко всем потомкам современников сохранить Русскую землю от иноземного ига: ...«О храбри мужествении сынове рустии! Подщитеся свое отечество, Рускую землю, от поганых сохранити, не пощадите своих глав, да не узрят очи ваши разпленения и разграбления домов ваших, и убьяния чад ваших, и поругания над женами и дѣтми вашими, яко же постарадаша инии велицыи славнии земли от турков».

И в самом деле: в призывах Вассиана Рыло и автора «Повести о стоянии на Угре» была своя доля правды, хотя в обо-

[1] Прозвание «Рыло» происходит от глагола «рыть» и подчеркивает в Вассиане его строительную деятельность – главным образом по устройству запруд и прудов.

их произведениях не было еще осознано, что столь давно ожидаемое освобождение Руси уже совершилось. Но была осознана ценность национальной свободы, государственной независимости, и в этом главным образом и заключалось значение обоих произведений. Неверие в совершившееся в силу особой веры в грандиозное, невероятное его значение! Хотелось еще и еще утвердить великого князя в необходимости продолжать борьбу, когда борьба, по существу, была уже окончена без особых усилий и когда великий князь уже «перестоял» без боя хана Ахмата! В истории есть события, наступление которых неизбежно. Именно таким неизбежным было столетиями ожидаемое национальное освобождение Руси. Может быть, именно поэтому, в силу осознания неизбежности конца ордынского господства, ушел от берегов Угры и хан Ахмат?

Историческое повествование смешивается в историко-литературном процессе XV века с баснословием и исторической легендой. То и другое заключает в себе как бы предчувствие будущего абсолютизма с его жестокостью и произволом.

В повести о валашском деспоте Дракуле, возникшей как запись народных рассказов об этом румынском тиране, основная проблема — это проблема жестокости и произвола главы тиранического государства. Нет никакого сомнения в том, что образ тирана в «Повести о Дракуле» однозначный — это только отрицательное действующее лицо, поражающее читателей изобретательностью своих казней. В нем нет положительных качеств. И не случайно в начале повести он назван дьяволом. Как дьявол, мучитель, изверг он и изображается в повести.

Каждую свою жестокость Дракула сопровождает ироническим нравоучением. Это не восстановление справедливости, как думают некоторые современные читатели повести; это — насмешка, издевательство над жертвой или жертвами, глумление над ними, отрицание самого принципа, нравственной нормы, ради которой якобы они — эти мучения — производятся. Было бы совершенно неправильно видеть в этих насмешках Дракулы какое-либо оправдание автором его поступков. «Шутки» Дракулы подчеркивают полную бесчувственность мучителя по отношению к своим жертвам. Дракула как бы возлагает вину за мучения на самих жертв. Не сняли послы перед ним шляп — «утвердил» этот обычай — приколо-

тил шляпы к головам послов гвоздями. Захотели нищие избавиться от нищеты — запер их в доме и сжег: избавил и их, и страну от бедности. Сказали монахи Дракуле, что люди его, которых он сажал на кол, мученики, — посадил и их на кол, — причислил к мученикам. Так же точно поступал позднее и другой тиран Средневековья — Иван Грозный. Когда Грозный приказал казнить игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия, он якобы сказал, что Корнилий ангел и следует его послать к ангелам на небо.

Казни, которым подвергает Дракула свои жертвы, напоминали, кроме того, об особом характере средневекового законодательства, в котором очень часто характер наказания соответствовал характеру преступления. Дракула глумился над своими жертвами, пародируя нормы средневекового законодательства. Но в описании «шуток» Дракулы нет и тени оправдания его жестокостей; есть только ужас перед всесилием тирана. Впрочем, в жестокостях Дракулы есть элемент занимательности. О них не без интереса должен был читать средневековый читатель. В жестокости средневековые люди видели элемент рока, какой-то непонятной высшей предопределенности. К тому же столь распространенная в Средние века вопросно-ответная форма эпизодов повести заставляла задумываться, ставила перед читателем как бы загадки. Повесть о Дракуле казалась средневековым читателям историческим повествованием и заставляла читателей задумываться над смыслом трагических судеб людей в истории.

Элемент загадочности, вопросно-ответной формы дает себя знать и в другой повести XV века — «Повести о купце Дмитрии Басарге и сыне Борзосмысле». Но в «Повести о Дмитрии Басарге» есть еще и своеобразное преодоление излюбленной средневековой вопросно-ответной формы. Царь-язычник в некоем царстве, где живут христиане, загадывает купцу, а вернее, его малолетнему сыну загадки. Но только на две из них дает ответ малолетний сын. Третью же загадку он как бы опережает, воспользовавшись доверием к нему царя-язычника. Малолетний сын обманом овладевает престолом доверившегося ему царя, а затем совершает все свои добрые дела: освобождает народ, выпускает из темниц иноземных купцов и патриарха той страны, а затем утверждает свое царство, получив поставление на престол от освобожденного

им патриарха и женившись на принявшей христианство дочери свергнутого и убитого им царя-язычника.

Русские читатели с особым интересом читали повесть о Басарге, видя в ней как бы доказательство легкой возможности избавления от тирании.

Сквозь все произведения второй половины XV века как бы брезжит надежда на лучшее будущее страны.

Прием, по которому повествование начинается не с начала событий, а с их середины и уже одним этим ставит перед читателями как бы загадки, распространяется на все повествовательные жанры. Собственно, неожиданные начала повествований появились уже в середине XV века. В середину событий вводили жития новгородских святых, написанные при архиепископе Евфимии II, отдельные летописные повести, повести о смерти того или иного исторического лица и т. д. Повествовательные жанры тем самым как бы эмансипируются от реального хода событий и приобретают собственные внутренние закономерности развития сюжета. Характерно, что то же самое появляется и в агиографии. Правда, необходимо заранее сказать, что этот прием отразился лишь в некоторых произведениях, большинство же «средних» агиографических произведений пишется еще по старым классическим канонам агиографических жанров. Однако частичное нарушение этих канонов жанра было уже чрезвычайно знаменательно.

Необычно в жанровом отношении «Житие Михаила Клопского». Житие начинается не со сведений о родителях святого и его детстве, а прямо с таинственного появления святого в монастыре в ночь на Ивана Купалу.

Вчитайтесь внимательно в «Житие Михаила Клопского». Разве не нарушены в нем основные каноны житийного жанра? Оно начинается так, как никогда не начинается и не могло начинаться житие святого. С самого начала оно открывается загадкой: появлением в монастыре неизвестного лица — не то человека, не то духа.

Таинственно попав в монастырь, Михаил продолжает себя вести в нем не менее таинственно: не отвечает, кто он, лишь повторяя обращенные к нему вопросы. Старцы монастыря примиряются с его присутствием только тогда, когда убеждаются, что он не бес. Только после того, как в мона-

стыре побывал сын Дмитрия Донского, князь Константин Дмитриевич, узнавший в таинственном пришельце своего «свойтина», стало известно его имя – Михаил. Благодаря исследованиям В.Л. Янина выясняется, что Михаил Клопский действительно был «своитином» московских князей – он был родственником воеводы Дмитрия Донского, Дмитрия Боброка, женатого на сестре Дмитрия Донского Анне.

Все это совсем не похоже на житийные этикетные каноны, но во всем поведении Михаила есть многое от других канонов – фольклорных. В частности, вопросно-ответная форма диалога и мудрые, вернее, мудреные ответы, которые заставляют задуматься не только присутствующих при этой сцене в повествовании, но и самих читателей. Читатель следит за разгадкой появления таинственного незнакомца с таким же любопытством и заинтересованностью, как и сами монахи, в монастырь которых попал Михаил.

«Чудеса», которые производит Михаил Клопский, тоже не очень «агиографические» по своему характеру. Они напоминают собой скорее действия колдуна, чем святого. Он не исцеляет, а наказывает, «напускает порчу».

Все это говорит о том, что «Житие Михаила Клопского» прошло через народную трансформацию. Уйдя от литературного канона, оно обратилось к каким-то мало для нас ясным фольклорным канонам XV века[1].

Таким же необычным с точки зрения агиографического жанра представляется и «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» Иннокентия. Смерть святого, изолированно от всего остального его жития, описывалась в средневековой литературе только в мартириях – произведениях, посвященных страданиям святых за веру. Но Пафнутий – не мученик и описание его тихой и скромной смерти отнюдь не мартирий. Однако построено это описание смерти отдельно от всей его остальной жизни, ведется так, что читатель ждет развития событий с захватывающим интересом.

«Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» совсем не так безыскусствен и прост, как это обычно считается. Это вовсе не простая запись событий, случившихся в последние дни

[1] Фольклорные каноны хотя и медленно, но меняются так же, как меняются и каноны литературные.

жизни Пафнутия. Напротив, это очень искусное литературное произведение, в котором литературность круто замешана на бытовом материале, введена в ткань повествования и сказывается во множестве мелочей. И любопытно: чудо также стало материалом литературной интриги, предсказание вызывает не столько религиозное благоговение, сколько литературную заинтересованность в чтении.

Поведение Пафнутия Боровского с самого начала повествования загадочно. Его слова непонятны его келейнику — Иннокентию. Только потом выясняется, что Пафнутий предчувствует свою кончину. Повествование Иннокентия поразительно именно с точки зрения литературного умения, а вовсе не безыскусственной простоты записей о последних днях жизни святого. Впервые в русской литературе предстает перед читателем образ рассказчика, как бы не понимающего того, что происходит, как бы «не догадывающегося» о значении слов святого, намекающего на свою предстоящую кончину. Пафнутий говорит не прямо, а как бы недоговаривая или прибегая к загадкам. Когда Иннокентий просит Пафнутия поучить его с братией, как предотвратить размыв плотины, Пафнутий отвечает: «Нѣсть ми на се упражнения, понеже ино дѣло имамъ неотложно...» По существу, с этого ответа и начинается повествование. Перед читателем встает вопрос: какое же дело может быть более неотложно, чем начавшийся размыв плотины, грозивший погубить мельницу? Ответ на этот вопрос следует вскоре. Пафнутий зовет к себе Иннокентия и объясняет ему свое «неотложное дело», но объясняет опять-таки иносказательно, не прямо: «Нужу имам, ты не вѣси, понеже съуз хощеть раздрѣшитися». Каким же узам надлежит порваться? Снова не понимает его Иннокентий, и снова один за другим следуют «необычные глаголы» Пафнутия и непонимание их значения Иннокентием.

Пафнутий делает вид, что вкушает пищу, даже хвалит ее, чтобы не заставлять братью по его примеру отказываться от еды: «Ядите, а я со вами, понеже добра (хороша. — *Д.Л.*) суть». Как разъясняет Иннокентий: «...видящим... чрѣвообьястна себе показоваше». В этом уже какое-то небольшое проявление юродства: не только скрывать свои подвиги христианского аскетизма, но и показывать обратное, скрывать свое благочестие, даже прибегая к обману.

В поучениях Пафнутия звучат новые идеалы: не брать на себя больше своих возможностей, — это не только не на пользу, но и во вред душе, не возноситься над немощными братьями — ни в мыслях, ни в поступках, быть милосердным к ним, как и к собственной плоти своей. Но прежде всего — спешить делать добро. Не просто делать добро, но спешить, не откладывать.

Только постепенно перед читателем начинает раскрываться загадка всего поведения Пафнутия. Интерес читателя постепенно переходит в ожидание столь торжественно, длительно и значительно подготовляемой Пафнутием своей кончины. Перед нами своеобразный церемониал: церемониал в жизни и церемониал в литературном изображении. Все земное и суетное отходит в сторону. Самое важное отстраняет от себя Пафнутий, не принимает посланцев князя и самого князя, не вкушает пищи и питья.

В этом отвержении старцем всех сует мира сего постепенно раскрывается перед читателем вся его мудрость. И если в начале повествования старец Пафнутий предстает перед нами как простой человек в окружении скромного монастырского быта, то под конец, когда он умирает, читатель ясно видит, каким великим он был. Весь град, «не точью игумени, и съвященници, и мниси, но и содержащии того града намѣстници и прочий общий народъ» при известии о смерти старца направляются в монастырь поклониться его гробу.

Иннокентий знает в тот момент, когда пишет свою «Записку», что означают все слова Пафнутия и что вообще означает его поведение, но он не сообщает раньше времени об этом читателю, возбуждая его интерес и доводя до предельного напряжения свое повествование.

Мистическое предчувствие используется Иннокентием как главный стержень литературной занимательности повествования. Повествователь знает, но не говорит раньше времени, изображая себя наивным и недоумевающим. Это прием литературы Нового времени, как бы проникший раньше времени в литературу древнюю.

Появление в литературе внешней занимательности — это факт чрезвычайной важности в литературном развитии. Это один из самых значительных признаков начавшейся литера-

турной эмансипации от ее подчинения дидактическим и «сообщающим» задачам.

Иннокентий пишет: «Отцы и братья! Пусть никто не осудит меня за то, что часто себя называю. Увы моему окаянству! Но если про себя умолчу, то ложь напишу». Последние слова замечательны: правда стала ощущаться по-новому. Если прежде правда была неким идеальным осмыслением действительности, то теперь она стала слепком с действительности, из которой ничто не могло быть исключено — в том числе и сам автор, и даже — автор по преимуществу.

Тема смерти чрезвычайно характерна для всего европейского искусства XV века. Но именно на ней, на теме смерти, на том, как она предстает перед людьми этого времени, наиболее ярко может быть представлено различие между русским и западно-европейским «видением» мира и жизни.

Если в позднеготической или, скорее, раннеренессансной книге, изданной в Нидерландах в 1460 году, которая учила людей счастливо умирать, на гравюре изображена явившаяся к постели умирающего мужчины толпа посетителей, среди которых и души умерших и ангелы, задача которых отогнать от умирающего демонов, стремящихся унести душу умирающего в ад[1], то смерть русских праведников совершается в тиши уединения. Пафнутий всячески стремится отдалить от себя людей, уединиться, скрыться от людей, желающих принять от него благословение. Пафнутий умирает, зная о приближающейся смерти, иногда намекая на готовящееся событие окружающим, но только для того, чтобы ему не докучали с мирскими заботами, оставили его спокойно приготовиться к смерти.

Смерть в русских житиях святых вовсе не страшное событие, а скорее радостное.

* * *

«Хождение за три моря» как будто бы принадлежит к жанру хождений: и в хождениях в Святую землю, и в хождении в не названную в заглавии страну «за три моря» (в некую неизвестность) одинаковым образом описываются достопримеча-

[1] См.: *Бенеш Отто.* Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973. С. 38.

тельности, расстояния между ними и пути к ним, но «достопримечательности» эти диаметрально противоположны: в хождениях в Святую землю — это святыни, в хождении в языческую страну — это в основном то, что может интересовать «грешного» купца — товары и условия путешествия. И если в хождениях в Святую землю укреплялась вера, то в «Хождении» Афанасий Никитин с горечью пишет: «Ино, братии, рустии християня, кто хощет поити в Ындѣйскую землю, и ти остави вѣру свою на Руси, да воскликнув Махмета да поити в Гундустанскую землю».

Не случайно Афанасий Никитин называет свое хождение — «грешным хождением». Соблазны подстерегают его на каждом шагу. И самый главный из соблазнов — соблазн необычной для средневекового сознания религиозной терпимости. Пример этой терпимости подали Афанасию сами индусы, и такой, что он не мог не оценить его в полной мере. Индийцы неоднократно предлагали Никитину перейти в свою веру, но был и такой эпизод, когда Афанасий открыл им свою веру, — они доверились ему, не стали от него ничего скрывать — ни о еде своей, ни о торговле, ни о своих молитвах, ни о вере. Доверие настолько установилось, что и жен своих индийцы перестали от него прятать.

В своем длительном хождении Афанасий Никитин запутался в церковном календаре. Он забыл, когда Пасха, когда пост, и стал поститься вместе с местными жителями. Иными словами, он частично признал их веру. Он даже молился на их языке и в своих записках священные слова молитв пишет на тюркских наречиях. Это воистину своеобразное «антихождение» — «хождение наоборот» и Святая земля «навыворот». Парват в Индии — все равно что Иерусалим для русских, пишет он, а для магометан — Мекка. Статую бута он сравнивает со статуей Юстиниана Великого в Константинополе, которую знает, очевидно, по описанию ее в хождении Стефана Новгородца. Он проводит аналогии между религиями и приходит к заключению: «...а правую веру один бог знает».

Составляя свое произведение как «грешное хождение» — хождение по смыслу своему прямо противоположное хождениям в Святую землю, Афанасий чувствовал себя вполне свободным от литературного этикета церковных хождений. Он пишет как думает: записывает, очевидно, во время самого пу-

тешествия, записывает для себя и для своих товарищей, кто вздумает последовать его примеру и отправиться «за три моря». Брал он, по-видимому, товары с родины в долг и первое время описывал свои злоключения, чтобы оправдаться по возвращении перед своими заимодавцами, не очень доверяя своей памяти, а потому записывая имена и названия, потом становится заметно его стремление собрать полезные сведения для своих купцов-товарищей, а под конец он пишет и для себя — только для себя, а потому на тюркских наречиях, чтобы никто не смог прочесть на родине то, что он записал.

Его записки поражают поэтому своей простотой и безыскусственностью, но они и искусны, ибо пишет он хоть и не следуя традиции, то все же отталкиваясь от нее.

Одно из самых «продвинутых» в историко-литературном отношении произведений конца XV века — «Повесть о Хмеле». Это своеобразное литературное «предчувствие» сходного произведения конца XVII века — «Повести о Горе-Злочастии». И тут и там рок персонифицируется, пьянство или горе становятся двойниками человека, преследующими его и доводящими до гибели.

«Повесть о Хмеле» — одна из первых персонификаций отвлеченного начала в русской литературе, благодаря которой в литературу властно входит фантазия.

«Повесть о Хмеле» очеловечивает Хмель. Хмелю предоставляется авторское слово. Хмель говорит похвальное слово самому себе, подчеркивая свое могущество, первенство, славу — и ничтожество тех, кто в его власти. Хмель красуется и играет перед читателем или слушателем.

«Тако глаголеть Хмель ко всякому человеку, и ко священническому чину, и ко князем и боляром, и ко слугам и купцемь, и богатым и убогым, и к женамъ такоже глаголеть...»

Ритмическая организация речи переходит в стихи. Это нечто среднее между высокой литературой, повернутой иронически на низкую тему, и скоморошьим раешником.

* * *

Литература не стоит на месте. Развивается ее содержание, система жанров, стили, язык. Самые пути ее развития — и те также меняются в зависимости от исторической обстановки, социального расклада сил и культурной ситуации. Сле-

довательно, каждая эпоха в той или иной степени является переходной. Переходной являлась и литература второй половины XV века. У каждого переходного периода есть свое «будущее». Было это будущее и для литературы XV века. Чтобы понять до конца литературу любого периода, необходимо знать ее будущее — «будущее» своего времени. Но к будущему той или иной эпохи принадлежит только то, что является закономерно, что продолжает наметившиеся в предшествующий период тенденции. Но случайности тоже играют свою роль в развитии литературы. Появление талантов с ярко выраженной индивидуальностью может быть своего рода общественной закономерностью. Может быть закономерным и направленность талантов, их характер. Однако все же создание того или иного произведения, даже его сохранность, отдельные темы — часто обусловлены причинами случайными.

Кратко остановимся только на тех явлениях первой половины XVI века, которые были продиктованы всем развитием литературы второй половины XV века и не явились простой случайностью.

XVI век в литературе продолжил ту линию развития, которая сформировалась в XV веке. Все больше и больше начинает в литературе проявляться государственная тема и светские заботы, огромную силу набирает публицистика, вера в возможность разумными мерами преобразовать страну, создать общество на основах рационального распределения обязанностей среди всех слоев населения. У публицистов XVI века формируется стремление найти «вечные», разумные, логические, незыблемые основания для новой социальной справедливости. Публицистическая мысль наполняет собой произведения любых традиционных литературных жанров этого периода, а вместе с тем продолжается и процесс жанрообразования на основе «деловых» видов документов — челобитных, писем, постановлений церковного собора, статейных списков и т. п. Публицистический задор заставляет в XVI веке браться за перо рядового монаха и митрополита, холопа и боярина, мелкого служилого дворянина и самого царя.

Значение литературы настолько возрастает, что появляется стремление в письменном виде обобщить весь предшествующий литературный опыт и все предшествующие литературные произведения: исторические — в Степенной книге

царского родословия и Лицевом своде, ежедневное чтение — в Великих Четьих-Минеях, где каждому дню года соответствовал бы свой подбор произведений, и притом немалый, все наставления к повседневной жизни — в Домострое, все церковные наставления — в Стоглаве и т. д. и т. п. Под огромным небом русской действительности литература все растет в своем общественном значении, все больше занимает места в жизни страны, становится одной из самых влиятельнейших сил в государстве.



Эпоха решительного подъема общественного значения литературы

Конец XV – первая половина XVI века

Первая половина XVI века – эпоха, когда развивается вера в социальное переустройство общества на основе принципов «правды», то есть «истины-справедливости».

На первый план начинает выступать новое сословие – сословие дворян – служилых людей, выдвигаемых не по родовитости и заслугам предков, а по личным достоинствам и стремящихся укрепить свое положение различными проявлениями преданности государству и его главе – великому князю московскому.

Как и всякий новый общественный слой, дворянство стремится идеологически обосновать свои права и притязания, верит в силу разума. Впрочем, вера в доводы разума – ха-

---

Публ. по: Эпоха решительного подъема общественного значения литературы // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI. М.: Худож. лит., 1984. С. 5–18.

рактерна не для одного дворянства. Во всем русском обществе поднимается вера не только в рассудок, логику, разумную целесообразность, но и в силу человеческого слова, в книгу. Роль и значение литературы поднимается необыкновенно. Сама литература меняет свой характер, становясь все более и более философичной, и проникается духом публицистической полемики.

Никогда прежде не спорили так много в Древней Руси, как в первой половине XVI века. Развитие публицистики – политической и философической – идет на гребне общего подъема веры в разум, характерной и для ренессансной Европы XVI века. О значении книжного слова неоднократно пишется в сочинениях, приписываемых приехавшему с Запада дворянину Ивану Пересветову. В «Сказании о царе Константине» Пересветов считает, что основной причиной неудач Константина было то, что вельможи его – «ленивыя богатины» – дали ему прочесть неправильные книги, в которых проводилась мысль, что царь не должен ходить войной «на иноплеменническую землю», в результате чего «царь книги прочел, да укротел». С другой стороны, успехи султана Магмета Пересветов объясняет опять-таки влиянием книг – на этот раз правильных и мудрых: «Царь турской Магмет-салтан сам был философ мудрый по своим книгам по турским, а се греческия книги прочел, и написав слово в слово по-турски, ино виликия мудрости прибыло у царя». Рассказав о той «правде», которую ввел Магмет в своем царстве, Пересветов заключает: «А ту мудрость царь снял з греческих книг, образец – таковым было греком быти»; «А то царь Махмет списал со християнских книг ту мудрость»; «Махмет списал со христианских книг ту мудрость и праведный суд»; «А все то Магмет-салтан, турской царь, снял образец жития света сего со християнских книг».

Пересветов придает исключительное значение «речам» волошского воеводы Петра. Он стремится пересказать их царю; сообщает царю то, что пишут о нем в Литве «философи греческия и дохтуры латынския». Наконец, в особом «Сказании о книгах» Пересветов рассказывает, как Магмет-султан повелел у константинопольского патриарха Анастасия взять и перевести на турецкий язык христианские книги, с которых «снял образец жития света сего», то есть заимствовал об-

разец общественного устройства. Вера в возможность установить социальную справедливость с помощью убеждения и доброй воли просвещенного законодателя-князя отличает и сочинения другого замечательного писателя — протопопа кремлевского Благовещенского собора Ермолая-Еразма. Ермолай-Еразм предназначал свои сочинения для государя. К государю обращены его «Правительница» и «Моление к царю», его «челобитные», а отчасти сочиненные им на основе местных сказаний жития — «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и «Повесть о Василии Рязанском», в которых он в косвенной форме поучает государя социальной справедливости и выступает против своеволия и спеси боярства.

В связи с этой верой в силу личного убеждения следует поставить и общее Пересветову и Ермолаю-Еразму желание, чтобы царь лично прочел их писания. Об этом Пересветов просит царя в первой своей челобитной; об этом же просит Грозного Ермолай-Еразм в своем «Молении к царю».

Вера в силу книжного слова была характерна в это время не только для представителей дворянской литературы. Однако эта вера имела свои оттенки в каждом из сословий. Представители церкви, обращавшиеся к государю со своими посланиями, надеялись в основном не только на силу своих доводов (как Пересветов и Ермолай-Еразм), но и на авторитет церкви. Митрополит Даниил самое свое слово считал как бы данным ему Богом: «даде нам господь бог от слова помощь». Представители же боярства редко предназначают свои сочинения непосредственно для царя. Они излагают свои взгляды не только для того, чтобы кого-то убедить, но и чтобы просто выразить свое негодование окружающими непорядками. Впоследствии Вассиан Патрикеев говорил, что его называли «дерзким языком». Он жаловался, изливал свои недовольства. «Что убо безмилостивно и спротивно святым Писанием сътворяю, аще о сицевых беседую с боголюбивыми князи, *плачася и рыдая* (выделено мною. — *Д.Л.*) церковное нестроение».

Вера в книги была присуща и оппозиционному кружку, собиравшемуся вокруг приехавшего на Русь ученого-гуманиста Максима Грека. Участник кружка Берсень-Беклемишев спрашивал Максима, «как устроить государю землю свою, и как людей жаловати, и как митрополиту жити». Максим отвечал

ему: «у вас *книги* (выделено мною. — *Д.Л.*) и правила есть, — можете устроится».

Мировоззрение дворянских публицистов проникнуто максимально действенным началом. Это сказывается не только в обращениях к царю и воинству с «коня не сседати», «на инопленники ходити воевати», в призывах к коренным преобразованиям в социальной и государственной сфере, но и в общефилософских посылках всей их публицистической деятельности. В этом отношении особенное значение имеет учение Ивана Пересветова о превосходстве «правды» над «верою». «Правда» — это исполнение веры, это практика, действительность, справедливость, устроенная самими людьми — волей государя в первую очередь. Одной веры, по представлениям Пересветова, недостаточно. Необходимо воплощение этой веры в «правде», то есть «истине-справедливости». Без «правды» вера не нужна. «Коли правды нѣтъ, ино то и всего нѣту»; «правда богу сердечная радость»; «бог не веру любит — правду»; «бог любит правду лутчи всего» и т. д. Следовательно, только практическое осуществление добра есть ценность. Это резко противостоит лютеранским представлениям о примате над всем именно веры, которая одна якобы спасает человека.

Идя по пути признания первенства практики над «верою», Пересветов дошел до крайних границ отрицания «веры». Он высказывает чрезвычайно смелую мысль о том, что православные греки, которые «Евангилие чли, а иные слушали, а воли божии не творили», оказались менее угодны Богу, чем магометане турки, которые хотя и не имели истинной веры, но «правду» осуществляли. С изящной смелостью формулируя свои мысли, Иван Пересветов заявляет о русском царстве: «Есть ли к той истинной вере християнской да правда турская, ино бы с ними ангели беседовали!» Бог отдал греческое царство в руки магометан за то, что в нем власть императора оказалась ограниченной вельможами, за то, что вельможи творили неправый суд, томили народ рабством. «Облениевшиеся» вельможи своею леностью «богу лжут и государю». Отсюда требования Пересветова самой сильной, самой неограниченной и самой деятельной власти: «Царь — кроток и смирен на царстве своем — и царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен и мудр — царство его ширеет, и имя его славно по всем землям».

Чтобы ввести в царстве своем «правду», нужна «гроза»: государь должен быть грозен для своих подданных. Без грозы «правды в царство не мощно ввести. Правда ввести царю в царство свое, ино любимаго не пощадити, нашедши виноватаго. Как конь под царем без узды, так царство без грозы». Здесь почти что обоснование будущих жестокостей Ивана Грозного.

Таким образом, максимальная собранность всех сил государства для введения «правды», наибольшая активность, отрицание «веры» без «правды», неуклонное до беспощадности проведение в жизнь всех мероприятий государственной власти — таково деятельное и бескомпромиссное мировоззрение поднимающегося сословия — дворянства, заинтересованного в реформах, во внедрении нового и в искоренении старых порядков феодальной раздробленности и самого боярства как сословия, опирающегося на заслуги предков, а не на собственные способности и дела.

Культ разума, деятельного проведения разумных начал в жизни фактически ведет в мировоззрении Пересветова к требованию последовательной и постепенной секуляризации, обмирщению всей жизни. Пересветов выступает против церковного провиденциализма. Не бог, но сам человек творит свою судьбу, а бог только «помогает» тем, кто стремится ввести в жизнь «правду» — справедливость и разумность. «Богъ помогает не ленивым, но кто труды приимает и бога на помощь призывает, да кто правду любит и праведный суд судит. Правда богу сердечная радость, а царю великая мудрость».

Мировоззрение дворянских публицистов проникнуто духом реформаторства, стремлением активно преобразовать общество на «разумных» или казавшихся разумными основаниях, не считаясь ни с чем.

Литература приобретает публицистический характер. Публицистика же требует немедленного вмешательства в жизнь, немедленного ее «исправления». Публицистика в XVI веке с ее челобитными, ставшими своеобразным литературным жанром, с ее проектами была наиболее действенной формой литературы. Она не только поучала и убеждала, — она порой как бы приказывала, распоряжалась (так стало вскоре с произведениями Грозного, так было и в посла-

ниях митрополитов), вносила на рассмотрение общества разработанные до мелочей деловые проекты (Ермолай-Еразм и Иван Пересветов).

Однако Пересветов выступает и за свободу страны. Он пишет: «Которая страна порабощена, те люди не храбры». Против чьего же насильства выступает Пересветов и чью свободу он отстаивает? Из всего контекста его сочинений ясно: против насильства и притеснения «вельмож», бояр.

Итак, с одной стороны — убежденность, что только от одного человека, государя, от его ума и просвещенности зависит благосостояние страны, а с другой — проповедь свободы и «добровольного» начала даже в военной службе. Противоречие это характерно для идеологии так называемого «просвещенного абсолютизма», в разных формах и вариантах проявившего себя в XVI веке по всей Европе.

* * *

Противоречие между требованиями абсолютной власти монарха и стремлением к свободе сказывается прежде всего в вопросе об организации вооруженных сил Русского государства. Вопрос о свободе возник в сочинениях Пересветова в связи с необходимостью заменить феодальное ополчение регулярным войском. Первое собиралось по принуждению, второе находилось на жалованье (денежное жалованье, пожалование поместьем, натуральное довольствие). Иван Пересветов постоянно подчеркивает, что воевать нужно за награду, а не по принуждению: «Воинника держати, как сокола чредити: и всегда сердца имъ веселити». Авторы публицистических произведений связывают свои предложения социальных реформ с необходимостью укрепить русское войско, реорганизовать его. Авторы аргументируют необходимость этих реформ тем, что они сделают русское войско более мощным, позволят быстрее созывать ратников во время военной опасности, укрепят их дух и т. д. Образование централизованного государства на востоке Европы было ускорено интересами обороны. Следовательно, интересы обороны диктовали многие государственные реформы. Войны на востоке, юге и западе России создавали необходимость в такой государственной системе, которая отвечала бы нуждам военным.

Как рассказывает о себе сам Иван Пересветов в своей «Малой челобитной», он выехал в Россию из-за границы «на царское имя» и вывез с собой образец гусарского щита, который хотел распространить в русском войске. Это не было безделкой, мелким военным изобретением. От такого рода изобретений зависел исход сражений. Гусарский же щит Пересветова представлял собой серьезную защиту пешего войска от атак степной конницы. Щит был одобрен, и через боярина Михаила Юрьевича Захарьина Пересветов получил крупный заказ на такие щиты. «И Михайло Юрьевич образцы посмотрив, и тебѣ, государю, службу мою похвалил и обо мнѣ тебѣ, государю, печаловался. Дѣлати было, государь, мнѣ щиты гусарския добраго мужа косая сажень, с клеем и с кожею сырицею, и с ыскрами, и с рожны желѣзными, — а тѣ, государь, щиты макидонсково оброзца. А дѣлати их в ветляном древе, легко, добрѣ и крѣпко: один человек с щитом, гдѣ хощет, тут течет и на конѣ мчит. И тѣ щиты в поле заборона: из ближняго мѣста стрела немет, а пищаль из дальные цѣли неймет ручныя. А из-за тѣхъ щитов в поле с недругом добро битися огненною стрельбою из пищалей и из затинных, з города».

Эти сведения о себе Ивана Пересветова, сообщаемые им в «Малой челобитной», чрезвычайно существенны для понимания его публицистической деятельности. Иван Пересветов был военным. Он заботился об укреплении военного могущества Русского государства в первую очередь. История с гусарскими щитами очень показательна. Иван Пересветов как писатель делал то же, что он делал как профессионал военный: он и делом и словом стремился к переустройству русского войска. Его вооружение он пытался улучшить, создавая производство нового типа щитов; его организацию он пытался усовершенствовать, предлагая реформы в своих публицистических сочинениях.

Заканчивая свою «Большую челобитную», Пересветов подчеркивал, что приехал он служить царю «с тѣми речми и з дѣлы с воинскими» потому, что услышал, что русский царь имеет «от бога мудрое прирожение и счастливое к воинству». Ради этого Пересветов оставил «службы богатыя и безкручинныя». Публицистические сочинения Ивана Пересветова далеко перешагнули основную волновавшую его тему устрой-

ства русского воинства и имели гораздо более широкое значение, но об исходной теме всей деловой и публицистической деятельности Пересветова не следует забывать. Забота о военных силах Русского государства не раз сказывается в его сочинениях. О «воинской мудрости» царя, раньше чем об «управѣ во царствѣ своем» и «уставе жития царьского», говорит Пересветов в «Большой челобитной». Богатство и знатность ослабляют воинов. «Хотя и богатырь обогатѣетъ и обленивеетъ. Богатый любит упокой». Мысль эту Пересветов повторяет дважды, настойчиво подчеркивая, что вельможи плохие воины. Он приводит в пример греческое царство, в котором вельможи царством «обладали... и изменяли и царьство измытарили своими неправедными суды», собирали богатства «от слез и от крови християнския», а сами «обленивели, за вѣру християнскую крѣпко не стояли», царя отвлекли от военных дел и тем погубили страну. Он советует царю приближать к себе тех воинов, которые «люто» могут «против недруга государева смертною игрою играти», возвышать их имена, раздавать награды, выслушивать жалобы и любить их, как отец любит своих детей. Пересветов предлагает огнем жечь и иными «лютыми смертями» истреблять тех, кто отвращает царя от его воинских дел. «А царю без воинства не мочно быти, — говорит Пересветов, — ангели божии, небесныя силы, и тѣ ни на един час пламенного оружия из рукъ своих не выпущают, стрегут рода християнского от Адама и до сего часа, да и тѣ службою своею не скучают. А царю как без воинъства бысти? Воинником царь силенъ и славен. Царю быти благодатию божиею и мудростию великою на царьстве своем, а до воинников быти аки отцу до детей своих щедру. Что царьская щедрость до воинников, то его и мудрость. Щедрая рука николи же не оскужает и славу себѣ великую збирает». Пересветов не только предлагает царю укрепить свое воинство, но и поощряет его к завоеванию Казанского царства. Он передает слова, сказанные Петром, волошским воеводой: «Да тому велми дивимся, что та земля (речь идет о Казанском царстве. — *Д.Л.*) не велика и угодна велми у таково у великово у силново царя под пазухою в недружбе, а онъ ей долго терпит и кручину от них великую приимает».

Те или иные наставления о «воинской мудрости» заключают в себе и «Сказание о царе Константине», и «Сказание

о Магмете-салтане», и «Предсказание философов и докторов», и «Малая челобитная», и «Сказание о книгах», то есть все те произведения, которые традиционно приписываются Пересветову. В сущности, предложения Пересветова можно рассматривать как предложения воинских реформ в первую очередь. Они соответствовали интересам дворянства и не случайно частично осуществлялись впоследствии Иваном Грозным при содействии Адашева. Это объясняется тем, что воинские реформы мыслятся Пересветовым с необычной для своего времени широтой, как реформы всего государственного и социального строя, исходящие из интересов и идеологии дворянства.

Но не только Пересветов занят идеями этих воинских преобразований. Стремлением к укреплению армии отмечена и «Правительница» Ермолая-Еразма. Он предлагает регламентировать ратные повинности помещиков количеством отводимой им земли. С каждой территориальной единицы — «четверогранного поприща» — выходит на военную службу сам помещик и его слуга в бронях. Помещик и слуга живут в городе, чтобы в случае нужды немедленно явиться по призыву. И самые размеры «четверогранного поприща», устанавливаемые Ермолаем-Еразмом, и повинности крестьян в отношении помещиков определяются в известной мере этой воинской организацией. Сочетание строжайшей дисциплины и добровольности, личной заинтересованности представляются обоим реформаторам — Пересветову и Ермолаю-Еразму — наиболее разумным решением вопроса. Жизнь, однако, показала, что такое сочетание не всегда бывает возможным: в феодальной Руси либо одно, либо другое берет верх, и тогда возникает или деспотизм вместо дисциплины, или же бунт вместо свободы.

* * *

Стремление найти «вечные», разумные, логические, незыблемые основания в самой жизни, провозгласить общие принципы, которые устанавливали бы основы социальной справедливости, в широкой степени характерны не только для воинских проектов Ермолая-Еразма. Он говорит об обязанностях царя заботиться о благе своих подданных, исходя из воззрений на Русское государство, как на единственное православное государство во всем мире. Благо подданных Ер-

молай-Еразм понимает, стремясь найти общие принципы его в самом мироздании. И в этом отношении огромный философский интерес представляет созданная им концепция. Он утверждает: в основе всего социального порядка находятся крестьяне, так как производимый ими хлеб – главный источник жизни. «В начале же всего потребни суть ратаеве (пахари. – *Д.Л.*): от их бо трудов есть хлеб...» Хлебом питаются все – от царя и до крестьянина; хлеб – свят, он возносится в таинстве евхаристии. Хлеб – основа благосостояния людей и государства. Следовательно, крестьяне, непосредственные производители хлеба, – главный слой населения. И он называет крестьян необычно и торжественно – «ратаи».

Как и Пересветов, Ермолай-Еразм выступает против знатности. Неравенство может основываться только на неравном труде. Больший надел должен соответствовать большим обязанностям. «Аще же будет гдѣ поприще по поприщу землею неравно, есть бо тако и людие: суть вь едином удобствии, сирѣчь равенствѣ, имут же нѣкая отстояния, межю себе суще неравна, по человеку убо разсмотряй, и поприще раздѣляет лучешим лучешая». Дворянский характер этого внешне демократического принципа ясен. По существу, он обосновывает право на представляемые поместья и отрицает право на наследственные вотчины. Ермолай-Еразм пишет про вельмож, что они «ни от коих же своих трудов доволствующе», и противопоставляет им служилое дворянство, которое, по его мнению, несет службу не бездельно и за эту службу получает землю и крестьян. О награждении последних землею Ермолай-Еразм умалчивает.

Ермолай-Еразм заявляет в «Молении к царю», что он ставит себе целью своими предложениями достигнуть «благоугодия земли и умаления насильства». Однако Ермолай-Еразм озабочен по преимуществу тем, чтобы владение крестьянами передать из рук боярства целиком в руки дворянства. Он стремится также упорядочить эксплуатацию крестьян.

* * *

Наставлять подданным царя, а царю подданных стало одним из важнейших дел культа разума, столь характерного для европейского XVI века. К этому же роду наставительных произведений принадлежат и сочинения Максима Грека, обращенные к игуменам и простым инокам. Наконец, и обычные

исторические сочинения и повести клонились к этому наставительному пафосу, пафосу исправления нравов, привычек, поведения и управления начальников и монархов. «Повесть о царице Динаре» – это произведение о мудрой управительнице. И мудрости своей сама царица Динара учится из опыта истории и исторических книг: «Первѣе – показа любовь ко властодержавцем своимъ, и милость к народомъ, и праведный суд. И паче всего имѣаше прилежание к божественому Писанию, и о преднихъ царѣх и властодержавцех, како бѣ пребывание в нихъ и временное прехождение, и от того навыче воиньской храбрости. Якоже пчела събираетъ от цвѣтов медъ, тако и сиа Динара от памятных книгъ».

Не случайно и увеличение значения переводных произведений, обращенных с наставлениями именно к главам государств. Таковы, например, нравоучения Аристотеля Александру Македонскому, собранные в замечательном памятнике «Тайная тайных». В наставлениях Аристотеля звучит тот же призыв выбирать людей не по их происхождению, а по их способностям. В главе «Об управлении слугами своими, и боярами, и витязями (глава 6. Пятница)» Аристотель говорит Александру: «А не смотри на отчину (происхождение. – *Д.Л.*) их, но на дела их» и о том же напоминает в связи с советами стеречь правду, справедливость и закон: «И досмотряй достоинства каждого человека к службе своей, ни земли его, ни роду его». «Тайная тайных» внимательно читал и Иван Грозный, как это видно из многих рассуждений в его посланиях.

На несколько иных позициях стоит философ и публицист XVI века Федор Карпов. С общеморальных позиций Федор Карпов протестует против «терпения», то есть безусловного подчинения подданных царской власти. Он утверждает, что «терпение» приводит к неограниченному произволу властителей, что покорность развращает власти, и постоянно сетует на современность, на безнравственность современного ему общества. Мировоззрение Федора Карпова, в сущности, пессимистично. Его идеал покой, и он ищет этот покой в потустороннем мире. В конце своего послания к митрополиту Даниилу Федор Карпов пишет об обетованной земле живых, о рае, в котором «часы не начинають дней, восхода и захода не имѣютъ, годоваго предѣла не стяжут, старость младеньства не премениять, немощъ здравиа не озлобляеть, смерть живо-

та не скончеваеть; времена несчастна тамо не чаются, тамо вся красна, ничто неблаго, вся добра, ничто спротивио, нѣсть труда телеснаго или мысленаго, но всегда бес конца тихий покой, никоего неразумна, но всевѣчна премудрость».

* * *

Огромная роль, которая отводилась в мечтах и чаяниях людей первой половины XVI века Русскому государству, побуждала к созданию особой теории его национального и мирового значения, которая обосновывала бы право этих надежд. Русское государство становится «идеологическим государством» — со своей теорией общемировых обязанностей и права на эти обязанности.

Чем решительнее и чаще обращались публицисты и проповедники к государям всея Руси с требованиями внутренних реформ и укрепления власти, тем больше возрастала убежденность самого государства в своем общерусском и мировом значении. Это было решительное изменение во взглядах русских государей и князей отдельных княжеств на самих себя. Ничего подобного не было в предшествующие века. В предшествующие века главы отдельных русских княжеств ощущали свои права, как права владельцев, обязанности же свои ограничивали самозащитой и защитой населения своих княжеств от внешних вторжений. Объединив отдельные русские княжества под своей властью, московские государи стали воспринимать свои обязанности прежде всего как некое служение — служение православию во всем мире, а себя — как единственных после падения Византии защитников православия во всем мире.

Права и обязанности в Средние века были прежде всего правами по наследованию и удостоверялись определенными знаками, пророчествами, регалиями, генеалогическими «свидетельствами» — родословными и «сказаниями». Поэтому все теории власти, которые начали возникать в XV и XVI веках, о мировой роли Русского государства строились прежде всего на обоснованиях права по наследству — от Рима Восточного и Рима Западного, или Первого.

Три теории привлекли к себе внимание русских государей и были ими восприняты для обоснования своих неограниченных прав на вмешательства в судьбы мира: теория, изложен-

ная в «Повести о Вавилонском царстве» (см.: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982) и обоснованная там обретением царских регалий, теория, высказанная «попутно», как сама собой разумеющаяся, в посланиях старца псковского Елеазарова монастыря Филофея о Москве – Третьем и последнем Риме, и третья теория, основная часть которой была создана бывшим московским митрополитом Спиридоном-Саввой и изложенная им в «Послании о Мономаховом венце», а затем переработанная и официально принятая в «Сказании о князьях владимирских», где власть московских государей рассматривалась как унаследованная от римских цезарей.

Что было между ними общего и в чем они различались?

«Сказание о Вавилоне-граде» – наиболее ранняя из попыток заявить и обосновать права Русского государства. Она относилась к XV веку и рассказывала легенду о том, как равные права получают одновременно для своих царств грек, грузин и русский. Они проникают в заколдованное и таинственно охраняемое Вавилонское царство, где и получают венцы царя Навуходоносора, драгоценные камни и кубки.

Важно отметить, что, несмотря на весь свой сказочный характер, «Сказание» было включено в XVI веке в официальный сборник.

Сказочный характер «Сказания о Вавилоне-граде» не мог, однако, удовлетворить читателей, искавших более деловитых и бесспорных исторических оправданий прав русских государей на власть. Сказка не претендует на достоверность – скорее на занимательность. Поэтому вскоре рядом со «Сказанием о Вавилоне-граде» появляется другая легенда – «Сказание о князьях владимирских».

«Сказание о князьях владимирских», ставшее в конце концов официальной концепцией исторических прав Русского государства в XVI веке, прошло несколько стадий в своем развитии. Создал историческую легенду тверской монах Спиридон-Савва, посвященный в XV веке в Царьграде в митрополиты всея Руси, но не признанный в Москве и сосланный московским великим князем в Ферапонтов монастырь. Ему первому принадлежит идея связать родословие московских князей с римскими цесарями. Он составил «Послание о Мономаховом венце», в котором утверждал, что от Августа-кеса-

ря его потомок Прус получил свою часть на востоке Европы. Это его наследство перешло затем к его потомку Рюрику, а от него к русским князьям Рюриковичам. Вторая часть того же послания излагает историю получения в Царьграде «шапки (венца) Мономаха» Владимиром Мономахом, а с ним вместе и других даров, удостоверяющих его царское достоинство. Третья часть послания — родословие литовских князей Гедиминовичей, свидетельствующее о том, что Спиридон-Савва, создавая свою легенду, не собирался непременно связать ее лишь с московскими князьями и их правами на царский венец. Этому послужило уже другое произведение, сохранившее тот же легендарный характер, — «Сказание о князьях владимирских». Неизвестный нам автор специально приспособил легенду, изложенную Спиридоном-Саввой в его послании для доказательства правомерности притязаний потомков Даниила Александровича московского через его сына Юрия Даниловича на возглавление Руси. Примечательно, что заканчивалось оно упоминанием победы Дмитрия Донского на Куликовом поле, как бы закреплявшим окончательно его права.

Именно это «Сказание» и было принято в качестве официального обоснования прав московских великих князей на возглавление всех русских княжеств, а затем и Русского царства. В 1547 году Иван Васильевич IV был коронован «шапкой Мономаха» на русский престол. На основе «Сказания» был составлен и самый «Чин венчания» московских государей. Идеи «Сказания» излагались в дипломатических документах, в официальных летописях, в «Степенной книге царского родословия». Отдельные сцены из него и самый текст «Сказания» был вырезан на дверцах царского трона, стоявшего в московском Успенском соборе.

Более же широкое историческое обоснование прав Москвы на первенствующее положение в мире было изложено в неофициальных посланиях псковского старца Филофея. Сперва в «Послании на звездочетцев» 1524 года, а затем еще в двух посланиях, адресованных, судя по относительно поздним спискам, Василию III и Ивану IV, Филофей упоминает о Москве как о Третьем и последнем Риме. Но в официальную мысль представления о том, что Москва является третьим и последним мировым государством — Третьим Римом, вошли не ранее XVII века и то как бы под сурдинку — без помпезного

провозглашения своих прав. Согласно этой теории старца Филофея, не представлявшей ничего исключительного для средневековой Европы, где большинство царствующих династий связывали свое происхождение либо с римскими императорами, либо с участниками Троянской войны, мировая история представляет собой последовательную смену мировых держав. Первой мировой державой был Рим Древний (основателями которого иногда выступали герои Троянской войны). Второй мировой державой, пришедшей на смену первому, являлся Рим Второй, или Византия. После же отпадения Второго Рима от православной веры в результате Флорентийской унии и захвата Константинополя магометанами, Третьим Римом, защитницей и центром истинного православия стала являться Москва. «Четвертому же Риму не быть», — утверждала легенда, пока еще, в XVI веке, утвердившаяся в среде сторонников Москвы в Пскове.

* * *

Самостоятельная русская общественно-политическая и философская мысль несомненно отражала знакомство с переводными философскими произведениями общемирового значения. К таким принадлежали, например, сочинения ранневизантийского богослова Дионисия Ареопагита или «Диоптра» инока Филиппа, из которой в нашем сборнике мы печатаем одну ее самостоятельную часть — «Разговор Души и Плоти». Произведение это принадлежит к жанру так называемого «сократического диалога», известного в мировой литературе со времен античности. Поразительна в этом диалоге та роль, которая отводится в нем телу. Тело хотя и признается «служанкой» души, но именно оно учит душу, ибо оно познает мир, познает Писание и сочинения отцов церкви. Без тела душа слепа, нема и бездеятельна. Тело читает, переворачивает листы книг, вникает в суть дела, рассуждает, ибо обладает органами памяти, мысли и восприятия (три части мозга). И хотя душа бессмертна, а тело смертно, но именно оно умеет утвердить свое значение как познающего начала. Душа же слепа и во всем сомневается. Тело разъясняет душе и чисто богословские понятия, учение церкви и, может быть, помимо воли самого автора, утверждает свое превосходство над душой. Спор души и тела создает и своеоб-

разную средневековую гносеологию, в которой чувствам задолго до возникновения философского сенсуализма отводится роль познающего и определяющего познание начала.

Значение «Диоптры», как и сочинений Дионисия Ареопагита, состояло еще и в выработке многих отвлеченных понятий и философской терминологии.

Большое место в «Разговоре Души и Плоти» уделено вопросам воскресения мертвых. Из этих сомнений, одолевающих душу, мы узнаем о том, в чем были главные сомнения средневековых людей, в чем видели они противоречия церковного учения и как стремились ответить на естественно возникающие вопросы и недоумения. Любопытно, что в роли сомневающегося выступает душа, а в роли утверждающего церковную истину — тело, которое признается основным познающим и размышляющим началом. «Разговор Души и Плоти» явился таким образом как бы философским обоснованием той веры в разум, о которой мы говорили в начале этой статьи.

Своеобразным философским произведением была и переводная повесть «Стефанит и Ихнилат». Повесть «Стефанит и Ихнилат» представляет собой собрание басенных поучений глупому царю Льву, объединяемых общим сюжетом. Смысл этих басенных рассказов в том, что одолевать врагов следует не силой, но умом и хитростью: «мудрость больше, чем сила». Опять-таки на первый план выступает разум, мудрость, а порой и простой обман, но обман хитро обдуманный. Повесть «Стефанит и Ихнилат» пришла на Русь с Востока через Византию, по-видимому, еще в XV веке. Не все в этой повести, особенно в ее басенной, нравоучительной части, соответствовало тому, что хотелось русским читателям. Восточная хитрость и обман были явно не по душе русским читателям, озабоченным желанием иметь сильного, мудрого, прямодушного и справедливого царя. Этим объясняется сложная судьба ее текста на русской почве: русские переписчики переделывали ее текст, перетолковывали смысл отдельных рассказов, пропускали некоторые и даже вносили новые.

* * *

Развитие публицистической мысли вызвало появление новых форм литературы, новых жанров. Первая половина XVI века отмечена сложными и разносторонними исканиями

в области художественной формы. Устойчивость средневековых жанров нарушена. В литературу проникают деловые формы, а в деловую письменность – элементы художественности. Мы видели уже, что темы литературы XVI века близки к публицистике, – это темы живой, конкретной политической борьбы. Многие из тем, прежде чем проникнуть в литературу, служили содержанием деловой письменности. Вот почему формы деловой письменности становятся и литературными формами – это прежде всего касается введения в литературу формы челобитных и писем.

Пересветов пишет челобитные. Их содержание близко к содержанию обычных, деловых челобитен. В них, как и во всяких челобитных, есть конкретный адресат (у Пересветова – великий князь, царь). Есть в них и обычные личные просьбы: о допущении его «речей и дел перед государя», о своей защите от сильных людей и о заказе ему изделий (щитов). Однако наряду с обычными для челобитных просьб есть и необычные. Основная тема челобитных Пересветова – отнюдь не личная. Личная – лишь прикрытие, дань деловой условности. Он обращается не с просьбами, а предлагает государственные проекты. При этом в челобитных Пересветова имеются элементы легенды, развитой рассказ. Перед нами очень важный процесс претворения деловой литературы в литературу художественно-публицистическую, обогащение жанровой системы древнерусской литературы за счет деловых жанров. Процесс этот способствовал секуляризации литературы, протянувшись на целые полтора-два века.

В литературе XVI века часто трудно решить – где кончается литература и начинается деловая письменность. Трудно решить: в деловую ли письменность проникают элементы художественности, или в литературе используются приемы деловой письменности. Литература широко обращается к формам устной, ораторской речи, к формам диалога, философской прозы. Литература не столько показывает, сколько рассуждает, размышляет, спорит, доказывает, приводит широкую аргументацию. В форме диалога написано «Того же инока пустынника Васьяна (Вассиана Патрикеева. – *Д.Л.*) на Иосифа, игумена Волоцкаго, собрание от святых правил и от многих книг собрано, и на его ученики и различныя межь собя ответы от книг». Произведение построено как диалог меж-

ду Вассианом и Иосифом. Поддержку этой диалогической форме русская оригинальная литература находит в переводной (см. «Разговор Души и Плоти» или «Стефанит и Ихнилат»).

Многие приемы церковной литературы используются в литературе светской и частично изменяют ее характер. Так, например, широкое развитие в литературе XVI века приобретает аллегория, в прошлом теснейшим образом связанная с традиционной церковной символикой и с жанром притчи. В публицистической литературе первой половины XVI века аллегория используется очень часто, но характер ее становится светским. В форме аллегории написана «Повесть некоего боголюбивого мужа». Характерно, что и в этой повести, как и во многих произведениях XVI века, исторические события служат основой для назиданий и рассуждений. Между тем в предшествующее время, в XI–XV веках, на первом месте всегда стояла историческая сторона, а назидательная была как бы дополнительной. В повести действует «некий» (этим словом подчеркивается, что не важно, кто именно, какое историческое лицо) «благоверный, боголюбивый и милостивый царь». Отсутствие имен исторических действующих лиц облегчает возможность применений этой повести к тогдашней действительности. Освобождение аллегории от церковности было связано с обращением ее к сказочности, — на месте церковной аллегории появляется аллегория, пользующаяся сказочными, басенными формами. И снова поддержку этому явлению русские авторы находили в переводной литературе, в частности в уже упоминавшейся замечательной повести «Стефанит и Ихнилат». Характер средневекового мировоззрения требовал и в светских сочинениях обращения к авторитету древних изречений. Эти изречения и давались в светских полемических и философских произведениях, но они приводились без ссылок на авторитетных авторов: сама форма афоризмов, изречений подкрепляла их убедительность. Афористической формой пользуются Пересветов, Ермолай-Еразм и многие другие авторы первой половины XVI века. Авторы облекают свою мысль в форму, близкую народным пословицам и поговоркам. Перед нами любопытная деталь секуляризации, поисков новых форм убедительного изложения аргументации.

* * *

Литература первой половины XVI века опережает свое время. Она не следует слепо за действительностью, а, исходя из нужд и забот своего времени, указывает и подсказывает пути, по которым эта действительность станет развиваться, неся в себе добрые тенденции, но отчасти и зародыши будущих злоупотреблений властью, когда государь утвердится в своих идеях вседозволенности для него.

Перед нами в первой половине XVI века один из высших подъемов сознания литературой своей ответственности перед судьбой страны и народа. Многое в этом подъеме опережало свое время, много было и правильного и ошибочного, ибо писатели судили на уровне своего времени, исходя из его представлений и ошибаясь в пределах опять-таки своего времени, однако вместе с тем они постоянно поднимались над своей эпохой, стремились не только заглянуть в будущее, но и предопределить ход истории. Одно положительное явление совершенно несомненно и бесспорно: в литературу вошли новые общественные и отвлеченные темы, новые мысли, новая терминология — особенно политическая и философская, множество новых понятий, расширилась жанровая система, — в сторону ее обмирщения.

Уже в первой половине XVI века мы можем заметить многие явления, которым суждено было стать типичными для литературы второй половины XVI века и всего XVII века. Одним из таких новых явлений было появление в литературе имен светских писателей. Как правило, до XVI века литература светского характера была в основном безымянной. Мы не знаем имени даже автора «Слова о полку Игореве». По именам мы знаем по преимуществу писателей церковного направления — авторов проповедей, поучений, житий святых, изредка летописцев. Сейчас, в первой половине и середине XVI века, в связи с ростом личностного начала, становятся известными и значимыми имена авторов светских публицистических произведений.



Литература «государственного устроения»

Середина XVI века

Литература – духовный организатор мира культуры. Она противостоит хаосу антикультуры, изначальной дисгармонии мира. Ее организующая роль тем сильнее, чем обширнее страна, чем больше в ней региональных, социальных, внутрифеодальных различий, бытовых особенностей – социальных и местных. Литература – огромное органическое целое, носящее активный, действенный характер. Именно потому в такой большой и пестрой стране, как феодальная Россия, литература играла в культурной жизни особенно важную, связующую роль. Она создавала идеалы поведения, идеалы личности, идеалы быта и государственного устройства.

Эти идеалы носили собирательную, объединительную функцию, и нужда в них проявлялась тем острее, чем больше развивалось объединение государственное.

Публ. по: Литература «государственного устроения» (сер. XVI в.) // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI. М.: Худож. лит., 1985. С. 5–16.

Середина XVI века была эпохой величайшего государственного торжества на Руси, исконно русские земли были собраны воедино, присоединено Казанское царство, присоединено Астраханское царство, Волга стала целиком русской. Был открыт путь на Восток, в Сибирь и Среднюю Азию. Предстояло открыть ворота на Запад через Ливонию. Государство стало единым под властью одного сильного монарха вместо десятков слабых князей. Россия в глазах официозных идеологов русской государственности была близка к выполнению своей официальной исторической миссии: стать новым Римом. Миссия эта была своеобразным государственным мифом. Преодолеть для достижения идеала мифа Третьего Рима осталось совсем малое. «Стоглав» и книгопечатание, «Домострой» и «Степенная книга», казалось, упразднят культурные различия в государстве. «Четьи-Минеи» соберут всю читающуюся литературу, даже расположат ее для чтения по дням года. Чтение войдет в годовой цикл: каждому месяцу года, каждому дню месяца — свое, предназначенное. Сама история вот-вот закончится, ибо в мире полной политической и культурной упорядоченности не останется места для событий, случайностей, различий. А в непогрешимости монарха сомневаться не приходилось, ибо к монарху-то, согласно официальному мифу, все и сводится. Воля государя укрепляет все. Он над церковью и над государством. Он над людьми и над всеми их думами.

В эпоху образования единого русского централизованного государства литература становится не просто изображением действительности, но изображением некиих идеалов, господствовавших в жизни, глашатаем жизненных ценностей, устроителем идеального единого распорядка и уклада жизни.

Если в предшествующую эпоху создавалось то, что должно было стать идеалом, то в середине XVI века идеал был создан и создана была почва для его, казалось бы, быстрого осуществления: русская территория была собрана, самостоятельность отдельных княжеств уничтожена, земли и церковь объединены. Литература середины XVI века занята «устроением жизни». С одной стороны, продолжается присоединение к Русскому государству новых областей. Однако, с другой стороны, эти новые области сами вносят разлад в быт, обычаи, искусство, письменность, даже в церковное устройство.

Вожделенное единство ускользает, особенно в связи с присоединением нерусских областей — Казанского и Астраханского царств. Необходимость удержать и укрепить прочность быта, прочность и единство культуры возрастает все в большей мере.

Академик А.С. Орлов называл эпоху, начинающуюся с середины XVI века, — эпохой «обобщающих предприятий». «Стоглав» крепит единство и устойчивость церкви, «Домострой» вводит быт в регламентированные и идеализированные формы, «Степенная книга» и «Лицевой летописный свод» создают стройную концепцию русской истории: как бы целеустремленную к тому, чтобы стать опорой вселенского православия. Эта последняя концепция стала осуществляться в литературе уже в предшествующую пору, когда возникла идея Москвы как «Третьего Рима» — третьего и последнего; мирового царства, предназначенного провидением выполнить мировую роль, дать завершающее торжество православию и православному государству. В эпоху же, о которой идет речь, расширяется «Легенда о Белом Клобуке» — знаке незапятнанного ересями православия, который удостаиваются носить наследники Первого Рима и Царьграда — новгородские митрополиты, многие из которых переходили затем из Новгорода на Москву.

Итак, в 50–60-х годах проводятся многочисленные реформы, направленные на укрепление централизованного государства, на унификацию всей культурной, политической, экономической жизни страны. Унификация эта — подведение всей страны под некие нормы, создавшиеся в представлениях правящего класса отчасти под влиянием широкой полемики, разгоревшейся в литературе в предшествующий период (см.: Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984). Хотя сама полемика в этот предшествующий период велась довольно широко и различные точки зрения были в ней представлены с относительной свободой, — результаты полемики свелись к тому, что монархическая власть сочла оправданным свое вмешательство во все стороны жизни своих подданных, и создававшиеся произведения, в большинстве своем огромные и пышные, приобрели характер предписаний и установлений, официальных историй и поучений к созданию единообразия во всех сторонах

жизни: «Стоглав», «Домострой», «Чин венчания на царство», «Великие Четьи-Минеи», «Казанская история».

Во всем порядок и строгость. При этом вот на что следует обратить внимание. Предполагается единый быт всех слоев общества, единый круг чтения для всех, единое законодательство – как и единая денежная система. У одних побогаче, у других победнее, но в целом одинаковая. «Домострой» предлагает общие нормы семейной жизни для всех классов и сословий. Различие, которое допускается, – только в числе, количестве, богатстве. Двор одинаковый у крестьянина, купца, боярина – никаких отличий по существу. Все хозяйство ведется одинаково. «Великие Четьи-Минеи» предполагают общее чтение для всех. Тут и сложнейшие богословско-философские сочинения Дионисия Ареопагита и сравнительно простые жития русских святых. Разумеется, если не понимаешь, то можно и не читать, но если понимаешь, – то читать следует то, что предлагается, и в надлежащие дни года. Совершается словно возвращение к годовому кругу жизни, которое оставалось еще действенным в земледельческом и церковном обиходе. Изменения крупного исторического плана не предусматривались. Оставалось только славить историю, приведшую к утверждению Москвы, как центра человечества, и настоящее, которое можно улучшать в частностях, но нельзя изменять в целом. Происходит возвращение к монументализму, характерному для литературы и искусства Киевской Руси, но только утверждающегося на другой основе. Перед первым монументализмом открывался мир во всем его величии и грандиозности. Перед вторым монументализмом он закрывался и застывал как достигнутый идеал. Первый живил, второй мертвил. У первого было все впереди, у второго – позади. Этот второй монументализм отличался особым консерватизмом, сочетанием веры в совсем близкое достижение идеала и полного отказа от творческого отношения к современной авторам действительности.

Идеал, доведенный до деталей, требует церемониальности. Эта любовь к церемониальности во всем чувствуется в XVI веке и во всем приобретает свои формы. Может вызвать недоумение: какое отношение могут иметь к литературе чин свадебный, чин венчания на царство? На самом деле в этих на первый взгляд сухих указаниях есть такая сила любви к цере-

мониальности, которая поднимает их до уровня своеобразной поэзии. Это документы художественного творчества — творчества в области житейской, бытовой, но тем не менее не совсем обычной, ибо нельзя думать, что свадьбы справлялись всегда и всюду именно по одному чину. Скорее всего, это художественный идеал, свод рекомендаций, следовать которым надлежало лишь посильно.

Стиль, который следует признать господствующим в XVI веке, — это стиль церемониального монументализма, он может быть назван также стилем второго монументализма, учитывая, что первый монументализм — это стиль XI–XIII веков.

Господствующий в XVI веке стиль характеризуется не только пышностью традиционных форм, но и особым отношением к миру, стремящимся все подчинить определенным идеалам поведения и мироустройства. Стиль этот в известной мере деспотичен, ибо он не только *обнаруживает* в мире определенные стороны, особенности, но и *навязывает* эти особенности миру, исходя в основном из нужд феодального государства, впервые осуществившего на определенном уровне свое единство на огромной территории. Вместе с тем литература все больше обращается к действительности. Само по себе это обращение может быть различным: к большей ее изобразительности и наглядности, к светскому осмыслению, к документированности или к мелочеви́дению, к вниманию к подробностям событий, к строгой выдержанности последовательности рассказа, к жизненной наблюдательности, к связности рассказа как к некоему своеобразному повторению жизненного процесса и т. д.

«Повесть о болезни и смерти Василия III» стремится изобразить подробности событий. Эти подробности выстраиваются в некую цельную картину болезни, беспокойных передвижений, метущегося поведения, предсмертных распоряжений великого князя. Это одна из многих в русской литературе картин смерти, для своего времени замечательная, но привлекающая внимание по преимуществу деталями и самим нарастанием событий приближающейся кончины.

Автор выражает свое отношение к событиям, жалеет великого князя, а по поводу прощания умирающего с женой замечает: «Жалосно же бѣ тогда видѣти, слез, рыдание исполнено в то время».

Некоторые подробности очень оживляют повествование. Таким, например, оказывается рассказ о том, как в спешке выронили чернеческую мантию, которую несли для пострижения в опочивальню к великому князю, и пришлось положить на него только переманатку и ряску. Реалистическая деталь вырастает из нарушения церемониала. Это значительно и в известной мере символично: отдельные элементы реалистичности противостоят церемониалу – все равно жизненному или литературному.

И вместе с тем повесть о смерти Василия III – это не простая фактография. «Повесть» хотя и описывает реальные события, действительно происшедшие, – памятные, известные, но она незаметно придает всему характер «действа». Перед нами смерть великого князя, а не рядового человека. Эта смерть могла бы быть и «чином кончины» – чем-то вроде чина свадебного или венчания на царство. Автор повести видит не только факты, но и величие фактов, их постепенность и степенность. Умереть внезапно, без покаяния, без прощания с близкими, без осознания самим умирающим значительности происходящего с ним, – считалось в Древней Руси величайшим несчастием. Описывая нарастание болезни, медленное движение к концу, автор повести о смерти Василия III делал кончину достойной великого князя, подчинял ее некоторому «идеалу смертного конца».

Вместе с тем церемониальное обряжение событий уже не удовлетворяет читателей, и писатели начинают вносить в свое повествование разнообразные детали, делающие изображаемое легко представимым. Повествование благодаря этому разрастается, усложняется и приобретает отдельные черты реалистичности.

Стремление к соединению истории в единую причинно-следственную связь, к стилистическому объединению рассказа, к связному повествованию было настолько волевым, что выражалось даже в грандиозной попытке к иллюстрированию истории в единой манере в многотомном «Лицевом летописном своде» XVI века. Единые приемы миниатюрных изображений должны были подчеркнуть единство истории. Если раньше в летописном повествовании прерывистость повествования, скачки от одного эпизода к другому, переходы повествования из одного княжества в другое должны были

изобразить незначительность того, что совершается в этом мире в противоположность единственно значительному – вечности, то теперь наступила пора, когда подчеркивалось обратное – значительность всего того, что совершается в этом мире, целенаправленность мировой истории, устремляющейся к вечности. Раньше все земное было незначительно, а значительным считалось лишь то, что свидетельствовало о вечности. Теперь выявлялось обратное – земное стало значительным, как содержащее в себе вечное, божественную волю, вечное же находило себе выражение в мелочах и случайностях исторического процесса.

Если раньше прошлое представлялось как некая россыпь событий, а исторические сочинения (и в первую очередь летописи) излагали историю фрагментарно, то теперь, в XVI веке (а отчасти и раньше), историю стремились превращать в связное и сюжетное повествование. Это вызывало необходимость в ее делении на историю княжеств, городов, стран, отдельных князей. Жизнь человека также стала иметь свою «судьбу», целенаправленность. Появилась потребность в создании истории как цепи биографий и биографии соединять в историю страны («Степенная книга»), излагать историю княжений или царств.

В последующее время – в начале XVII века, в годы Смуты, поняли, что в истории есть борьба – соединение судьбы и воли людей, появились представления о роли народа, народных масс, восстаний, земских соборов и пр. Появилось и представление о двойственности натуры человека, о совмещении в нем злых и добрых черт. Пока же, в середине XVI века, это движение к новому историческому сознанию совершалось в относительно простом.

Середина XVI века была ознаменована в русской истории присоединением Казани, а в истории литературы – в основном созданием такого эпохального произведения, как «Казанская история». «Казанская история» не только самый значительный памятник середины XVI века по своим художественным достоинствам и достоинствам исторического источника, не знающего себе равных по количеству сведений, сообщаемых им о присоединенном Казанском царстве, но и памятник, вобравший в себя многие новые черты литературы.

В истории литературы мы можем наблюдать периоды, которые проходят как бы под сенью одного какого-либо автора или одного какого-либо произведения. Так, например, «Повесть временных лет» осветила собой целую эпоху. Возникла она в начале XII века, но разошлась по произведениям всей Руси и жила в списках, переработках, цитатах — пять веков по крайней мере.

Конечно, «Казанская история» не может сравниться с «Повестью временных лет», но в ней самой жила литература предшествующих четырех с половиной веков в цитатах, заимствованных формулах, а главное — в идеях. При этом «Казанская история» «заглянула в будущее»: она ярко представила все те прогрессивные особенности литературы, которые разовьются в литературе второй половины XVI и XVII веке.

Что же это за особенности? Во-первых, развивается личностное, авторское начало в произведении. Автор сообщает о себе биографические данные, что раньше делалось исключительно редко и скупо. Во-вторых, происходит усложнение рассказа и усложнение авторского отношения к описываемому. Эти усложнения частично объясняются необычной судьбой автора «Казанской истории», но в целом они становятся в какой-то мере характерными для русской литературы и знаменуют собой более широкое и более свободное ви́дение мира.

Какие же события в жизни автора «Казанской истории» способствовали появлению в ней новых черт, характерных для литературы его эпохи?

Автор был пленником в Казани, принял магометанство и получил почетное положение при дворе казанского хана Сап-Кирея. Он пишет: «И взятъ мя к себѣ царь с любовию служити во дворъ свой, и сотвори мя пред лицемъ своимъ стояти. И удержану ми бывшу тамо у него двадесятъ лѣтъ в пленении. Во взятие же казанское изыдохъ ис Казани на имя царя и великаго князя. Онъ же мя ко христовѣ вѣре обрати и ко святей церкви приобщи, и мало земли удѣла даде ми, яко да живъ буду, служа ему».

Двадцатилетнее пребывание в Казани не только в приближении ко двору, но и «при бесѣде со мною и мудръствующих честнѣйшихъ казанцев» дало ему знание истории Казанского царства, осведомленность во всех дворцовых делах

и интригах, в бытовой обстановке, хорошую ориентировку в расположении Казани и окрестных мест.

Заметно различие в осведомленности автора. То, что происходит в Казани, он знает в большинстве случаев как свидетель или долголетний житель Казани. То же, что происходит в Москве, он по большей части сочиняет по литературному этикету своего времени.

Автор давно интересовался историей Казани. Еще находясь на воле, на Руси, он расспрашивал «искуснейших (то есть наиболее осведомленных. — *Д.Л.*) людей, рускихъ сыновъ», но одни «глаголаху тако, инии же инако, ни един же вѣдая истинны». Только попав в плен и служа при дворе у «царя казанского», автор получил возможность удовлетворить свою любознательность, и не только, по-видимому, на основании устных источников. Его сведения отличаются относительной точностью — поскольку эта точность вообще была возможна при состоянии исторических знаний в XVI веке[1].

Наконец, соучастие в казанской жизни и дружеские связи с казанцами позволили ему судить о них более объективно, чем судили обычно русские книжники о врагах Руси. Он и сочувствует казанцам по-человечески, и восхищается красотой города, и с полной лирической самоотдачей передает или даже сочиняет от себя слова плача о Казани казанской царицы Сююмбеки. Этот плач приурочен автором к тому моменту, когда Сююмбеку выводили из Свияжска, чтобы отправить в Москву, и перед ней открылся потрясающий по красоте вид на Казань. Плач в виду Казани должен был производить особенно сильное впечатление на тех читателей, которые знали этот открывающийся обзор.

Автор «Казанской истории» все время колеблется между сочувствием казанцам и необходимостью признавать их врагами Русского государства. Иногда он прибегает даже к житийным шаблонам в отношении Казани и казанцев. Вот характерный пример. Подобно тому как в житиях основателей монастырей воспевается красота места, выбранного святым для монастыря, так и в «Казанской истории» говорится о поисках подходящего места для строительства города царем Са-

---

[1] См. рецензию М.Г. Сафагалиева на издание «Казанской истории» Г.Н. Моисеевой 1954 г. (Вопросы истории. 1955. № 7. С. 148–151).

ином Болгарским: «И поискавъ царь Саинъ, по мѣстомъ преходя, и обрѣте мѣсто на Волге, на самой украине Руския земли, на сей странѣ Камы рѣки, концемъ прилежащи х Болгарстей земли, а другимъ концемъ к Вятке и къ Перми, зело пренарочито: и скотопажно, и пчелисто, и всякими земляными сѣмяны родимо, и овощами преизобилно, и звѣристо, и рыбно, и всякого угодия житейскаго полно — яко не обрѣстися другому такому мѣсту по всей нашей Руской земли нигдѣ же точному красотою и крѣпостию, и угодием человеческим, и не вѣм же, аще будетъ как и в чюжих земляхъ».

Освобождение Василия III из казанского плена казанским царем Мамотяком за большой выкуп автор комментирует как благое деяние казанского царя: «Милуетъ бо и варваринъ, видя державнаго злостражуща».

Автор восхищается Казанью и казанцами: «Град же Казань зѣло крѣпок, велми и стоить на мѣсте высоце...» Казанцы же «умѣние велико имущи ратоватися во бранѣх. И не побѣждени бываху ни от киих же, и мало таковых людей мужественых и *злых* во всей вселѣнней обрѣташеся». Подчеркнутое слово могло бы и отсутствовать, оно этикетно, но без него вся характеристика могла бы быть обращена к русским, а не к их врагам. Автор ссылается затем и на собственные к Шигалею чувства — «жалость бо ми душевная и сладкая любы его ко мнѣ глаголати о немъ и до смерти моея понужает». Воздав хвалу казанскому царю Шигалею, автор пишет: «Да никто же мя осудит от вас о семъ, яко единовѣрных своих похуляюща и поганых же варваръ похваляющи: таков бо есть, яко и вси знают его и дивятся мужеству его, и похваляют».

В одной и той же фразе автор «Казанской истории» называет Казань и «презлым царством сарацынским» и «предивной Казанью» — без единой оговорки.

Знание истории Казани, событий последних лет, топографии города и его окрестностей оказалось тем более ценно, что автор «Казанской истории» был весьма образован и в русской литературе. В его произведении ясно ощутимы реминисценции из «Слова о Законе и Благодати», «Повести временных лет», «Жития Александра Невского», «Слова о погибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем», «Сказания о Мамаевом побоище» и мн. др. Его военная терминология и отдельные образы близки с теми, что знакомы нам по «Слову

о полку Игореве». Здесь и сравнения с пардусами, и отдельные выражения, близкие тем, что встречаются только в «Слове» («под меч подклонити», «намостить дебри, и блата, и езера, и реки... костми», «чаша, сетованием растворяема» и пр.).

Характерно и следующее. Автор «Казанской истории» определяет и тех, кому назначено его произведение, и характер своего исторического произведения. Адресаты его — это «братия наша, воини» и «простые» читатели. «История» обращена откровенно и прямо прежде всего не к служителям церкви, а к светскому читателю. Он надеется, что читатели его «от скорби своея применятся», то есть, очевидно, перестанут сожалеть о потерях своих родных и друзей, положивших головы свои за присоединение Казани. Произведение же свое он определяет как «сладкую повесть». Что значит «сладкая»? Означает это, прежде всего, то, что повесть эту «сладко читать» — она интересна и она литературно хорошо написана. Это не самооценка, это только определение характера повествования, к которому он стремился. «Казанская история» — сюжетна и украшена, — украшена прежде всего введением драматических ситуаций, блестяще переданными или сочиненными длинными речами действующих лиц (в этих речах прежде всего сказалась вымышленность, авторское воображение).

То обстоятельство, что автор «Казанской истории» воздает должное казанцам, их мужеству, любви к своему городу, уму и сообразительности (хотя в конечном счете они в основном ошибаются, не идя на добровольное подчинение Москве), лишь усугубляет драматизм повествования.

Значительность события присоединения Казанского царства к России определялась значительностью самой предшествующей истории Казани. Это не просто присоединение к России стратегически важного пункта: это слияние историй! И с этой точки зрения чем многозначительнее была история Казани, тем более пышным и важным оказывалось и само присоединение. Церемониальное по своей сути литературное произведение, «Казанская история» сама становилась частью гораздо большей церемонии — церемонии присоединения Казанского царства. Она была так же важна в этой церемонии, как и построение в честь взятия Казани церкви Василия Блаженного. И если последняя своей нарочитой и необычной пестротой как бы подражала Востоку, выражала своей архитек-

турой представление Москвы о «стиле Востока», то «пестрая» в своем отношении к казанцам и Казани «Казанская история» выражала противоречивые чувства автора: радость от присоединения Казани и уважение к ее истории, как бы признание ее исторической самостоятельности.

Другой памятник, который чрезвычайно характерен для середины XVI века, – это «Домострой». Перед нами унификация, идеализация и поэтизация быта, доведенные до предела возможного. Это не просто сборник по большей части мелких практических советов – как солить рыжики, или наказывать слуг и детей, или как класть чистую посуду, ложки и плошки, – обязательно «опрокинуто ницъ». Нет, это и более широкие рекомендации – как устроить свой дом так, чтобы в него было «как в рай войти» (§ 38). В «Домострое» перед читателем развертывается грандиозная картина семейного идеального быта и идеального поведения хозяев и слуг.

В отличие от своего предшественника – «Измарагда», возносившего идеал человека до требований, которые могли относиться только к святому, «Домострой» рассказывает и о поварне, и об укладках, и о хранении запасов: о делах и быте, вполне светских и жизненно мелких.

Идеал «Домостроя» – это идеал чистоты, порядка, бережливости, почти скупости, и вместе с тем гостеприимства, взаимного уважения, а одновременно и семейной строгости – запасливости и нищелюбия. И это в целом идеал трудовой жизни. И слуги и сама «государыня» (госпожа) должны не сидеть без дела – даже когда «мужь ли придет, гостья ли обычная» – «всегды бы над рукоделиемъ сидѣла сама». Иное дело – гость «необычный», то есть знатный, – тут уж сами обязанности хозяйки становились трудом, и подчас тяжелым.

Упорядоченность быта оказывалась почти обрядовой, даже приготовление пищи – почти церковным таинством, послушание – почти монастырским, любовь к родному дому и хозяйствование в нем – настоящим религиозным служением.

Степенность во всем! Нарушения домашнего обряда – почти церковный грех. Случаи недорода, дороговизны смягчены вовремя сделанными домашними запасами. Домашняя жизнь не замкнута своим двором, ибо предусмотрена помощь соседям и соседская помощь. В «Домострое» пишется и о том, как давать в долг, как сохранить ношенное, чтобы отдавать сиро-

там — особенно детям. Важное место в «Домострое» занимали статьи: «Какъ всякое платье кроити и остатки и обрески беречи» или «какъ платья всякое жене носити и усъгроити». Старые вещи надо беречь, хранить их чисто и «поплачено», то есть в заплатанном виде, — «ино сироткам пригодитца». Осуждается в «Домострое» злоупотребление правом неволи (не само право неволи в его разных видах, — а лишь та бесчеловечность, которая может быть с ним связана). Этому посвящена особая статья — «Аще кто слугъ держит без строя». Нельзя, чтобы служанка, «у неволи заплакав», стала «лгать, и красть, и блудить», а «мужик» «и ро́збивать, и красть, и в коръчме пити, и всякое зло чинити». В быту без слез не обойдешься, но «в неволе заплакать», видимо, считалось особенно тяжелым.

Указывал «Домострой» и как наказывать, а после наказания непременно пожалеть и простить, чтобы наказываемый не затаил в душе обиды. А побить его следует «не перед людьми», а тайно, чтобы не оскорбить особенно. «А по всяку вину по уху ни по видѣнью (то есть по глазам. — *Д.Л.*) не бити, ни под серцо кулаком, ни пинком, ни посохомъ не колотить, никакимъ железнымъ или дѣревянымъ не бить» (§ 38).

Если помнить об общей грубости семейных нравов, то нельзя не признать, что «Домострой» стремился к смягчению этих нравов, — стремился умно, давая тонкие, психологически обоснованные советы, прибегая к примерам и формулируя советы просто, а иногда и пословично (конец § 38).

Идеал — это, конечно, не реальность. Но идеал — великий и бесценный регулятор жизни. А если этот регулятор доведен до дома, до семейной жизни, входит во все мелочи быта, личного поведения в семье и в доме и во всем требует «знать меру», — то идеал, им проповедуемый, становится уже почти реальностью. Перед нами своеобразная «поваренная книга» русского быта.

В художественном же отношении «Домострой» рисует быт русских людей XVI века в различных мелочах, ибо, рассказывая о том, какой должна была быть жизнь, он давал понять и о том, в чем заключались ее нарушения, очевидно, не такие уж редкие.

Спрашивается — жизнь каких классов населения пытается регламентировать «Домострой»? Конечно, в первую очередь — имущих, зажиточных и даже весьма зажиточных.

Двор, который описывается и устраивается в «Домострое», — это двор и боярский, и купеческий, и, может быть, даже еще выше — княжеский. Но «Домострой» обращен и к тем, «у кого селъ нет» (§ 42).

Привлекает к себе внимание и указание по крестьянству: как кормить корову, как ее доить, «а самой руки умыти чисто», вымыть вымя у коровы, и «потиралцемъ чистымъ вытерть, и в чистомъ мѣсте издоить, и во всяком бережении» корову сохранить (§ 42). То же пишется и о «лошадках» (оцените это ласкательное слово!), и о коровках, и о кобылках, и о телятах, и о ягнятах, и о курах, и о гусях, и свиньях, и утках.

Заботой о неимущих людях проникнуты и советы «Домостроя»: как добыть запас, чтобы он не был «втридорога, а не милой кусъ». «Милый кус» — это тот товар, что действительно надобен и по вкусу (§ 43).

Древняя Русь знала разграничения между классами не в характере быта, как это стало в послепетровской Руси, а, главным образом, в степени накопленных богатств, в наличии слуг и величине хозяйства. Поэтому кое в чем идеал, нарисованный «Домостроем», мог быть и идеалом крестьянства, хотя и успевшего сильно обнищать при централизованной власти.

Как бы чувствуя недостаток духовности в «Домострое» (а этот недостаток и сделал его в XIX веке символом ретроградности в жизни), составители заканчивают его наставлением для души. Автор «Домостроя» понимал, что жизнь не может ограничиваться заботой о материальных и бытовых благах, о доме и о хозяйстве, а потому присоединил к своему сочинению наставление благовещенского попа Сильвестра возлюбленному его сыну Анфиму. Наставление это служит как бы духовной параллелью к остальному сугубо материалистическому тексту «Домостроя» и, возможно, составлено одним и тем же автором: уж слишком много — из основной части «Домостроя» и в его заключении — общих тем и выражений. Сильвестр нет-нет да сбивается на хозяйственные темы «Домостроя», хотя и пытается перевести их в план «духовности».

* * *

Литература в Средние века живет в полной мере произведениями, созданными и в предшествующие века. Эти произведения изменяются, дополняются, редактируются, приспосаб-

ливаясь к требованиям эпохи. Одним из таких произведений, жившим в течение нескольких столетий, был «Измарагд», созданный, по-видимому, еще в XIV–XV веках. «Измарагд» — первое систематическое наставление «как жить», но наставление по преимуществу духовное. Он расширялся, дополнялся, и одно из его наиболее интересных «расширений» относится как раз к рассматриваемому времени. «Домострой» оказался уже «Измарагда» как духовного наставления, зато гораздо шире в своих бытовых рекомендациях. И это очень типично. Жизнь должна была быть регламентирована во всех своих мелочах и бытовых подробностях. Даже опечатки и разночтения в рукописных книгах были опасны в культурной жизни, и вслед за попытками исправления текста священных книг, к которым был в предшествующий период привлечен афонский ученый — Максим Грек, теперь в целях предотвращения каких-либо расхождений в тексте учреждается книгопечатание.

Главная заслуга первопечатника Ивана Федорова в том, что он достиг идеала в книгопечатании: он выпустил книги, в которых был проверен и исправлен весь текст и в которых не было собственно опечаток: главное достоинство книг — достоинство, которого после Ивана Федорова никто уже не достигал. Единство, к которому устремлялась эпоха, было здесь выражено, может быть, определеннее всего.

Сам Иван Федоров достаточно хорошо понимал свою роль в истории русской культуры, снабдив свои главные издания пышными послесловиями, в которых он говорит как Бог и обращается к Богу как равный. Никогда после него (а до него вообще не было таких людей) ни у одного печатника не было такого высокого самосознания, как у Ивана Федорова. Он был и остается первым и потому, что первым создал печатание книги с таким безупречным искусством, и потому, что он первым оказался на высшей ступени своего мастерства: первым среди всех русских печатников.

* * *

История литературы не ограничивается литературой. В литературе есть сторона, обращенная к истории, так же как в истории — одна из сторон, обращенная к литературе.

В истории к литературе обращено ожидание будущего; в литературе же к будущему обращено ее лицо, — даже когда

она говорит о прошлом. Литература — выразитель настоящего, своей современности, современность же всегда глядит в будущее. В литературе действенны не только традиции, но и настороженный взгляд вперед. И это должно учитываться в литературоведении, в обобщениях, посвященных той или иной эпохе литературы.

Характеризованная нами эпоха, кульминацией которой было начало царствования Ивана Грозного, была полна столь напряженного ожидания окончательного разрешения всех проблем, что она не могла не кончиться в условиях феодализма трагическими последствиями. Там, где нет еще научного предвидения, а господствует мифологическое мышление, создающее свой миф будущего, попытка овладеть мифом, претворить его в жизнь не может не разочаровывать трагически. В мифологическом мировоззрении есть всегдашнее стремление остановить время, достичь идеального покоя и вечности. Но развитие неостановимо, в нем нет покоя и есть жертвы.

Чтобы понять середину XVI века, мы должны заглянуть и в близкое будущее этого движения к мифологическому идеалу, к той мифической модели, по которой должна была течь вся русская жизнь в эпоху безграничной феодальной монархии и безграничной «одинокой» власти единых представлений о жизни.

Мнимая близость идеала к осуществлению, конкретная подробность этого идеала выраженная во внешних и внутренних успехах, создавали нетерпение и нетерпимость, и обе они вместе в конце концов привели к деспотизму, который тем более оказывался жестоким, чем меньше его понимали подвластные люди — современники, а впоследствии историки. Грозный, полный надежд в начале своего царствования, стал затем свирепеть от бессилия, как можно скорее и полнее провести в жизнь идеал, и от непонимания того — почему это ему не удается, хотя все казалось ему таким ясным и необходимо понятным. Его подданные тем более были раздражающе пассивны, чем больше они не понимали того, чего от них хотят. *Единство* власти, сосредоточенной в руках одного «всесильного» монарха, оборачивалось одиночеством власти и связанным с этим *одиночеством* своеволием. Грозный же в конце концов не столько желал осуществления идеала, — он его во второй половине царствования почти и забыл, — сколь-

ко стремился осуществить свою полную власть над подданными — всеми: холопами и боярами, крестьянами и дворянами. Он обманчиво видел причину своих неудач в недостатке повиновения. Пассивность раздражала его больше, чем любое открытое восстание. Карающий меч Грозного каждый раз увязал в тине несопротивления, не встречая препятствий, которые могли бы оправдать силу его размаха. Грозный ломал то, что было мягко: он рвал то, что было несопротивляющимся; он с силой гнул то, что на самом деле гнулось легко. И при этом он постоянно считал, что неудача происходит от недостатка примененной силы. Он убирал советников и все более начинал страдать от одиночества безграничной власти. Было от чего стать неуравновешенным и сходить с ума.

Жестокость и нетерпимость власти вызваны были не только личными и случайными свойствами Ивана Грозного, как часто думают. Эта жестокость лежала в социальном порядке вещей: эпоха подошла к воплощению полной средневековой унификации, — подошла, но не могла ее до конца осуществить. Монархическая же унификация казалась крайне необходимой после мучительных столетий политических разладов и феодальной культурной раздробленности. Оставшееся для достижения идеала малое, казалось, уже не имело реальных сил для сопротивления. Но вот в этом-то и крылась ошибка. Сопротивление монарху, всякое проявление хотя бы небольшого произвола злило, вызывало жестокое подавление и вместо идеала усиливало деспотизм, а вместе с деспотизмом — произвол, дробление еще худшее, чем раньше, отделение и бегство из центра на окраины — на Север в леса и на Юг в степи, на Восток, — что привело к освоению Сибири, на Запад — для продления в Польско-Литовском государстве той культурной работы, которая оказывалась невозможной в центре. Иван Федоров продолжает печатать книги в Остроге и Львове, Андрей Курбский — охранять и насаждать православие в Польско-Литовском государстве и полемизировать с Грозным, упрекая его за жестокость по крупным и мелким поводам.

Мелочи в конце концов стали мстить за себя и превратились в крупнейшие препятствия на пути к мифологическому идеалу всеединства, к которому стремился не один Грозный. Но об этой последней неудаче — в следующем томе наших «Памятников литературы Древней Руси».



На пути к новому литературному сознанию

Вторая половина XVI века

Литература никогда не прекращает своего поступательного движения, однако в этом своем поступательном движении она различно соотносится с действительностью.

Если литература предшествующего времени приобретала государственное значение благодаря общественной весомости поднимаемых ею вопросов, то во второй половине XVI века государство, организуя огромные литературно-официальные предприятия – летописные своды, «Великие Четьи-Минеи», «Степенную книгу» и пр., сделало литературу своей служанкой, создало официальный стиль второго монументализма, отличавшегося пышностью, парадностью, традиционностью форм и главною целью: прославлять, возвеличивать, оправдывать прошлое и настоящее. Так, например, «Степен-

---

Публ. по: На пути к новому литературному сознанию // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI. М.: Худож. лит., 1986. С. 5–14.

ная книга» была посвящена росту и восхождению русского государства и русской церкви по ступеням лестницы, ведшей к росту значения русской истории в мировой. Другое большое собрание сочинений, созданное в середине XVI века, – «Великие Четьи-Минеи» предлагали читателям годовой круг ежедневного чтения, создавая из огромного числа включенных в этот круг произведений как бы венок и венец благочестивых размышлений протяженностью с год, с окончанием которого этот круг чтения должен был повторяться. Третье большое литературно-историческое и живописное предприятие середины XVI века «Лицевой летописный свод» выходил за пределы только чтения и создавал из мировой и русской истории единый грандиозный зрительный ряд, придавал наглядность историческим событиям. Читателям надлежало не только понимать происходившее в его официальных толкованиях, но даже зрительно представлять себе историю в определенных и единообразных образах, в которых каждое событие было запечатлено в стилистически едином ряду во многих своих моментах (одна миниатюра могла в единой композиции изображать несколько эпизодов: приготовление к походу, выступление войска, путевые происшествия войска и пр.).

При всей грандиозности сочинений и их книжных собраний, созданных в стиле и идеях «второго монументализма», темы их оказались довольно быстро исчерпанными. Одна узкая точка зрения и один-единый принцип в выборе рекомендуемых произведений крайне сужали написание новых произведений и составление новых компиляций. А «Лицевой свод» пришлось даже неоднократно исправлять в его последней части – в зависимости от изменений официального отношения к тем или иным последним событиям и их участникам.

Есть эпохи, в которые литература, казалось бы, слабо развивается, – нет признаков «большой литературы», заметно уменьшается число произведений и писателей, не возникают новые большие темы, не появляются новые крупные писатели. Как будто бы силы общества отвлечены на другие заботы. Однако в литературе никогда не бывает простого отступления назад. Старые литературные произведения продолжают читаться, и в тех жанрах, в которых возникают новые произведения, продолжается подспудное движение

вперед. Культура не может отступать, ибо она движется вперед путем накопления ценностей. Накопления же не пропадают. Они становятся иногда менее доступными, но и только. Так было в эпоху монголо-татарского наступления на Русь. Летописание в тот период, кажется, свелось к отдельным местным записям, но зато развился жанр воинских повестей и житийный.

Очень часто литература той или иной эпохи идет под знаком одного писателя или даже одного произведения. Вторая половина XVI века обозначена для нас полемикой Ивана Грозного с потомком ярославских князей московским боярином князем-изменником Андреем Курбским. Именно эта полемика рельефнее всего представила в литературе особенности ее времени. Два голоса этих полемистов звучат поверх всех остальных. Остальные же и не могли быть значительны. Грозный принял на себя ответственность за решение всех политических и нравственных вопросов своего времени. Рядом с Иваном Грозным не могло быть других взглядов. Грозный полагал, что только он один как «помазанник Божий» может судить людей и историю. В его царстве никто не смел высказывать иных суждений, — суждений, не согласных с тем, что утверждал Грозный. Культура во всех своих проявлениях приобрела монологический характер. Только за границами России бежавший из нее и там волей или неволей переставший себя ощущать русским, князь Курбский решился полемизировать с Грозным. Однако, находясь вне России и даже командуя одно время войсками против Грозного, он лишил себя твердой моральной позиции и принужден был выступать не столько за интересы России, сколько за свои личные. И все ж таки под пером Курбского многие из его личных обид становились общественными явлениями, а через крайне субъективное могло выражаться объективное. То обстоятельство, что переписка Грозного и Курбского, особенно письма последнего, были известны лишь крайне ограниченному числу современников, не лишает ее показательности для своего времени. Оба высказывали свои взгляды не только в переписке, но и в своих многочисленных произведениях — Грозный в разнообразных посланиях и устных высказываниях, Курбский — в «Истории о великом князе московском» и в других сочинениях. Оба были крупнейшими фигурами на общест-

венной арене своего времени, выразителями характернейших взглядов: первый — приверженцев сильной царской власти, второй — оппозиционных слоев населения, и в первую очередь — боярства.

Тем не менее развитие литературы шло своим путем, и у обоих полемистов, сколь ни неприятны были бы они нам как личности, определились черты будущего в литературе. Главное, что обнаружилось по обе стороны государственной границы, — это развитие личностного начала в русской литературе. Оно сказывалось и в политических, и в идейных позициях, и в стиле произведений обоих.

Несмотря, однако, на то, что напряженность споров и их эмоциональность сравнительно с полемиками первой половины XVI века сильно возросли, уровень споров резко снизился, а темы их значительно сократились. О чем, в сущности, спорили Грозный и Курбский? Грозный доказывал свое право казнить и миловать своих подданных. Доказательств этого права он почти не предъявлял. Он требовал верить ему в этом и бранил противников. Никакой особо новой, чем-либо замечательной концепции своего самодержавного права создано им не было. Все аргументы его примитивны и однообразны. Курбский, опровергая это право Грозного и упрекая его в грубых жестокостях, хотя и был с моральной точки зрения более убедителен в этих упреках, не противопоставил Грозному своей собственной теории государства. Он утверждал лишь, что в первый период своего царствования, слушая умных советников, Грозный не совершал зверств и даже одерживал победы над внешними врагами. Однако концепция его не может сравниться с прежними, превосходно аргументированными «программными» предложениями Ивана Пересветова или с философией Ермолая-Еразма и многих других публицистов и философов первой половины XVI века.

Продвижение вперед в литературе может быть усмотрено лишь во второй, «формальной» сфере литературы, — в сфере господствующих стилей. Главное явление, на которое в этом отношении следует обратить внимание, — это значительный рост индивидуального начала в стиле произведений. Индивидуальные особенности стиля, поднявшиеся над жанровыми трафаретами, были уже в достаточной мере ясны у обоих главных антагонистов эпохи — Грозного и Курбского.

Переписка Грозного с Курбским часто трактуется как выражение борьбы нового со старым. При этом Грозный оказывается выразителем нового, государственного начала, а Курбский – старого, родового. Но политические взгляды обоих были лишены сколько-нибудь четкой ориентации на будущее. Что же касается их места в истории литературы, то черты будущего ярко сказываются у обоих, как мы уже сказали, в усилении личностного начала, но не в появлении новых сильных идей.

Стиль Грозного – как бы часть его поведения в жизни. В жизни Грозный то переодевался со своими опричниками в монашеское платье и глумился над церковными обрядами, то благочестиво пел на клиросе в церкви. Он то отказывался от своей царской власти и сажал на престол татарина Симеона Бекбулатовича, зловеще напоминая этим о трехсотлетнем чужеземном иге, и писал Симеону Бекбулатовичу лицемерно-униженные челобитные, то упивался властью и массами казнил людей. Он постоянно переходил от одного чувства к другому: от торжества к крайнему раскаянию, от веселья к горю, то дразнил, то впадал в ярость и т. д. Поразительно, что в своих произведениях Грозный был таким же, как и в жизни. Изумительный мастер языка, то до крайности резкий и гневный, то лирически приподнятый (как, например, в своем завещании 1572 года), то подавленный страхом смерти и манией преследования (в своем каноне Ангелу Грозному), то изощрявшийся в «кусательном стиле», спускавшийся до грубой брани, то мастер высокого церковно-славянского стиля, стремящийся подавить своего читателя эрудицией, – таков Грозный в своих произведениях, этот самовозбуждающийся и ни с чем не считающийся тиран как на троне, так и в обличии писателя.

Свое Послание игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козьме Грозный начинает очень книжно, а затем постепенно, как бы не выдерживая своей роли наставника, переходит в тон самой непринужденной беседы: беседы страстной, иронической, почти спора. Он призывает в свидетели Бога, ссылается и на живых свидетелей, приводит факты, имена. Его речь становится нетерпеливой. Он сам называет ее «суесловием». Как бы устав от собственного многословия, он прерывает самого себя: «что же много насчитати и глаголати»,

«множае нас сами весте» и т. д. Грозный не стесняется бранных выражений, обычно им употребляемых: «собака», «собачий», «пес» и пр. Он употребляет разговорные выражения: «аз на то плюнул», «а он мужик очюнной врет, а сам не ведает что». Он пользуется поговорками, пересыпает речь восклицаниями: «ох!», «увы!», «горе ей!». Он часто непосредственно обращается к читателям: «видите ли?», «а ты, брат, како?», «ты ж како?» и пр. Разнообразие его лексики поразительно.

Те же черты литературной манеры Грозного мы наблюдаем и во всех других его произведениях. Во многих письмах к иностранным государям, частично явно написанных не им, можно определить, однако, немало страниц, принадлежащих самому Грозному. Эти страницы опознаются по властному тону, по живой игре характерного для Грозного остроумия, по стилю грубой, сильной и выразительной речи. Одним словом, в произведениях Грозного мы ясно видим все признаки индивидуального стиля.

Характерно и следующее. Пародия возникает в литературе тогда, когда ясно определяются признаки жанрового или индивидуального стиля. Появление пародии — знак осознания стиля как явления, существующего в какой-то мере независимо от содержания, как бы присоединяющегося к содержанию, ибо в пародии главный ее смеховой эффект состоит в несоответствии содержания форме, стилю, содержанию жанра. У Грозного есть послания, целиком выдержанные в тоне пародии. Таково, например, его знаменитое послание Симеону Бекбулатовичу. Послание это — только одно из звеньев политического маскарада, который Грозный организовал, передав свой титул касимовскому хану Симеону Бекбулатовичу. Грозный в подчеркнуто притворном, униженном тоне называет себя «Иванцем Васильевым», просит разрешения у новопоставленного «великого князя всея Руси» Симеона «перебрать людишек», то есть учинить расправу над неугодными ему людьми.

Читая послания Грозного, иногда приходит на ум предположение, что яркостью индивидуального стиля Грозный как бы прикрывал отсутствие убедительных и аргументированных идей. В самом деле, что за «идея» — неустанно, многократно и однообразно твердить о своем полном праве творить все что угодно со своими подданными, — даже при том, если пово-

ды к этим жестокостям явно несправедливы. Доводы только те, что творятся эти несправедливости «по прародителей своих обычаю» и что право на них утверждено якобы Писанием: «Се бо есть воля господня — еже, благое творяще, пострадати. И аще праведен еси и благочестив, почто не изволили ести от мене, строптиваго владыки, страдати и венец жизни наследити?» Долг, следовательно, подданных — страдать и терпеть даже несправедливые наказания от своего владыки, а воздаяние получать на том свете: там можно за эти муки и «венец жизни наследити», то есть стать святым мучеником.

Было бы неправильно сводить всю проблему появления индивидуального авторского стиля у Грозного к тому, что он как своенравный самодержец позволял себе не считаться ни с литературным этикетом, ни с канонами жанров. Владимир Мономах также обладал главенствующим положением в государстве, однако если и отступал от особенностей поучения, или от летописного стиля в своей автобиографии, или от типа посланий в своем письме к Олегу Святославичу, то как бы помимо своей воли. Между тем Грозный часто менял свой стиль, приноравливаясь к случаю, к адресату, к своим собственным намерениям как можно больнее ужалить своего противника.

С князем-изменником Курбским он — властный самодержец, с участником его потех Васюткой Грязным, попавшим в плен и требующим выкупа, он — глумливый хозяин, с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Козьмой он — сперва монах, потом — жестокий разоблачитель, с проповедником лютеранства Рокитой он — дерзкий спорщик и защитник православной веры, с посаженным им «царем» Симеоном Бекбулатовичем он — притворный челобитчик, в своей молитве к Ангелу Грозному он — преисполненный страха смерти молящийся, в посланиях к Елизавете Английской или шведскому королю Юхану III он — многоопытный властитель могущественного государства. Он издевается, зло шутит, иногда даже бранится. Он актер — всегда иной и всегда тот же самый. Особенность его литературной манеры — в умении создавать свой собственный образ, каждый раз иной и одновременно в чем-то прежний.

Он пишет то от себя, то от имени бояр, то под псевдонимом Парфений Уродивый. Обычно жанры, в которых высту-

пает Грозный, – это послания, письма, «челобитные», то есть жанры прямого обращения к читателю. Это жанры, в которых на первый план выступает спор, обличение, утверждение своей правоты. Письма и послания входили в его арсенал как правителя.

Если индивидуальный стиль произведений Грозного был частью или одной из форм его поведения, то стиль произведений Курбского был как бы производной его жизненных обстоятельств. Различие, казалось бы, небольшое, но существенное по результатам. Индивидуальный стиль Курбского не так резко менялся. Он был индивидуально стабилен и связан с его стремлением найти свою «позицию» в жизни.

Курбский стал писателем, бежав за рубеж и изменив родине. Ему надо было оправдать себя в глазах общественного мнения в России и в Польско-Литовском государстве. Больше того – ему надо было оправдать себя в своих собственных глазах, ощутить свое право на позицию моралиста и нравоучителя. Его писания были самооправдательными документами, в которых он позировал перед другими, перед своими читателями, но прежде всего перед самим собой. Различие заключалось не столько в меньшей «гибкости» стиля Курбского, сколько в разной степени талантливости обоих. Грозный был несомненно талантливее Курбского и соответственно более решителен в выборе стиля, языка и в нарушениях жанровых традиций, чем Курбский.

Читатель вправе спросить: если в выборе стиля у этих двух писателей, Грозного и Курбского, играли такую роль их поведение и их жизненные позиции, то разве не было до того писателей с такими же яркими (или сугубо мрачными) судьбами и почему выработались у них эти индивидуальные черты стиля? Все дело, конечно, в том, что в истории литературы внешние обстоятельства начинают играть решающую роль тогда, когда они подготовлены всем предшествующим процессом развития литературы и когда они оказываются поэтому способными выполнить свою роль. Литература шла по пути индивидуализации, к развитию индивидуальных стилей. Несколько позднее этот же путь индивидуализации приведет литературу к появлению в ней индивидуальных характеров персонажей, к возникновению в литературных произведениях ярких человеческих образов.

Князь Курбский был плодовитым писателем. Однако не все им написанное выявлено и еще меньше издано. Среди наиболее известных его сочинений — его письма к Грозному и своеобразное продолжение этих писем — его «История о великом князе московском», где в основном продолжаются те же темы и где Курбский уже обращается не только к Грозному, но и к многим читателям в Польско-Литовском и Русском государствах. Известны несколько писем Курбского в Псковско-Печерский монастырь. Писал Курбский и к Константину Острожскому, и к Марку, ученику еретика Артемия, и к Кузьме Мамоничу, и к Кодияну Чапличу, и к пану Федору Бокею, и к княгине Чарторыйской, и многим другим. Он переводил Цицерона, Иоанна Златоуста, Дионисия Ареопагита (что совсем сложно), в особых сочинениях защищал православие от униатства в Литве, составлял богословские сочинения и пр.

В известной мере Курбский был «перевертнем», вынужденным приспосабливаться к меняющейся обстановке, менять характер своего стиля и языка, систему аргументации и пр. Один свой лик он являл русским читателям, другой — западнорусским. По отношению к Грозному он стремился занять позу человека более образованного, изобразить себя человеком утонченной западной культуры. Курбский упрекал Грозного не только в «варварстве», но и в литературной неумелости, необразованности и отсутствии литературного вкуса. Себя Курбский стремился изобразить человеком западной просвещенности и цитировал для этого не только отцов церкви и церковно-авторитетные тексты, но и античных авторов. В своем Втором письме к Грозному Курбский явно придерживался правил латинских риторик и эпистолографии гуманистов. Он знал, очевидно, учебники эпистолографии, и в частности руководство Эразма Роттердамского. Исходя из предлагаемых им правил, он и упрекал Ивана. Одним из главных достоинств писем считалась, например, их краткость. Он насмехался над Грозным за то, что он этой краткости не придерживался, и его послание явилось «широковещательное и многошумящее». С высот своей новой образованности он поучает Грозного, что не следовало бы ему писать такие неискусные письма «на чюждую землю, идеже некоторые человецы обретаются, не токмо в граматических и риторическихъ, но и в диалектических и философских ученые».

Со свойственным многим эмигрантам стремлением подчеркнуть свое былое высокое положение на родине Курбский хвастает и своей родовитостью, и своим прежним значением в России при Грозном.

По мере того как Курбский осваивался со своей новою родиной, он пишет о России как о посторонней для него стране: «тамо есть у вас обычай», называет русских бояр «велицые гордые паны, по их языку боярове» и т. п. При этом в язык Курбского постоянно входят полонизмы, а великорусскую речь он называет «их языком» — языком московитов. Следовательно, появление полонизмов в его речи вполне сознательно.

Характерна его биография Грозного, изложенная им в «Истории о великом князе московском». В русской литературе до Курбского не было жизнеописания обличительного характера. Были жития святых, ставившие себе целью прославление своего «героя». В поисках способов обличительного изложения жизни Грозного он отталкивается от житийного жанра и строит жизнеописание как своеобразное «антижитие». Курбский начинает «житие» Грозного с привычных для московских агиографических трафаретов, только перевертывая их значение, демонстрируя в «житии» Грозного прямо противоположные святому начала. Все начало жизнеописания Грозного — это «житие» по жанру, но перевернутое, как бы опрокинутое в зло. Сам типичный перевертыш, Курбский и это свое произведение строит в «перевернутом» строе — стиле антижития. Он как бы «паразитирует» на традиционном жанре, разрушая его. «Разрушительная» работа Курбского в известной мере была необходима в историко-литературном процессе. Доказательства этому в следующем периоде, когда писателям приходилось характеризовать деятелей Смутного времени не только как святых и героев, но во всей их сложности. Но об этом в дальнейшем... В истории литературы иногда расшатывание старых литературных форм имеет значение для созидания новых. Даже не стремясь к новшествам, Курбский разрушал жанровую систему древнерусской литературы. «История о великом князе московском», начатая сначала как своего рода «антижитие», затем переходит от одного жанра к другому, и в результате невольно создалось произведение, выходившее за пределы любого из древ-

нерусских жанров. Задача, поставленная Курбским, заставляла его охватывать жизнеописательную тематику, послания, воспоминания, историю царствования Грозного и просто перечень его преступлений, ставший вместе с тем как бы и перечнем мучеников тирании Грозного. Немалую роль в создании этого многопланового и многожанрового произведения сыграла и постоянная перемена того воображаемого читателя, к которому обращался Курбский. То это был западнорусский читатель, которому он хотел разъяснить — почему он выехал из России, то это был сам Грозный, которого он разоблачал за глаза из своего безопасного зарубежного укрытия, но как бы и в глаза, прямо обращаясь к нему во втором лице. В моменты этих обращений Курбский, наверное, чувствовал себя очень смелым, нелицеприятным и прямым...

«История о великом князе московском» не участвовала в русском литературном процессе. Она не была известна на Руси в XVI веке, но тем не менее она явилась ярким свидетельством тех явлений, которые подспудно совершались в русской литературе — в первую очередь, показателем ломки традиций.

Хотя основные произведения эпохи сосредоточиваются вокруг двух авторов — Грозного и его противника Курбского, литературная жизнь продолжается в тиши монастырских келий, по большим общежительным монастырям и провинциальным городам. Велась работа переписчиков, составлялись новые редакции произведений — главным образом житийных, церковные службы. Сам Грозный был не чужд работы над второстепенными, не обращенными к политике произведениями. Грозный составлял церковные службы, сочинял к ним музыку, составил под псевдонимом Парфений Уродивый (этим псевдонимом Грозный пользовался и в других случаях) молитву «Ангелу Грозному», то есть ангелу смерти — Михаилу Архистратигу. Это произведение полно страха смерти и страха преследования: оно в высшей степени личное. В какой-то мере личные произведения писал и сын Грозного — царевич Иван Иванович. Ему принадлежат некоторые жития святых (например, «Житие Дмитрия Прилуцкого»).

Большое число огромных компилятивных литературных работ, которые стали появляться с середины XVI века, — летописные своды, Хронограф, «Степенная книга», «Великие Че-

тьи-Минеи» и т. д. — сделали возможным сосуществование под одним переплетом для одного читателя произведений, созданных в различные века и в различных стилях и в различных жанрах. Появилась своеобразная «терпимость» к форме. Это сказывалось и в отдельных вновь создаваемых произведениях: авторы заимствуют отдельные образы и целые пассажи из ранее созданных произведений. Впрочем, не следует думать, что авторы второй половины XVI века совершенно равнодушны к стилю своих произведений. И подборка старых произведений для новых компиляций, и заимствования из старых произведений идут по вполне определенной линии. Авторы строго официальны. Они всячески демонстрируют свое правоверие, любят объяснять события в чисто церковном духе, подчеркивают значительность происшедшего и упрямо нагнетают пышность и церемониальность — где только это представляется удобным. Этот период — период второго монументализма — в отличие от первого монументализма, характерного для домонгольского времени и имевшего строгие мировоззренческие истоки, был очень официален и, я бы сказал, в известной мере бездушен и трафаретен. Тем ценнее те проявления доброты, юмора и наблюдательности, которые прорывались сквозь застылые литературные трафареты официозных восхвалений или осуждений.

«Великие Четьи-Минеи» XVI века совсем не похожи на те позднейшие Четьи-Минеи, которые включали в свой состав по преимуществу жития святых. Состав «Великих Четьих-Миней» гораздо более разнообразен и велик.

В «Великие Четьи-Минеи» вошли и сочинения, написанные специально для них, и отдельные произведения из прологов, из патериков (Азбучного, Синайского, Египетского, Иерусалимского, Скитского, Сводного, Римского, Киево-Печерского), сочинения отцов церкви, воинская повесть Иосифа Флавия о разорении Иерусалима, Топография Космы Индикоплова, Кормчая книга и т. д. и т. п. Русским сочинениям в «Великих Четьих-Минеях» уделено немало места: здесь и произведения Кирилла Туровского, жития Бориса и Глеба, Ольги, Владимира, Хождение игумена Даниила, сочинения южнославянских писателей, работавших на Руси: Григория Цамблака, митрополита Киприана, Пахомия Логофета. В основном это было «мировоззренческое чтение», рассчитан-

ное на то, чтобы поднять значение и величие всего происходящего и существующего в мире, подчеркнуть пафосное значение жизни. Из разных эпох и из разных стилей выбиралось и включалось в «Великие Четьи-Минеи» все, что так или иначе было торжественным, монументальным, риторически приподнятым.

Впрочем, новые сочинения создавались, хотя и в ограниченном количестве, не только для больших компилятивных собраний вроде «Великих Четьих-Миней», но и по непосредственной местной необходимости в различных книжных центрах Руси.

Жития святых, имевшие местное значение, писались и по монастырям. Они имели локальное значение прославлять святых. Однако на периферии в связи с военными событиями создавались произведения и широкого, общегосударственного значения. Такова была составленная в Пскове «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков». Повесть эта описывала удачное отражение осады Пскова многонациональными войсками «семиградского воеводы» Стефана Батория и была в этом отношении очень важна для подъема духа русского народа (не только псковичей), угнетенного тиранией Грозного.

Характер повести в значительной мере продолжает «Казанскую историю» с тем только различием, что рассказа об истории города здесь не требовалось и русские занимали позиции осажденных, а не осаждавших.

«Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков», обширная и многоречивая, составленная, как и «Казанская история», очевидцем событий, медленно и обстоятельно развертывает действие в духе второго монументализма. Она превращает события осады и обороны Пскова в своеобразное действо, церемониал. Подобно тому как во время осады по стенам города совершался торжественный крестный ход, останавливавшийся на каждой башне для свершения молебна, так и в описании событий псковской обороны повествователь останавливается на каждом эпизоде, снабжая его отдельным заголовком и превращая каждый из этих эпизодов в своего рода молебное действо. Автор ведет свое повествование в настоящем времени, стремясь этим достигнуть наибольшей наглядности, представимости совершавше-

гося, как бы заставляя вглядываться и вслушиваться во все бывшее. Это новое представление о повествовательном времени — в будущем оно получит особое развитие в повествовательных жанрах конца XVI — начала XVII века.

Вся повесть включается в ритм: ритм эпизодов, ритм повторяющихся синтаксических отрывков, ритм глагольных рифм и просто ритм настроения военных событий — и медленных и сокрушительных одновременно, больших масс войска и больших объемов наступательных и оборонительных работ.

Война — это прежде всего тяжелая работа, гигантская организация этих работ, смерть на посту. Это новое представление о войне; его появление связано со «Сказанием о Мамаевом нашествии» и «Казанской историей». «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков» — своего рода связующее звено между воинскими повестями прошлого времени и повестями начала XVII века о крестьянской войне и польско-шведской интервенции. Обращаясь к традиционным формам исторического и воинского повествовательного жанра, «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков» подготавливала вместе с тем тот жанр повествования, который окажется в силу ряда обстоятельств наиболее действенным в последующую эпоху.

Немалую роль в «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков» играют церковная фразеология и церковная форма, особенно в конце произведения, где автору было необходимо подчеркнуть значительность победы русского оружия и придать торжественность изложению. Для того чтобы понять эту особенность, необходимо вспомнить слова Ф. Энгельса о преобладающей роли церковной идеологии в европейском Средневековье, сказанные им в работе «Крестьянская война в Германии»: «А это верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности было в то же время необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя»[1].

Облекая чисто светские (а порой и еретические) мысли в церковные формы, средневековые авторы, особенно в пе-

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 7. М., 1956. С. 360–361.

риод господства стиля второго монументализма, использовали церковные элементы в своих произведениях как орнаментику, украшение. Это была своего рода церемониальность, необходимая в древнерусской эстетике в самых различных искусствах. Церковные формы нужны были для придания изображению торжественности — примерно так же, как в поэзии XVIII и XIX веков церковнославянизмы служили «высокому стилю», отличали поэтическую речь от обыденной.

Следует отметить, что церковность во все времена — а порой и в различных географических зонах Руси — была несхожей, различной. Церковность XI века резко отличалась от церковности XVI века не только в своих формах, но и в общественных функциях. Церковь Новгорода Великого была иначе организована, чем церковь Москвы. Единого суждения о церковности и о ее роли в литературе вынести невозможно: это было бы просто антиисторично.

Эстетика Древней Руси представляла собой сложный сплав русских народных мотивов с южнославянскими, эллинистическими и церковновизантийскими. Кроме того, в древнерусской культуре в сложном синтезе (и каждый раз по-особому) были представлены светские и церковные элементы.

Церковное было пронизано светским элементом гораздо в большей степени, чем в новое время. Так, например, в Новгороде Великом даже сами церковные здания предназначались для светских целей — для собрания «уличан» (жителей улицы), для братчин, пиров, для хранения особо ценных товаров и т. д. Новгородский архиепископ имел свой полк (кстати, отказавшийся в решительном конфликте Новгорода с Москвой выступить против последней), держал свою соколиную охоту и т. п. Попы в уличанские церкви избирались собранием жителей улицы (почему, к слову сказать, и попадались в Новгороде неграмотные церковнослужители). Во все века светские вкусы оказывали влияние на церковную литературу, в нее проникали элементы светской письменности и фольклора; в житиях святых узнаются сюжеты эллинистических романов, в проповедях сказываются традиции античного ораторского искусства.

Слитность двух культур — язычески-народной и церковновизантийской — была своеобразным «литературным двоеверием», основой которой являлось все же светское начало.

Жизнь облекалась порой в церковные формы, но гораздо чаще церковь в своей политике нуждалась в светских приемах. Эта двуединая культура совсем не похожа на культуру нового времени, когда культура отделилась от церковности, а церковность отделилась (но только отчасти) от светскости. И именно эта средневековая «светскость церковности» позволяла приобретать церковным по своему прямому назначению произведениям (зданиям, предметам прикладного искусства, живописи, музыке и, конечно, литературе) непреходящую эстетическую и идеологическую (в историческом аспекте) ценность: они учили патриотизму, военной стойкости, единению, воспитывали нравственность в ее элементарных формах и т. п. Мы замечаем в произведениях XVI века и удивительное искусство повествования, и яркие образы, и точный язык, и ритмичность изложения, и интерес к истории, к отвлеченному мышлению и т. д.

Повсюду, будь она светской, или церковной, или чаще всего смешанной, литература никогда не отступала от высокого, присущего своей эпохе патриотизма, от сознания общерусского национального единства. Литература Древней Руси всегда осознавала свою значительность и высокую предназначенность. Это оставалось верным и для второй половины XVI века: господствующий стиль второго монументализма благодаря своей поверхностности не захватил ее существа.



Подступы к решительным переменам в строении литературы

Конец XVI – начало XVII века

С конца XVI века в России создается бурная обстановка надвигающейся, а затем развившейся Смуты, всколыхнувшей все русское общество снизу доверху. Террор Ивана Грозного сдерживал, но одновременно и усиливал классовое напряжение, а когда смерть его положила начало династическим неурядицам и борьбе за власть, за престол, то борьба эта быстро перешла в могучий классовый взрыв. Иноземная интервенция породила всенародное патриотическое движение, освободившее Россию. Царистские иллюзии повлекли за собой многочисленных самозванцев, в какие-то не слишком длинные периоды времени опиравшихся на население посадов и крестьянские массы. Самозванцы сменяли друг друга. Наряду с насильственными захватами власти появились и совсем новые формы решения государственных во-

---

Публ. по: Подступы к решительным переменам в строении литературы // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII. М.: Худож. лит., 1985. С. 5–22.

просов – добровольные или полудобровольные ополчения, затем выборы, земский собор; обсуждались не только наследственные права, но и характеры претендентов.

В этой обстановке в начале XVII века литература вновь обрела высокое литературное самосознание. Это явственно ощущается в поднимаемых ею темах, в широте и глубине реагирования на исторические события. Она уже не просто помпезно оформляет государственную жизнь, а, как и столетие назад, играет по-настоящему громадную гражданскую роль в жизни общества. Ее темы общенациональны, ее слово властно и требовательно, ее критическое отношение к недостаткам общественной жизни беспощадно. На первый план выдвигаются произведения если даже и небольшие по размерам, зато монументальные по замыслу и стилю, исполненные гражданских чувств, во многих случаях новаторские по жанру, по своим связям с народным творчеством, с зарубежными литературами.

Особую роль в литературных произведениях, посвященных Смуте, сыграло ощущение правдивости изображаемого, стремление к фактичности и документальности. Литература стала своеобразным судом над происходящим и произошедшим. Поэтому большое значение приобрели «свидетельские показания», «документы» и сама их форма. Возрастало и значение личностного начала. Авторы начинают осознавать свою собственную ответственность за события, в которых участвовали и о которых пишут. Автор доложен был быть «чистым», «незапятнанным», поэтому авторские самооправдания – прямые и косвенные, – а также преувеличения своей роли в событиях, занимают значительное место в повествованиях о Смуте.

Одно из самых замечательных произведений об истоках Смуты – «Повесть о житии царя Федора Ивановича», составленная патриархом Иовом не позднее 1603 года. По своему фактическому содержанию «Повесть» эта сравнительно бедна фактами, не очень ясна она и по своим тенденциям: оправдать передачу русского престола боярину Борису Федоровичу Годунову? Но выражено это только в одном эпизоде. После победы под водительством Годунова над двинувшимся на Русь войском крымского хана Федор Иванович снимает со своей шеи златокованую цепь и возлагает ее на Бориса, «честь победе его воздая и симъ паки на немъ прообразуя царского свое-

го достояния по себѣ восприятия и всего превеликого царьствия Русийскаго скифетродержателства правление». С точки зрения отточенности формы, ритмической организации прозы и синтаксической ясности сравнительно длинных (как это полагалось в древнерусской риторической прозе) периодов произведение это представляет собой своего рода шедевр. Оно начинается с традиционного восхищения величием вселенной, имеющего яркие аналогии в былинном эпосе[1], и включает традиционный для фольклора, развернутый и отточенный по ритмичности плач царицы Ирины по своем умершем муже. В идеализированном образе Бориса Годунова значительное место уделено в «Житии» его строительной деятельности — и в самом деле удивительной. Отмечается, что он создал много каменных градов и в них «превеликие храмы в славословие божие возгради и многие обители устрои», а Москву «яко некую невесту» украсил, выстроив в ней много храмов, палаты купеческие и стены.

«Повесть» эта открывает собой новый период древнерусской литературы, в котором события Смуты заняли центральное место.

* * *

Пока события Смуты были еще в своем начальном периоде, пока народная память не была еще отягощена жгучими воспоминаниями о бесчисленных изменах и продажности руководителей, возникло произведение, героизировавшее одного из полководцев, очищавшего Русский Север от иностранных захватчиков, — князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Память о Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском сохранилась и в литературе — двумя повестями о нем (одна о рождении его, другая — о смерти) — и в народной исторической песне. Народное воображение было потрясено его внезап-

[1] Ср. начало «Повести»: «Небеси убо величества и высота недостижна и неописуема, земли же широта и долгота неосяжима и неизследима, морю же глубина неизмерима и неизпытуема...» — и начало былины о Соловье Будимировиче: «Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота окиян-море; широко раздолье по всей земле, глубоки омуты Днепровские», а также начало Слова Кирилла Туровского «О расслабленом»: «Неизмерьна небесная высота, не испытана преисподняя глубина, ниже сведомо божия смотрения таиньство...»

ной кончиной в мае 1610 года на пиру у князя Воротынского, и создалось представление о его сознательном отравлении боярами-изменниками.

Личные свойства человека, его совесть, его честность и твердость стали осознаваться как решающие не только в его собственной жизни, но и в судьбах государства. Особенно показательны в этом отношении две повести о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском. Наряду с книжными элементами в обеих повестях ярко прослеживается народно-песенная струя. Вот как, например, объясняется и оплакивается смерть Скопина: «И как будет после честного стола пир навесело, и диявольским омрачением злодеянница та княгиня Марья, кума подкрестная, подносила чару пития куму подкрестному и била челом, здоровала с крестником, Алексеем Ивановичем. И в той чаре питие уготовано лютое, питие смертное. И князь Михайло Васильевич выпивает ту чару досуха, а не ведает, что злое питие лютое смертное. И не в долг час у князя Михаила во утробе возмутилося, и не допировал пиру почестного, и поехал к своей матушке, княгине Елене Петровне. И как выходит в свои хоромы княженецкие, и усмотрила его мати, и возрила ему во ясные очи. И очи у него ярко возмутилися, а лице у него страшно кровию знаменуется, а власы у него на главе стоя колеблются». Здесь и изобразительность, и фольклорность, и лиричность. Таков же и плач матери по Скопине-Шуйском: «Чадо мое, сын, князь Михайло Васильевич. Для чего ты рано и борзо с честнаго пира отъехал? Любо тобе богоданый крестный сын принял крещение не в радости? Любо тобе в пиру место было не по отечеству?» Поразительно, как в этом плаче сочетается реальный пир, на котором он умер, с метафорой жизни как пира.

Можно говорить о стилистическом разнобое в этой повести, но этот стилистический разнобой — свидетельство о новых художественных исканиях, и он пронизывает собой в целом всю литературу, посвященную событиям Смутного времени, — времени, с которого начались многие новые явления в русской литературе.

Здесь и влияние народных произведений, и церковная риторика, и простота летописного стиля, и фактографическая запись молвы и разговоров, и наблюдательность человека практического ума, и хитрость участника значительнейших

событий и многое другое, из чего создавалось то необыкновенное смешение различных явлений, которое в дальнейшем должно было породить совершенно новую, решительно отличавшуюся от старой, средневековой, систему литературы нового времени.

Народное начало совершенно по-иному и в связи с иными событиями сказалось и в другом, наиболее раннем произведении о Смуте – в «Послании дворянина к дворянину» Иванца Фуникова. Это «смеховое произведение» написано в форме послания, но использует оно народный стих, который в древнерусской литературе воспринимался как нечто несерьезное, близкое к смеховой форме выражения скоморохами своих мыслей, иногда критических, направленных к осмеянию правящих классов. Дворянин Фуников, вероятнее всего вымышленное лицо, жалуется на свои несчастья и жалобы свои выражает в той смеховой форме, которая была привычна для крестьян и посадских людей, смехом смягчавших тяготы своего существования в руках восставших – «тульских воров».

Одним из самых значительных произведений, направленных к тому, чтобы побудить русских людей выступить в защиту независимости России против интервентов, явилась «Новая повесть о преславном Российском царстве». Она была составлена во второй половине декабря 1610 – начале января 1611 года и принадлежала перу простого дворянина – сыну боярскому или приказному дьяку – и была направлена против изменнического боярского правительства. Это был прямой призыв к восстанию. «Вооружимся на общих сопостат наших и врагов и постоим вкупе крепостне за православную веру, и за святыя божия церкви, и за свои души, и за свое отечество... и изберем славную смерть... нежели зде безчестное, и позорное, и горкое житие под руками враг своих» – так начинается «Новая повесть о преславном Российском царстве». Далее идут разоблачения боярского правительства – русских пособников иноземных интервентов и захватнических замыслов польского короля Сигизмунда III. «Новая повесть» предшествует агитационным грамотам организаторов первого ополчения, действовавшего под Москвой в марте 1611 года. Это не повесть в собственном смысле этого слова, а обличительное сочинение против отдельных членов боярского правительства – «земледельцев-землесъедцев», «правителей-

кривителей», разоблачение их предательской политики, противопоставляемой поведению жителей Смоленска, выдержавших осаду войска Сигизмунда III, и «крепкой» позиции, занятой «воином Христовым» патриархом Гермогеном, решительно отказавшимся пособничать интервентам.

Близко к «Новой повести» стоит и «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства». Это произведение написано в жанре политических плачей, посвященных тем или иным горьким событиям истории («Плач о взятии Царьграда в 1453 г.», «О Псковском взятии 1510 г.»). В отличие от «Новой повести» автор «Плача» изобличает все русское общество, повинное в происходящем: «Правда в человецех оскуде, и воцарися неправда, и всякая злоба и ненависть, и безмерное пиянство, и блуд, и несытное мздоимание, и братоненавидение умножися».

Если в «Писании о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского» и в других последующих произведениях не было еще какой-либо прямой агитации за того или иного претендента на царский престол, то вскоре появился целый ряд произведений, прямо агитировавших за избрание на царство Василия Шуйского. Таким было «Сказание и повести еже содеяся в царствующем граде Москве и о растриге о Гришке Отрепьеве и о похождении его», близкое по своей направленности к грамотам Василия Шуйского 1606 года.

По поручению правительства Василия Шуйского было составлено и «Житие царевича Димитрия».

Когда войска Болотникова приближались к Москве, было пущено в ход и такое решительное средство, как изображение некоего чуда, якобы прямо и свыше указывавшего на божественное неодобрение происходящей Смуте. Это была «Повесть о видении некоему мужу духовну», обнародованная по царскому указу. «Видение» не просто указывало на то, кто прав и кто не прав в происходившей борьбе, но стремилось побудить народ к некоей демонстрации своей лояльности: оно призывало людей к покаянию, посту, угрожало предать «кровоядцам и немилостивым разбойникам» тех, кто не покается, перечисляло грехи, за которые отвечают все люди: «праздные беседы», осквернение нравов, неправедный суд, захват чужих имений и даже постригание бород.

Избрание на царство Михаила Федоровича и относительное успокоение в политической борьбе не изменило характера литературы 1620–1640-х годов. Литература продолжает развивать те или иные версии происхождения Смуты; произведения пишутся в защиту или опровержение прав на престол отдельных лиц, обвиняют их, оправдывают, бранят или восхваляют.

В событиях Смуты было много такого, что необходимо было правительству избранного на царство Михаила Романова официально объяснить народу. Специальная комиссия по поручению Земского собора 1612–1613 годов составляет «Грамоту, утвержденную об избрании на Российский престол царем и самодержцем Михаила Федоровича Романова». Эта «Грамота» описывает события Смуты с основной целью – защиты династических прав Романовых на царский престол. Поэтому здесь, в «Грамоте», дается идеализированное изображение жены Ивана Грозного Анастасии Романовой и ее благотворного влияния на мужа в государственных делах.

С окончательным утверждением Романовых на царстве борьба за престол, борьба с интервентами, прекратившиеся в жизни, продолжают все же свое существование в литературе. Авторы обеспокоены возможностью новых измен или появления новых самозванцев, продолжают страстно обсуждать события прошлого. Существенное различие только в том, что авторы, пишущие после Смуты, больше рассуждают, философствуют и обобщают, извлекают для читателей уроки из всего случившегося.

Очень характерен в этом отношении «Временник» дьяка Ивана Тимофеева. Сведения о происходившем он собирает из разных, иногда сомнительных источников, в чем признается сам, но при этом обобщает и философствует, изобличая то правящие слои общества, то народные массы. По старой манере подменять живую мысль риторикой, он крайне запутывает изложение и в общем лишает себя читателей, о чем свидетельствует то, что дошло это сочинение в единственном списке и оставило по себе единственный след – в правительственном продолжении «Книги Степенной» 60-х годов XVII века. В ней «Временник» Тимофеева был использован одновременно и как источник сведений и для стилистического оформления излагаемого.

Наибольшей известностью из сочинений о Смуте пользовалось «Сказание» монастырского келаря Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря, составленное им в 1620 году. Оно дошло до нас во множестве списков XVII и XVIII веков. Читателям нравились и его живое изложение и документальность. В него были включены свидетельства участников обороны Троице-Сергиева монастыря. В основе первых шести глав, по-видимому, лежит сочинение другого автора — «Сказание, киих ради грех», — носившее резко обличительный характер и смягченный при переработке Авраамием. Взгляды Авраамия Палицына занимают главенствующее положение: они изложены в ярких и занимательных картинах обороны Троице-Сергиева монастыря и им придана сугубо патриотическая окраска. События Смуты, как никогда ранее, возбудили у автора, а вслед за ним и у читателя, патриотические чувства.

Читая произведения, посвященные Смуте, мы должны учитывать и то обстоятельство, что защита родины приобрела в этих описаниях характер также и защиты веры, а потому все произведения о Смуте носят в этот период черты религиозно-церковной идеологии и фразеологии. Недавнее историческое прошлое, следы которого на каждом шагу встречались на широком пространстве Русской земли в виде разрушенных зданий, пропавших ценностей и документов, о чем невозможно было забыть, продолжало тревожить воображение, требовать объяснений и объяснений.

Вслед за «Сказанием» Авраамия во второй половине 1620-х годов в рукописях появилось «Иное сказание», компилятивный памятник, основной особенностью которого, а может быть и задачей, стало оправдание Василия Шуйского и его политики. «Иное сказание» было противопоставлено «Сказанию» Палицына.

В 1626 году была написана и «Летописная книга» («Повесть книги сея от прежних лет») — произведение, прежде приписывавшееся князю И.М. Катыреву-Ростовскому. «Повесть», также посвященная Смуте, постоянно перерабатывалась, так как она выражала официальную точку зрения, а эта официальная точка зрения не отличалась особой устойчивостью, менялась, применялась к обстоятельствам «нынешних» нужд. Во всяком случае официальная точка зрения не исключила обличение «грехов» правящего класса, что было в пред-

шествующее время большим достижением литературы о Смуте, но затушевывала роль народа в национально-освободительной борьбе. Другой чертой «официальной» литературы была ее умеренность, стремление сгладить сложность событий. Учитывая отсутствие определенности в оценке событий, автор сам «на всякий случай» давал им неопределенные характеристики. Он был готов на компромисс с любым направлением во взгляде на события Смуты.

«Словеса дней, и царей, и святителей московских» — любопытное произведение любопытного человека – Ивана Андреевича Хворостинина. Автор «Словес» был запятнан своим поведением во время Смуты и стремился изобразить события, которых он был свидетелем, со скрытой целью оправдать свое поведение, а отчасти даже восхвалить свою ученость, прозорливость и религиозную правоверность. Если первое (то есть «ученость» его) просто сомнительно, то второе (прозорливость) и третье (правоверность) прямо противоречат фактам. Он служил при дворе Лжедмитрия кравчим и был за это сослан в Иосифов Волоколамский монастырь на покаяние. Тексты писания он толковал совсем не в духе православия, отрицал христианские догматы, писал вирши, а затем оправдывался в других своих сочинениях.

Подобно Ивану Андреевичу Хворостинину, автором с запятнанной биографией был и другой писатель, его родственник, — Семен Иванович Шаховской. В свое время он отъезжал в Тушино, а из Тушина к польскому королю Сигизмунду. Был четырежды женат, что считалось в Древней Руси церковно недопустимым. Еще и за какие-то другие вины Шаховской был заточен, а затем сослан.

Его перу принадлежит «Повесть известно сказуема на память великомученика Димитрия», посвященная убийству в Угличе царевича Дмитрия. Дмитрий интересовал Шаховского как родившийся от шестого брака Ивана Грозного. Шаховской доказывал законные права на престол Дмитрия и делал это с жаром, ибо самому ему приходилось доказывать законные права своих «деток» от четвертого брака. Другое его сочинение — «Повесть о некоем мнисе» (монахе) — о Лжедмитрии. Образованный и искусный писатель, он предстает в своих многочисленных произведениях во всем своем трудолюбии и таланте.

Частичное возвращение к старым порядкам выразилось прежде всего в возрождении в летописании официальной правительственной точки зрения на историю. В 1630 году был закончен «Новый летописец». Он опирается в основном на «Сказание» Авраамия Палицына и пытается восстановить авторитет царской власти, и в частности утвердить на основе возрождения монархической идеологии взгляд на Романовых как на династически правомочных престолонаследников.

Любопытным документом философского осмысления исторических событий явилось произведение далеко не ясного происхождения, носящее заглавие «О причинах гибели царств». Знакомясь с фактами, приводимыми в этом произведении, русские читатели имели возможность задуматься над судьбами своей истории, сопоставить ее и с историей других стран. Основная причина «гибели царств» согласно мысли автора «О причинах» – повреждение нравов, что в целом согласуется с мыслию многих других русских авторов, писавших о Смуте.

Наконец, из повествований о Смуте следует упомянуть и о таких, в которых сказалось непосредственное отношение к событиям писателей, ставивших себе целью простую информацию о фактической стороне событий. Традиционно центрами своеобразного «простописания» были на Руси Псков и Новгород. Особенно замечательна «Псковская летописная повесть о Смутном времени». Псковские события отражены в ней в манере псковского летописного рассказа, близкого к разговорному повествованию с характерным для автора псковским просторечием.

Наблюдательность, завоевывающая все большее и большее место в литературе XVII века, отразилась и еще в одном виде древнерусских письменных произведений – «травниках» и «лечебниках». Если произведения о Смуте демонстрировали новое и более глубокое отношение к внутреннему миру человека, то письменные памятники, которые вряд ли можно отнести к литературе, «травники» и «лечебники» поражают своей наблюдательностью к природе, к растениям, которым, впрочем, приписывают иногда совершенно фантастические, а в некоторых случаях и «поэтические» свойства.

«Лечебники» и «травники» – это не только своеобразные руководства к отогнанию зла – душевного и телесного. Это

великолепные памятники языка и эстетического понимания окружающего мира. Богатство способов для описания трав, цветов, кореньев, тех мест, в которых растет то или иное «зелие», необыкновенно велико, демонстрирует наблюдательность, точность – и глаза, и языка, а вместе с тем и своеобразие народных воззрений иа мир.

Возникли эти рецепты по лечению травами давно, впитав в себя тысячелетний опыт, а иногда и тысячелетние суеверия. Как трава, пробиваясь через почву, тексты лечебников формировались многими десятилетиями и столетиями, но только с начала XVII века в пору демократизации письменности они вышли на поверхность и оформлялись в самостоятельные руководства.

Когда что-то уходит из бытования в живой, устной практике, оно начинает записываться. Записываться в начале XVII века начинает фольклор, записываются пословицы, поговорки и обычные речения, записывается медицинская практика. Характерны также записи иностранцев, посещавших и живших в России. Англичанин Ричард Джемс собрал песни, некоторые из которых были, возможно, сочинены специально для него, поскольку фольклорные песни не только исполнялись традиционно, но и импровизировались в традиционных формах. В Пскове в 1607 году записи бытовых речений вел немец Тённи Фенне. Многие из записей в его «Разговорнике» представляют собой своеобразные новеллы: рассказы о том, в какой ситуации могли оказаться те или иные иностранные купцы, приехавшие в Россию.

Видно, что не только в литературе, но и в самой жизни, в бытовой и в деловой письменности накапливался материал, способный вот-вот войти в литературу, сделав ее более изобразительной и менее приподнятой над действительностью. Литература переставала служить, как прежде, праздничному и официальному отражению жизни.

* * *

Перейдем теперь к суммарной характеристике того, что литература приобрела в начале XVII века в области «человековедения», – самой важной для литературы и особенно для периода начавшейся ее перестройки.

В целом литература первой трети XVII века при всем разнообразии ее жанров, точек зрения, стилистических решений, отношения к фольклору и т. д. была литературой одной главной темы – темы Смуты, ее истоков, причин, характера, описания событий и поисков вин и виноватых.

Произведения этой поры резко отделяются от предшествующих летописей, исторических повестей, хронографов и «Степенной книги» рядом особенностей, и в первую очередь повышенным интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением. Изображение характеров исторических лиц составляет отныне одну из главных особенностей исторического повествования. Эти характеристики не только увеличиваются в объеме, но и изменяются по существу. По сути дела, «Временник» дьяка Ивана Тимофеева представляет собой собрание характеристик деятелей Смуты и событий Смуты. Это своеобразная портретная галерея, соединенная с галереей картин исторического жанра. Иван Тимофеев не стремится к фактической полноте и последовательному хронологическому изложению событий. Автор не столько описывает факты, сколько их обсуждает.

Равным образом и «Словеса дней, и царей, и святителей московских» Ивана Хворостинина состоят в основном из характеристик деятелей Смуты, начиная с Бориса Годунова. Во вступлении к своему труду Иван Хворостинин разъясняет цели своего произведения: он желает описать «пастырь наших детелей (деятелей. – *Д.Л.*)», подвиги «великодушных мужъ, и безкровных мучеников, и победоносцев».

То же самое может быть сказано и о «Повести книги сея от прежних лет», в конце которой помещено даже особое «Надписание вкратце о царех московских, о образех их (т. е. о их внешности. – *Д.Л.*), и о возрастех, и о нравех».

В известной мере тем же стремлением к обсуждению характера исторических личностей отмечено и «Сказание» Авраамия Палицына, и «Иное сказание», и «Повесть» Семена Шаховского, и мн. др.

С наибольшей четкостью эта новая черта исторического сознания сказывается в статьях, посвященных русской истории, Хронографа редакции 1617 года. Литературные достоинства этих новых русских статей Хронографа и значение их

в развитии исторического знания на Руси до сих пор еще недостаточно оценены.

Состав Хронографа редакции 1617 года обнаруживает в его авторе человека с незаурядной широтой исторических интересов. Предшествующая всемирная хронография в пределах от XI и до XVII века в гораздо большей степени, чем русское летописание, была подчинена религиозным задачам. Всемирная история трактовалась в значительной степени, хотя и не целиком, как история православия в борьбе с ересями. Редакция Хронографа 1617 года – первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии. Это отчетливо выступает в тех дополнениях, которыми распространил автор редакции 1617 года основное, традиционное содержание Хронографа. Здесь и новые статьи из Еллинского летописца (преимущественно выдержки из Хроники Иоанна Малалы, касающиеся античной истории), здесь и сочинения Ивана Пересветова, и дополнения из католических хроник Мартина Вельского и Конрада Ликостена. Из этих последних выписаны статьи географического содержания (например, об открытии Америки – первые на Руси о ней известия), статьи об античной мифологии или общие статьи о магометанстве, статьи по истории пап, по истории западно-европейских стран, по истории Польши. Все это не имело отношения к истории православия и даже иной раз противоречило официальной точке зрения на историю православия. Не меньший интерес имеют и вновь включенные статьи, посвященные описанию наружности богоматери (из слова Епифания Кипрского «О житии пресвятыя владычица нашея богородице») и наружности Христа («Описание же божественныя Христовы плоти и совершеннаго возраста его»). В них сказывается интерес к реальному «портрету». Благодаря всем этим дополнениям Хронограф 1617 года отличается значительно более светским характером, чем предшествующий ему Хронограф редакции 1512 года. Однако наиболее отчетливо этот светский характер редакции Хронографа 1617 года обнаруживается в его подробном повествовании о событиях русской Смуты.

Давно уже было отмечено, что рассказ Хронографа 1617 года о событиях русской истории XVI – начала XVII века представляет собой единое и стройное произведение. Это ощущается не только в стилистическом и идейном единстве

всего повествования, но прямо подчеркивается автором путем постоянных перекрестных ссылок: «о нем же впереди речено будет в Цареградском взятии» или просто — «о нем же впереди речено будет», «о нем же писах в царстве блаженныя памяти Феодора Ивановича», «о нем же писах и преже» и т. п.

Необходимо при этом отметить, что и само это произведение, как и вся композиция Хронографа 1617 года, идет по пути той же секуляризации исторической литературы. В нем нет ссылок на священное писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает «Смуту» наказанию Божию за грехи всех русских людей, как это еще делают некоторые другие сочинители исторических произведений первой половины XVII века. Этот светский дух пролизывает собою и всю систему характеристик деятелей русской истории. Перед нами в Хронографе 1617 года действительно «система» характеристик: теоретически изложенная в кратких, но чрезвычайно значительных сентенциях и практически примененная в изображении действующих лиц Смуты. Эта «система» противостоит средневековой, она подвергает сомнению основные принципы агиографического стиля. В ней нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет «абсолютизации» человека, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения Средневековья.

В предшествующие века человек, особенно в житийной литературе, выступает по преимуществу либо совершенно добрым, либо совершенно злым. Правда, в литературе исторической эта идеализация и абсолютизирование нарушались сплошь и рядом, но эти нарушения были бессознательными, они не входили в художественный замысел автора, они происходили под влиянием воздействия самой действительности, дававшей материал для изображения человека, или под влиянием тех литературных образцов, которые писателю служили. Противоречивые черты могут быть замечены в изображении Дракулы в «Повести о Мутьянском воеводе Дракуле» (он справедлив и одновременно извращенно жесток), в изображении отдельных летописных героев и т. д. В «Повести о Дракуле» — последний «дьявол», но поскольку и в богословских представлениях того времени на дьявола возлагается «обязанность» возмездия за грехи людей, — он одновременно и спра-

ведлив: наказывает преступников тем, чем они провинились. Однако противоречивость характера исторического деятеля никогда еще не отмечалась в письменности особо. Она не осознавалась, не декларировалась авторами, хотя невольно уже и изображалась. Никогда исторические писатели сознательно не ставили себе целью описать эту противоречивость. Она слагалась как бы стихийно, слагалась в сознании читателя, а не в намерениях и тем более не в декларациях авторов.

Только в начале XVII века исторические писатели впервые открыто заговорили о противоречивости человеческого характера. Особенно ярко это опять-таки сказалось в Хронографе 1617 года. Человеческий характер объявляется автором Хронографа 1617 года сотканным из противоречий, сложным, в известной мере «относительным», соотнесенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка. «Не бывает же убо никто от земнородных безпорочен в житии своем», – объявляет автор Хронографа. «Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязьственаго злокозньствия врага», – повторяет он. «Во всех земнородных ум человечь погрешителен есть, и от добраго нрава злыми совратен»; иначе говоря, – каждый человек в той или иной степени «совращен» от «добраго нрава», данного ему при рождении. Нет, следовательно, во-первых, людей только злых или только добродетельных, и, во-вторых, человеческий характер создается жизнью. Живой пример такого «совращения» доброго нрава на злой – Иван Грозный. Первоначально Грозный – образец доброго, мудрого и мужественного царя: «Он же убо имый разум благообычен, и бысть бе в мужестве, умен, еще же и во бранех на супротивныя искусен, велик бе в мужестве, и умеа на рати копием потрясати, воиничен бо бе и ратник непобедим, храбросерд же и хитр конник». Но стоило умереть Анастасии Романовой, поддерживавшей в Грозном его «добрый» от природы нрав, как характер его резко меняется – от старого не остается и следа. Перед нами другой человек, с диаметрально противоположным характером: «Блаженная же и предобрая супруга его не во многих летех ко господу отиде, и потом аки чюжая буря велия припаде к тишине благосердия его, и не вем, како превратися многомудренный его ум на нрав яр и нача сокрушати от сродства своего многих, такоже и от велмож синклитства своего».

Если в этой характеристике Грозного автор Хронографа 1617 года еще зависит от Курбского и, следуя за этим последним, распределяет добродетели и злодейства Грозного во времени, относя первые к первой половине царствования, а вторые ко второй, то во всех последующих характеристиках автор Хронографа 1617 года уже не прибегает к такому механическому разделению свойств характера во времени. Он совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории русской исторической мысли сознательно создавая жизненно-противоречивые характеристики исторических лиц, создавая образы, полные «шекспировских» противоречий, драматизируя историю душевной борьбы, внося в них коллизии, борьбу и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание историографов и драматургов.

Сознательной противоречивостью исполнена характеристика Бориса Годунова; противоположные качества его натуры как бы нарочно сопоставлены, сближены в одной и той же фразе с тем, чтобы подчеркнуть противоречие: Борис «аще и зело прорассудительное к народом мудроправльство показа, но обаче убо и царстей чести зависть излия». Подробная характеристика Бориса, с которой начинается повествование о его царствовании в Хронографе 1617 года, вся построена на этом совмещении положительных и отрицательных качеств его характера: «Сей убо государь царь и великий князь Борисъ Федоровичь во свое царство в Русийскомъ государствѣ градов и манастырей и прочихъ достохвалныхъ вещей много устроивъ, ко мздоиманию же зело бысть ненавистенъ, разбойства и татьбы и всякаго корчемства много покусився, еже бы во свое царство таковое неблагоугодное дѣло изкоренити, но не возможе отнюдъ. Во бранех же неизкусенъ бысть: время бо тому не настояше. Оруженосию же не зело изященъ... Но убо да никтоже похвалится чистъ быти от сѣти неприятелственаго злокозньствия врага», — заключает автор характеристики Бориса.

Из тех же противоречивых черт соткана и характеристика патриарха Гермогена. Признавая, что Гермоген был «словесен мужъ и хитрорѣчивъ», составитель Хронографа 1617 года тут же добавляет: «но не сладкогласенъ», и дальше: «а нравомъ грубъ и къ бывающим в запрещенияхъ косенъ к раз-

рѣшениямъ. Ко злымъ же и благимъ не быстроразпрозрителенъ, но ко лстивымъ паче и лукавымъ прилежа и слуховѣрствователенъ бысть».

Из противоположных качеств соткана в Хронографе и характеристика Ивана Заруцкого: «Не храбръ и сердцем лютъ, но нравомъ лукавъ». Достаточно сложна характеристика Козмы Минина: «аще и неискусенъ стремлениемъ, но смѣлъ дерзновениемъ» и т. д.

Вслед за автором Хронографа 1617 года эту противоречивость, контрастность человеческого характера подчеркивают и другие авторы исторических сочинений первой половины XVII века. Прямолинейность прежних летописных характеристик по немногим рубрикам (либо законченный злодей, либо герой добродетели) исчезает в произведениях начала XVII века. Прямолинейность предшествующих характеристик отброшена – и с какою решительностью! Вслед за Хронографом 1617 года наиболее резко сказывается новый тип характеристик во «Временнике» Ивана Тимофеева. Характеристика Грозного составлена Иваном Тимофеевым из риторической похвалы ему и самого страстного осуждения его «пламенного гнева». Все люди причастны греху: «...сице и сему (т. е. Грозному), осрамившуся грехом, ему же причастни вси».

Тимофеев дает разностороннюю и очень сложную характеристику Борису Годунову и утверждает, что должен говорить и о злых, и о добрых его делах: «И яже злоба о Борисе извещана бѣ, должно есть и благодеяний его к мирови не утаити». Тимофеев как бы считает себя обязанным писать о добродетелях Годунова, поскольку он пишет и о его «злотворных»: «Елика убо злотворная его подробну написати подщахомся, сице и добротворивая о нем исповѣдати не облснимся». Совмещение скверных и добрых качеств в характеристиках Тимофеев считает знаком их беспристрастности: «И да никто же мя о сих словесы уловит, иже о любославнем разделением: во овых того есмь уничижая, в прочих же, яко похваляя». И в другом месте: «Егда злотворная единако изречена бы, добрая же от инѣх сказуема, нами же умолкнута, – яве неправдование обнажилося бы списателево. А иже обоя вправду извѣстуема без прилога, всяка уста заградятся», то есть никто не сможет возразить и упрекнуть автора в при-

страстии, в односторонности, если он будет отмечать в человеке и злые и добрые черты. Положительная же или отрицательная характеристика лишь обнажает «неправдование» писателя, его необъективность. Иван Тимофеев не может решить, какая из чаш весов перетянет после смерти Бориса: «В часѣ же смерти его никто же вѣсть, что внезодолѣ и кая страна мѣрила претягну дѣлъ его: благая ли злая». Так же, как и автор Хронографа 1617 года, Иван Тимофеев не рассматривает злое и доброе начала в характере человека как нечто извечное и неизменное.

Впервые в русской литературе писатели начала XVII века стремятся выяснить причины появления и роста в характере исторического лица тех или иных качеств, рассматривают влияние одного человека на другого. Автор Хронографа 1617 года отмечает, как мы уже говорили, доброе влияние Анастасии Романовой на Грозного, с исчезновением этого влияния, после смерти Анастасии, меняется характер Грозного. Иван Тимофеев как один из факторов добродетели в характере Бориса сходно отмечает доброе влияние на него со стороны царя Федора Ивановича: «Не вем вещи силу сказати, откуду си ему доброе прибысть: от естества ли, ли от произволения, ли за славу мирскую... Мню бо, не мал прилог и от самодержавного вправду Феодора многу благу ему навыкнути, от младых бо ноготь придержася пят его часто».

Впервые, следовательно, в русской литературе применительно к историческим деятелям был поднят вопрос о причинах, вызывающих появление тех или иных черт в человеческом характере. Вневременная и абсолютная сущность человеческого характера, какой она представлялась в Средневековье, поколеблена. Автора уже не смущает изменчивость характеров, как не смущают и контрасты в них.

Иван Тимофеев различает в исторических деятелях следующие слагаемые их характера наряду с «естеством»: «произволение», то есть свободный выбор человека, «за славу мирскую», то есть тщеславие — оглядку на людское мнение, и, наконец, непосредственное влияние других людей — в данном случае царя Федора. Перемена этих слагаемых вызывает изменения в человеческом характере. Так же, как Грозный у автора Хронографа 1617 года, у Ивана Тимофеева Борис Годунов меняет свой характер под влиянием изменения внеш-

ней обстановки. Эта перемена картинно изображена Иваном Тимофеевым: «Сице и Борис, егда в равночестных честен бе и по цари вся добре управляя люди, тогда по всему благ является, во ответех убо обреташеся сладок, кроток, тих, податлив же и любим бываше всем... По получении же того (царского сана. – *Д.Л.*) величеством абия претворся и нестерпим всяко, всем жесток и тяжек обрется; о людех варив (заботясь. – *Д.Л.*) благотворением малем и прельсти державу свою».

Сложная и контрастная характеристика Бориса обошла всех писателей, писавших о Смуте после 1617 года. Она сказалась не только во «Временнике» Ивана Тимофеева, но и в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» Ивана Хворостинина. У него мы видим то же совмещение в образе Бориса противоречивых качеств: «Аще убо лукав сый нравом и властолюбив, но зело и боголюбив: церкви много возгради и красоту градцкую велелѣпием исполни, лихоимцы укроти, самолюбных погубив, областем странным страшен показася, и в мудрость жития мира сего, яко добрый гигантъ облечеся, приим славу и честь от царей». А затем без всякого перехода: «...и озлоби люди своя, и востави сына на отца и отца на сына, и сотвори вражду в домѣх ихъ, и ненавидѣние и лесть сотвори в рабѣх, и возведе работныхъ на свободныя, и уничижи господа началствующих, и соблазни миръ, и введе ненависть, и востави рабы на господей своих, и власти силных отъя, и погуби благородныхъ много, иже нелѣпо есть днесь простерти слово, да не постигнет нас время, повести дающе».

Контрастная характеристика Бориса предложена читателям и в «Повести книги сея от прежних лет»: «Той Борис образом своим и делы множество людей превзошед; никъто бо бе ему от царских синклит подобен во благолепии лица его и в разсуждение ума его; милостив и благочестив, паче же во многом разсуждении доволен, и велеречив зело, и в царствующем граде многое дивное о собе творяще». А затем сразу: «Но токмо единое неисправление имеяше предо всеми людми: во уши его ложное приношаху; радостно тово послушати желаху и оболганых людей без рассуждения напрасно мучителем предавах. И немилостиво мучити повелех. И властелюбив велми бываху. Начальников всего Росийского государства

и воевод, вкупе же и всех людей подрученны себе учини, якоже самому царю во всем послушну ему быти и повеленное творити».

Остались чужды этой характеристики Бориса лишь «Иное сказание», хотя и испытавшее влияние Хронографа редакции 1617 года, но в своей начальной части более всего зависящее от «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов», и «Сказание» Авраамия Палицына в основной своей редакции, составленное еще до 1617 года.

Таким образом, проблема человеческого характера встала перед историческими писателями первой половины XVII века во всей ее сложности, какая только могла быть доступна в эту эпоху. Самое зло и добро в применении к человеческому характеру оказались относительными. Эту мысль прямо декларирует автор Хронографа 1617 года, поясняя, что от зла может произойти добро, а от добра зло: «Бывает бо по случаю и пелынная лютость врачевания ради недуг в достохвалных словесех приобношается. Тако же и от сеговыя злобы произыде доброта».

Это новое представление о человеческом характере сказывается во всех деталях восприятия исторических лиц. Многие старые средневековые добродетели уже лишены своего положительного значения. Безусловные прежде добродетели оказываются относительными. Добродетели, заложенные в характере исторических лиц, сыгравших отрицательную роль в русской истории, оказываются только вредными. О Дмитрии Самозванце автор Хронографа 1617 года говорит: «...ко книжному прочитанию борзозрителен, но не на благо». Внешность человека уже не соответствует, как раньше, его характеру. Иван Тимофеев так, например, описывает внешность своих современников, легкомысленно предавшихся Самозванцу: «Вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власом долгость, юже являху людем и красахуся тою, яко мудрии». Все большее и большее значение в характеристике исторических лиц приобретают их поведение, их действия. Это отчетливо видно в тех случаях, когда сравнение, образ, применяемый к человеку, имеет в виду его действия, но не его внутреннюю сущность, которая, как мы видели, в известной мере признавалась непознаваемой. Автор Хроно-

графа 1617 года вряд ли считает патриарха Гермогена похожим на птицу, когда пишет, что его «аки птица в заклете гладом умориша».

Вследствие этой манеры применять к историческим лицам различные образные сравнения по их функции, по их действию, а не по их сущности, авторы прибегают к таким сравнениям людей, которые, казалось бы, совершенно не шли к ним, с точки зрения эстетической системы нового времени: историческое лицо может быть уподоблено реке, буре, молнии, горе, раю, ограде и т. д.; оно может быть сравниваемо с различными дикими зверями, внешне мало похожими на человека. Автор Хронографа 1617 года сравнивает Бориса Годунова с «морем», с «езером»; Дмитрия Самозванца он называет «злодыхательной бурей». Тушинский вор — «злобѣсный и кроволокателный песъ, или человѣкоядный звѣрь, иже лукавое око отверзе и злое рыкание изпусти». Федор Иванович, говорит автор Хронографа 1617 года, «ограда бысть многихъ благъ, яже водами божиими напояема, или рай одушевленъ, иже храня благодатная садовия». Его же он называет «свеща страны Руския». Все эти несовместимые с нашим эстетическим сознанием сравнения объясняются тем, что человек подвергается характеристике по «функции», по своим «делам». Об этом прямо однажды и заявляет автор Хронографа 1617 года, характеризуя Тушинского вора: «...се другое зло прииде, другий зверь подобен первому явился не образом, но делы».

Внешне этот способ характеристики человека еще очень близок к средневековой системе, к системе Хронографа 1512 года — самые образы старые, но функция их в значительной мере новая, поскольку новым оказывается самое видение человеческого характера, восприятие человеческой личности, ее оценка. И то, и другое, и третье оказываются бесконечно более сложными, чем в предшествующий период, и вместе с тем более реальными, более близкими действительности.

Замечательно, что характеры исторических лиц показаны в произведениях о Смуте не изолированно. Они раскрываются в связи со слухами о них, в связи с народной молвой. В древнерусских летописях редко встречается передача разных точек зрения на события, не согласных с авторской, характеристик неавторских. Между тем авторы исторических

произведений о Смуте постоянно ссылаются на различные слухи, разговоры, толки, отчетливо осознавая значение «общественного мнения». Автор Хронографа 1617 года ссылается на разговоры о ссылке Нагих в Углич, об убийстве Борисом царевича Дмитрия, о поставлении Филарета Никитича и т. д. Характеры исторических лиц показаны на фоне народных толков о них. Вот как характеризуется, например, Самозванец: «...глаголаше же о немъ мнози, яко по всему уподобитися ему нравомъ и дѣлы скверному законопреступнику, нечестивому мучителю царю Иулиану». Передается и мнение народа о сыне Бориса – Федоре Борисовиче: «...о нем же мнози от народа тайно в сердцах своих возрыдаша за непорочное его житие».

Автор Хронографа 1617 года не стесняется приводить мнения, резко расходящиеся с его собственным. Он собирает все «за» и «против», подвергая их строгому разбору. Так, например, в Хронографе полностью переданы слова сторонников Тушинского вора о Василии Шуйском, которого автор Хронографа 1617 года в общем идеализирует. Эти «крамольницы» и «мятежницы» так отзывались о Шуйском: «...а нынѣ его ради кровь проливается многая, потому что онъ человѣк глупъ и нечестивъ, пияница и блудник и всячествованиемъ неизтовенъ, царствования недостоинъ». В противовес этому мнению приводится и другое: «Сия же слышавше, и мнози от народа... рекоша к ним: "Государь нашъ, царь и великий князь Василей Ивановичь, сѣлъ на Московъское государьство не силно, выбрали его быти царем болшие боляре и вы, дворяня, и всѣ служивые люди, а пияньства и всякаго неизтовъства мы в немъ не вѣдаем. А коли бы таковому совѣту быти, ино бы тутъ были и болшие боляре, да и всяких чиновъ люди"».

То же восприятие характера исторического лица через народную молву, слухи, иногда сплетни опять-таки встречается и во «Временнике» Ивана Тимофеева, и в «Словесех дней» Ивана Хворостинина. У Тимофеева окружена народной молвой смерть Грозного: «Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той, яростнаго ради зельства, от своих раб подъя угашение своея жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде. Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светле, много сотворися радость и весело восплескаша руками». У Хворостинина в связи с народными толками дана ха-

рактеристика Гермогена: «...яко же слышахом, етери глаголюще, яко соблазн и смущение патриарх той сотворил есть и возведе люди своя братися на враги, владуща нами...»

Итак, характеры исторических героев не неизменны, они могут изменяться под влиянием других людей или с переменой обстоятельств. В них могут совмещаться и дурные и хорошие качества. Человек по природе своей ни совершенно добр, ни совершенно зол. Беспорочных людей нет. Противоречивость, контрастность авторских характеристик исторических лиц служат как бы удостоверением объективности их изображения, так как только таким и может быть человек в представлениях первой половины XVII века. Характер человека преломляется в толках о нем. Историческое лицо оценивается в исторической перспективе, в его «социальной функции».

В чем же исторические корни новых воззрений на человеческую личность, нашедших себе место в литературных произведениях начала XVII века? Новое отношение к человеческому характеру отразило общее накопление общественного опыта и отход от теологической точки зрения на человека, начавшийся в XVI веке и усиленно развивавшийся в XVII веке. Период крестьянской войны и польско-шведской интервенции способствовал огромному накоплению опыта социальной борьбы во всех классах общества. Именно в это время вытесняется из политической практики, хотя еще и остается в сфере официальных деклараций, теологическая точка зрения на человеческую историю, на государственную власть и на самого человека.

Обратимся к некоторым фактам, чтобы представить себе конкретно влияние нового социального опыта на литературу. Мы видели выше, что обсуждению в литературе подвергались в первую очередь характеры монархов. Это далеко не случайно. Здесь сказалась новая практика поставления на царство «всею землею». Если в XVI веке Грозный в своих посланиях к Курбскому отрицал право подданных судить о действиях своего государя, утверждал богоизбранность монаршей власти, а в посланиях к Стефану Баторию насмешливо отзывался о его поставлении по «многомятежному человеческому хотению», то вскоре после его смерти это положение резко изменилось: в 1598 году состоялись первые выборы русского госу-

даря «всею землею». Теологическая точка зрения на происхождение царской власти и идея неподсудности монарха человеческому суду впервые возбудили очень серьезные сомнения.

Утвержденная грамота Бориса Годунова 1598 года хотя внешне и опирается на идею божественного происхождения царской власти, но практически объясняет необходимость власти государя чисто «земскими» причинами. Государь необходим для благосостояния своих подданных, и об этом выразительным жестом заявил сам Годунов во время своего венчания на царство: он взял за ворот свою рубашку и потряс ею, обещая и эту последнюю в случае нужды разделить со всеми для блага своих подданных.

Предвыборные страсти, несомненно, разжигали споры о достоинствах того или иного претендента на престол. Характер будущего монарха подвергался обсуждению в боярской думе, на соборе, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, где народ, подгоняемый приставами, «молил» Годунова на царство. Уже упомянутая нами Утвержденная грамота 1598 года одним из доводов в пользу избрания Годунова на царство выдвигала личные черты его характера: его государственную мудрость, его добродетели и его заботу о «воинском чине».

Черты нового отношения к власти царя мы можем найти и в крестоцеловальной записи Василия Шуйского, и в грамотах патриарха Гермогена, и в июньском приговоре 1611 года, и в Утвержденной грамоте 1613 года, и т. д.

Крестьянская война постепенно вытравливала из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду не подсудному главе государства. Человеческий суд совершился и над Годуновым, и над Василием Шуйским, и над многими самозванцами. Этот суд был сперва судом народного мнения, а затем и судом действия. Характеры монархов обсуждались людьми «юнними», «малыми», «простыми» не в меньшей, может быть, степени, чем в среде боярства и дворянства.

Вслед за монархами обсуждение личных достоинств коснулось и всех руководителей ратного и «земского» дела. Июньский приговор 1611 года отчетливо отразил мысль о том, что начальниками должны быть люди способные, а не

только бояре и княжата. История выдвинула тому конкретный образец – «говядаря» (торговца «говядами» – рогатым скотом) Кузьму Минина. Черты человеческого характера стали, следовательно, предметами всеобщего обсуждения. Вопрос о них в отдельных случаях приобретал государственное значение. Вот почему и в литературе так часто начало упоминаться народное мнение. Меньше всего в этом новом критерии для избрания «всенародным единством» монарха или военного руководителя было заинтересовано боярство. Поэтому-то характеру русских правителей относительно мало уделяют места боярские писатели начала XVII века: Авраамий Палицын, Катырев-Ростовский и некоторые другие. К ним, напротив, весьма внимательны писатели – обличители бояр: дьяк Тимофеев, автор Хронографа 1617 года и некоторые другие.

Итак, с начала XVII века перед историческими писателями встала особая задача замечать и описывать сложность человеческого характера. Эта задача была выдвинута перед литературой самой политической жизнью, и вместе с тем она ответила внутренним потребностям развития самой литературы. Еще многое в литературе XVII века в приемах составления характеристик исторических лиц восходит к житийной литературе, к Хронографу, но многое уже видится по-иному. Еще форма остается старой, но глаз уже воспринимает острее и наблюдательнее прежнего. Но самое замечательное в литературе начала XVII века – это сознательность введения новых принципов характеристик исторических лиц. Авторы XVII века не только по-новому описывают характер исторических лиц, но высказывают принципиальные суждения о том, каким он им представляется. Недалеко то время, когда и самые приемы изображения человеческого характера изменятся, улягутся в новую литературную систему.

Изменение в отношении авторов XVI–XVII веков к человеческому характеру может быть изображено в такой последовательности: первоначально растет интерес к психологии исторических личностей, и рост этот отмечен чисто количественным увеличением числа и объема характеристик в произведениях XVI века; затем авторы исторических произведений начала XVII века научаются по-новому изображать

характер исторических лиц, замечают в нем многое такое, что не было доступно их предшественникам, и одновременно начинают высказывать новые суждения о человеческих характерах, осознавая их сложность. Каждый новый этап в этом «обнаружении» характера непосредственно вызывался исторической действительностью. Новое отношение к человеческому характеру не было только явлением узколитературным. Оно позволило по-новому взглянуть на современность, на трагические события, свидетелями которых были писатели, и явилось новым этапом в развитии патриотического сознания.



Семнадцатый век в русской литературе

Если кратко определить значение XVII века в истории русской литературы и в истории русской культуры в целом, то придется сказать, что главное было в том, что век этот был веком постепенного перехода от древней литературы к новой, от средневековой культуры — к культуре нового времени.

Русская литература на грани XVI–XVII веков стояла перед необходимостью подчинения литературы личностному началу, выработке личностного творчества и стабильного, авторского текста произведений. Она стояла перед необходимостью освобождения всей системы литературных жанров от их подчинения «деловым» задачам и создания общих форм литературы с западно-европейскими. Развитие критики и литературных направлений, периодической печати, те-

---

Публ. по: Семнадцатый век в русской литературе // Памятники литературы Древней Руси. XVII. М.: Худож. лит., 1988. Кн. 1. С. 5–26.

атра и стихотворства, активизация читателей и освобождение литературы от подчинения церковным и государственным интересам, проявление самостоятельности писательских мнений, оценок и т. д. — все это должно было появиться в XVII веке, чтобы сделать возможным окончательный переход во второй четверти XVIII века к новому типу структуры литературы, к новому типу литературного развития и к новому типу взаимоотношений с литературами стран европейского Запада. «Европеизация» русской литературы в XVIII веке состояла не только в том, что Россия стала на путь простого знакомства с литературами Запада, но и в том, что это знакомство в результате внутренней подготовленности русской литературы смогло принести обильные плоды.

Развитие культурных явлений в XVII веке не отличалось стройностью и ясностью. Так бывает всегда, когда историческое движение сбито посторонними силами, внешними неблагоприятными обстоятельствами.

Историки литературы обычно представляют себе эмансипацию личности в литературе XVII века как эмансипацию поведения действующих лиц произведения. Герои начинают нарушать старозаветные нормы, выработанные в русском быту предшествующих столетий.

Эмансипацию личности видят в «Повести о Фроле Скобееве» в образах Аннушки и Фрола Скобеева, в их «вольном поведении». Эмансипированными личностями представляются и Савва Грудцын, и девица из «Притчи о старом муже и молодой девице», и даже герой «Повести о Горе-Злочастии» — безымянный молодец. Все эти молодцы и девицы не слушаются родителей, не следуют нормам поведения, предписывавшимся старозаветным укладом жизни.

Дело, однако, не в появлении своевольных личностей, нарушающих заветы старины: такие личности были всегда. Новые герои литературы не являются носителями каких-либо новых идей. Дело, как мы увидим в дальнейшем, в новом к ним отношении авторов и читателей. Но самое главное в том, что сама литература как целое начинает создаваться под действием этого личностного начала. В литературу входит авторское начало, личная точка зрения автора, представления об авторской собственности и неприкосновенности

текста произведения автора. Происходит индивидуализация стиля и многое другое.

В художественном методе средневековой литературы личность автора сказывалась до XVII века значительно слабее, чем в литературе Нового времени. Причины тому две. С одной стороны — постоянные последующие переделки произведения, не считавшиеся с авторской волей и уничтожавшие индивидуальные особенности авторской манеры. С другой же стороны, авторы Средневековья гораздо менее стремились к самовыявлению, чем авторы Нового времени. В литературе Древней Руси гораздо большую роль, чем авторское начало, играл жанровый признак. Каждый литературный жанр имел свои традиционные особенности художественного метода. Особенности художественного метода, присущие тому или иному жанру, вытесняли индивидуальные авторские особенности. Один и тот же автор способен был прибегать к разному методу изображения и к разным стилям в зависимости от того, в каком жанре он писал. Пример тому — произведения Владимира Мономаха. Летопись его «путей» (походов) и «ловов» (охот) составлена в летописной манере (по художественному методу и по стилю). Совсем иной художественный метод и иной стиль в нравоучительной части «Поучения». Здесь перед нами художественный метод церковных поучений. Письмо к Олегу отделяется и от того и от другого — это одно из первых произведений эпистолярной литературы, своеобразное по художественному методу и по стилю.

Древнерусские литературные произведения до XVII века очень часто говорят от имени автора, но этот автор еще слабо индивидуализирован. В проповеди — это проповедник, в житии святого — это агиограф, в летописи — летописец и т. д. В средневековой литературе авторское «я» в большей степени зависит от жанра произведения, почти уничтожая за этим жанровым «я» индивидуальность автора. Существуют как бы жанровые образы авторов. Будь летописец стар или молод, монах или епископ, церковный деятель или писец посадничьей избы — его манера писать, его авторская позиция — одна и та же. И она едина, даже несмотря на совсем разные политические позиции, которые могут летописцы занимать.

Правда, авторская личность начинает заявлять о себе с достаточной определенностью уже в XVI веке в произведениях, принадлежащих перу властного и ни с чем не считающегося человека: Иван Грозный – это в какой-то мере первый писатель, сохраняющий неизменным свою авторскую индивидуальность независимо от того, в каком жанре он писал. Он не считается ни с этикетом власти, ни с этикетом литературы. Его ораторские выступления, дипломатические послания, письма, рассчитанные на многих читателей, и частная переписка с отдельными лицами всюду выявляют сильный неизменный образ автора: властного, ядовитого, саркастически настроенного, фанатически уверенного в своей правоте, все за всех знающего. Это сильная личность, но жестоко подавляющая другие личности, личностное, ренессансное начало.

События Смуты начала XVII века перемешали общественное положение людей. И родовитые и не родовитые люди стали играть значительную роль, если только они обладали способностями политических деятелей. Поэтому и официальное положение автора не стало иметь того значения, что раньше. Вместе с тем каждый автор стал стремиться к самовыявлению, иногда самооправданию, начал писать со своей сугубо личной точки зрения. Князь Иван Хворостинин, князь Семен Шаховской пишут свои произведения о Смуте в целях самооправдания и самовозвеличения. Чисто личные причины для составления его произведений были и у Авраамия Палицына. В их сочинения проникает элемент автобиографизма. Они даже и не скрывают, что высказывают не объективную точку зрения на события, а сугубо субъективную – личную. В «Словесах дней и царей и святителей московских» Иван Хворостинин дает характеристику тем деятелям Смуты, которые были ему лично знакомы. Авторы повестей о Смуте – участники событий, а не только их свидетели. Поэтому они пишут о себе и о своих взглядах, оправдывают свое поведение, ощущают себя не только объективными историками, но в какой-то мере и мемуаристами.

Позиция мемуариста появляется даже у агиографа. Сын Ульянии Осо́рьиной – Дружина Осо́рьин – пишет житие своей матери с позиций человека, близкого Ульянии.

Автобиографии составляют во второй половине XVII века многие деятели этого времени: Епифаний и Аввакум, игу-

мен Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатий Иевлевич[1]. Автобиографическими элементами полны стихи Симеона Полоцкого и справщика Савватия.

Если профессиональные писатели-ремесленники появляются уже в XV веке (Пахомий Серб), то теперь, в XVII веке, появился тип писателя, осознающего значительность того, что он пишет и делает, необыкновенность своего положения и свой гражданский долг. Самосознание писателя в XVII веке стоит уже почти на уровне нового времени.

Рост самосознания автора был только одним из симптомов осознания в литературе ценности человеческой личности. Ценность человеческой личности самой по себе осознавалась не в абстрактном (например, в соответствии с принципами: «человек по своей природе добр», «нет людей злых» и пр.), а в самом обыденном, конкретном. Постепенно отмирало и уходило в прошлое именно абстрактное понимание человеческой природы, заставлявшее средневековых книжников однообразно делить всех людей на хороших и плохих: тех, что после смерти пойдут направо и получат награду за свою праведность, и тех, что пойдут налево и воспримут воздаяние за грехи. Человек все больше выступал как сложное в нравственном отношении существо, связанное при этом с другими людьми, с обстоятельствами, приведшими его к тому или иному поступку, с бытовой обстановкой.

Раскрепощение человеческой личности в литературе было и своеобразной конкретизацией ее изображения. Человек все более начинал восприниматься как конкретный индивидуум, в сложной обстановке быта и общества. Правда, этот быт и это общество виделись еще глазами автора, не совсем обвыкшими к дневному освещению. Вырисовывались лишь контуры соотношений и отдельные детали. Однако принципиально важен был самый переход к детализированному видению.

Герои литературных произведений «спускаются на землю», перестают ходить на ходулях своих официальных высоких рангов в феодальном обществе, как это было в предшест-

---

[1] См.: *Голубев С.Т.* История Киевской духовной академии. Т. I. Период домогилянский. Киев, 1886. Приложение. С. 74–79 – текст автобиографии. Об Игнатии см.: *Белецкий А.И.* Из начальных лет литературной деятельности Симеона Полоцкого // Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР. Т. 101. № 3. Л., 1928.

вующие века. Их положение по большей части снижается, соответствуя отчасти положению нового читателя, пришедшего в XVII век из масс, своими собственными силами выдвинувшегося или по своей собственной беспечности не выдвинувшегося в обществе.

Для нового читателя герой литературного произведения не вознесен над ним, а вполне с ним сопоставим. Отсюда отношение к нему автора становится все лиричнее. Герой не поднимается над читателем и в моральном отношении.

Во всех предшествующих произведениях Средневековья действующие лица как бы витали в особом пространстве, куда читатель, в сущности, не мог проникнуть. Теперь герой лишен какого бы то ни было ореола. Герой опрощен до пределов возможного. Молодец «Повести о Горе-Злочастии» наг или одет в «гуньку кабацкую». Таков же герой «Азбуки о голом и небогатом человеке». Он голоден. Он не признан родителями, изгнан от друзей, скитается «меж двор». Натуралистические подробности делают эту личность «низкой» и почти уродливой. Но замечательно, что, так приближая своего героя к читателю, автор делает его тем самым достойным жалости и утверждает его ценность, как личности. При этом оказывается, что у этого падшего героя не отнято главное — ум и самосознание. На самой низкой ступени падения он сохраняет чувство права на лучшее положение и сознает свое умственное превосходство. Герой иронизирует над собой и окружающими, вступает с ними в конфликт. Этот конфликт тоже чисто бытовой. Ирония становится средством самовыявления героя, но она же властно овладевает автором во всех случаях его отношения к действительности. Снижается не только герой, снижается сама действительность, язык, которым эта действительность описывается, отношение автора к своему произведению и пр.

Демократическая литература с ее сатирой и пародией в какой-то мере показательна для веей эпохи в целом. Родственные демократической литературе черты мы можем встретить и в «высокой» придворной литературе. Сатира проникает в придворную поэзию Симеона Полоцкого. Герой снижается не только в произведениях демократической литературы. Всюду в литературе устанавливается связь с бытом. Пародия и сатира знаменовали собой снижение литературы,

литературного героя, действительности. Но развенчание действительности и героя было одновременно их увенчанием новыми ценностями, иногда более глубокими и более гуманистическими.

Но вернемся к пародии. Демократические писатели XVII века забавлялись созданием пародий на челобитные, судопроизводственный процесс, лечебники, азбуки, дорожники (дорожники — это своего рода путеводители), росписи о приданом и даже богослужение. Вместе с тем в литературу обильно входили разные «прикладные» (развлекательные) и «потешные» сюжеты, различные забавные повестушки и описания приключений героев.

Все эти внешне «несерьезные» сюжеты были очень «серьезны» по существу. Только серьезность их была особая и вопросы в них стали подниматься совсем иные — не те, что волновали торжественную и помпезную политическую мысль предшествующего времени или проповедническую литературу церкви, — они касались повседневной жизни мелких по своему положению людей. Серьезность вопросов, стоявших перед новой, демократической литературой XVII века, была связана с социальными проблемами своего времени. Авторов непритязательных демократических произведений XVII века начинали интересовать вопросы социальной несправедливости, «безмерная» нищета одних и незаслуженное богатство других, страдания маленьких людей, их «босота и нагота». Вопросы социальной справедливости затрагивались и в предшествующей литературе XVI века, но там это были философские рассуждения сторонних наблюдателей. Сейчас об этом пишут сами «босые» и «голодные». Изложение идет от их лица, и они вовсе не думают скрывать свои недостатки. Герой не витает в особом пространстве над читателем — пространство объединяет читателя и героя. Читатель чувствует свою близость к тому, что происходит в литературном произведении, а поэтому сочувствует маленьким людям с их часто маленькими же житейскими тревогами.

Впервые в русской литературе грехи этих маленьких людей вызывали не осуждение, а симпатию, сочувствие, сострадание. Безвольное пьянство и азарт игры в «зернь» вызывали лишь сострадательную усмешку. Однако беззлобие в отношении одних оборачивалось величайшей злостью против дру-

гих — тех, что «внидоша в труд» бедных, «черт знает на что деньги берегут» и не дают есть голым и босым.

Новый герой литературных произведений не занимает прочного и самостоятельного общественного положения: то это купеческий сын, отбившийся от занятий своих степенных родителей (Савва Грудцын, герой «Повести о Горе-Злочастии»), то спившийся монах, то домогающийся места иерей и т. д. Отнюдь не случайно появление в литературных произведениях XVII века огромного числа неудачников или, напротив, героев, которым, что называется, «везет» — ловкачей вроде Фролки Скобеева или «благородных» искателей приключений вроде Еруслана Лазаревича. Эти люди становятся зятьями бояр или купцов, легко женятся на царских дочерях, получают в приданое полкоролевства, переезжают из государства в государство, попадают к морским разбойникам или оказываются иа необитаемом острове, чтобы быть счастливо вызволенными и оттуда. Оживают вновь сюжеты эллинистического романа. Образуется как бы перекличка эпох. Фатальная неудачливость или, напротив, фатальная удачливость героев позволяет развивать сложные и занимательные сюжеты старого, эллинистического типа, но для XVII века совершенно нового характера.

Что же такое — эта фатальность в судьбе героя XVII века? Это явление новое и тесно связанное, как это ни странно, опять-таки с освобождением личности, с ее эмансипацией от опеки рода и корпорации.

В русской литературе предшествующих веков отразились по преимуществу представления о судьбе рода. Судьба владеет всем родом, к которому принадлежит герой, и представления об индивидуальной судьбе еще не развились. Судьба не была еще персонифицирована, не приобрела индивидуальных контуров. Эти представления о родовой судьбе явны в летописи. Там князя избирают или изгоняют жители Новгорода, сообразуясь с его принадлежностью к определенной княжеской линии. Предполагается, что князь будет идти по пути своих дедов и отца, придерживаться их политической линии. Поэтому избирается не сам князь, а род, к которому он принадлежит.

Эти представления о родовой политике и родовой судьбе служили средством художественного обобщения в «Слове

о полку Игореве». Не случайно «Слово...» характеризует внуков по деду. Образ внуков воплощается в деде. «Ольговичи» характеризуются через их деда – Олега «Гориславича», полоцкие князья «всеславичи» – через их родоначальника Всеслава Полоцкого. Именно поэтому Олегу и Всеславу уделяется в «Слове...» так много внимания. Рассказы «Слова...» об Олеге и Всеславе кажутся иногда современным исследователям историческими отступлениями, слабо оправданными вставками. На самом деле рассказы об Олеге и Всеславе – это характеристики «ольговичей» и «всеславичей». Автор «Слова...» прибегает к изображению потомков через рассказ об их родоначальниках, и при этом для изображения их фатальной «неприкаянности».

В последующие века судьбу героя определяет не только принадлежность его к определенной родовой линии, но и принадлежность его к определенной общественной корпорации. Герой ведет себя так, как должен вести себя в определенных обстоятельствах князь, монах, иерарх церкви, проповедник и т. д. «Литературный этикет» Средневековья утверждает власть корпорации над личностью. Это обстоятельство очень важно для понимания самого духа средневекового этикета, повторяемости сюжетов, мотивов, средств изображения, известной косности литературного творчества, варьирующего и комбинирующего ограниченный набор художественных трафаретов.

В XVII веке с развитием индивидуализма судьба человека становится его личной судьбой, она «индивидуализируется». Судьба человека оказывается при этом как бы его вторым бытием и часто даже отделяется от самого человека, персонифицируется. Эта персонификация происходит тогда, когда внутренний конфликт в человеке – конфликт между страстью и разумом – достигает наивысшей силы. Конфликт между страстью и разумом часто оборачивается также конфликтом между человеческой личностью и его судьбой. Человек в какой-то мере начинает сопротивляться фатуму. Он сознает, что подвергается насилию, хочет изменить свою судьбу, жить иначе, лучше. Предшествующая литература не знает такого конфликта. Никто не борется против родовой судьбы, не вступает в конфликт с родовой традиционной политикой, с родом, с этикетом корпорации. Личность там растворена,

она себя не осознает как противостоящую той среде, к которой принадлежит. Только с появлением индивидуальной судьбы стал возможен и бунт личности против этой судьбы, стало возможным ощущать судьбу как насилие, как беду и горе. Вот почему судьба человека воспринимается теперь как его второе бытие и часто отделяется от самого человека, персонифицируется, приобретает почти человеческие черты. Судьба отнюдь не прирождена человеку, она появляется иногда в середине его жизненного пути, «привязывается» к человеку, преследует его. Она приходит к человеку извне, становится злым враждебным началом, а иногда выступает в образе беса. В «Повести о Горе-Злочастии» Горе возникает перед молодцем только на середине его жизненного пути. Оно сперва является ему в ночном кошмаре как порождение его собственного воображения. Но затем внезапно, из-под камня, предстает перед ним наяву в момент, когда молодец, доведенный до отчаяния нищетой и голодом, пытается утопиться в реке. Судьба и смерть близки! Судьба-Горе требует от молодца поклониться себе до «сырой земли» и с этой минуты неотступно преследует его. Горе — и двойник молодца, и враг молодца, и его доброжелатель. Оно обладает необыкновенной «прилипчивостью» — наглой и ласковой, веселой и страшной одновременно. Уйти от Горя невозможно, как нельзя уйти от своей тени, но вместе с тем Горе-судьба — постороннее начало, избавиться от которого молодец стремится всю жизнь. Горе показано как существо, живущее своей особой жизнью, как привязчивая сила, в своем роде могущественная, которая «перемудрила» людей, «мудряе» и «досужае» молодца. Молодец борется с самим собой, но не может преодолеть собственного безволия и собственных страстей, и вот это ощущение ведóмости чем-то посторонним, вопреки голосу разума, и порождает образ Горя. Избыть Горе, освободиться от беса можно только с помощью другого, внешнего для человека начала — божественного вмешательства, и вот молодца избавляет от Горя монастырь, то есть возвращение в лоно корпорации, отказ от личности.

Родовые муки эмансипирующегося личностного начала принимали разные формы. Еще более многозначителен в отношении своей сюжетной и идейной роли бес в «Повести о Савве Грудцыне». Бес также возникает перед Саввой внезап-

но, как бы вырастая из-под земли, тогда, когда Саввой полностью, вопреки рассудку и как бы извне, овладевает страсть и когда он окончательно перестает владеть собой. Савва носит в себе «великую скорбь», этой скорбью он «истончи плоть свою». Бес — порождение его собственного воображения и собственной страсти. Он является как раз в тот момент, когда Савва подумал: «...еже бы паки совокупитися мне с женою оною, аз бы послужил диаволу». Прилипчивость судьбы здесь получает свое материальное воплощение: Савву с его судьбой-бесом связывает «рукописание», письменное обещание отдать дьяволу душу. Возникает сюжет «Фауста», кстати вышедший из общих корней: старинная новогреческая, вернее, раннехристианская Повесть об Еладии, продавшем дьяволу душу, породила и «Повесть о Савве Грудцыне» и через множество промежуточных звеньев — Легенду о докторе Фаусте. Эллинистические сюжеты возрождаются на Руси в эпоху своеобразного русского Возрождения XVII века.

Упорно сопротивляющееся злое начало становится постепенно началом еще более общим и еще более жестоким... Личность самоопределяется в борьбе, в утверждении своего благополучия, а потом в утверждении своих взглядов, своих идей против идей господствующих, властвующих, гнетущих свободу личности с помощью государства, церкви, различного рода разжиревших и раздобревших «особей», лишенных, однако, личностного начала и цепляющихся только за свое положение. И с этой точки зрения борьба Аввакума с государством и церковью, с людьми благополучными и косными — это только новый этап борьбы за освобождение человеческой индивидуальности. Освободившись, сама эта личность грозит начать угнетать других... Но здесь «Житие» протопопа Аввакума стоит на грани новой трагедии — трагедии индивидуализма.

Как бы то ни было — Аввакум ведет индивидуальную борьбу. Его сторонники мало чем ему помогают в этой борьбе. Он вызвал против себя на единоборство все современное ему общество и государство. Он ведет титаническую борьбу один на один. Недаром во сне кажется ему, что тело его наполняет собой весь мир. Это борьба не только духовная, но и физическая, борьба силы с инерцией материи, сопротивление материальной среды в «Житии» Аввакума поразительно сильно.

Ему приходится преодолевать холод и голод, окружающая его природа то громоздится над ним горами, то топит его дощаник бурными водами Иртыша, то наступает на него льдами и, наконец, засыпает его землей в Пустозерской тюрьме. Борьба Аввакума – не только духовная – за духовную, умственную свободу личности, но и борьба физическая. В этой борьбе Аввакуму удается одолевать сопротивление самих законов природы, он совершает чудеса – чудеса особого склада, побеждающие косность материи. Эта борьба Аввакума носит действительно барочные формы. Но это особое барокко – барокко, ставшее на место Ренессанса... Но об этом ниже. Вернемся к вопросу о связи освобождения личности с появлением в литературе быта, снижением действительности и самой личности до уровня, на котором мог находиться рядовой читатель.

Итак, герои литературных произведений в процессе эмансипации личности «спускаются на землю», перестают ходить на ходулях своего высокого общественного положения, описываются как обычные люди со своими повседневными заботами. Их все теснее окружает быт. Быт обступает действующих лиц, помогает авторам в создании все усложняющихся обстоятельств, в которые попадают герои литературных произведений, объясняет их мучения и служит той сценической площадкой, на которой разыгрываются перед читателем их страдания от окружающей несправедливости.

Быт проникает даже в чисто церковные произведения. Показательны два агиографических произведения, которым литературоведы не совсем точно присвоили название «повестей»: «Повесть о Марфе и Марии» и «Повесть об Ульянии Осорьиной». «Повесть о Марфе и Марии» в сюжетной своей основе – типичное сказание о перенесении святыни из Царьграда на Русь, но этот сюжет вставлен в окружение бытовых отношений. Перед читателем проходят местнические споры мужей обеих сестер, бытовая обстановка длинного путешествия, погони за чудесными старцами и т. п. Быт окружает и Ульянию Осорьину в повести о ней. В лице Ульянии церковной идеализации подвергся впервые средний человек, «бытовая личность», человек, не вознесенный над бытом, а погруженный в быт. Внешне Ульяния ничем не примечательная женщина: она родилась в семье служилого человека. Как и все

женщины в те времена, она выходит замуж очень рано, в шестнадцать лет. Муж ее обычный служилый человек. Ульяния рожает ему детей, ведет все «домовое строение» с помощью многочисленной челяди. Ее окружает семья — муж, свекор, свекровь, дети. Ей не только не удается осуществить свое заветное желание постричься в монахини, но порой нет даже возможности посещать церковь... Идеализация ее образа идет своими путями, далекими от прежних житийных трафаретов. Она идеализируется в своих хозяйственных распоряжениях, в своих отношениях к слугам, которых она никогда не называла уменьшительными именами, не заставляла подавать себе воды для умывания рук или развязывать свои сапоги, а всегда была милостива и заботлива к ним, наказывая их «со смирением и кротостию».

Она идеализирована и в своих отношениях к родителям мужа, которым она тихо подчинялась. Она слушает и своего мужа, хотя он запрещает ей уйти в монастырь. Свекор и свекровь передали ей, в конце концов, все хозяйство, увидев ее «добротою исполнену и разумну». И это несмотря на то, что она потихоньку обманывала их, правда, с благочестивыми намерениями. Не обходится в доме и без крупных конфликтов: один из слуг убивает ее старшего сына. Прядение и «пяличное дело» рассматривается в ее житии как подвиг благочестия. Ночная работа приравнивается к ночной молитве: Ульяния «в прядивом и в пяличном деле прилежание велие имяше, и не угасаша свеща ея вся нощи».

Соединение идеализации с бытовыми подробностями придало идеализации особую художественную убедительность. Это был новый этап в развитии житийной литературы, особенно той ее части, которая распространилась в крестьянской среде на Севере. Жития эти удобнее всего называть «народными житиями»

Народные жития мало следуют житийному этикету и главное внимание обращают на чудеса, которым придают бытовой и сказочный характер. К таким житиям относится, например, «Житие Варлаама Керетского» — святого, жившего в XVI веке, но почитание которого развилось в XVII. Святой этот «воспитание имел в Керецкой волости на море-окияне».

О подвигах благочестия этого святого говорится довольно мало. Благочестие его мотивировано при этом не совсем

обычно, и, очевидно, так, как оно произошло в действительности. Варлаам из ревности убивает свою жену. Тело ее он берет с собой в карбас и молится о прощении. «И бе видети праведнаго труды единаго по морю в карбасе ездяща с мертвым телом от Колы около Святаго Носа даже и до Керети. И не якоже протчии человецы ожидаху паруснаго плавания, но он плаваше против зелнаго обуревания и весла из рук своих не выпущаше, но труждашеся велми и псалмы Давидовы пояше, то бо ему пища бяше». Сразу же совершаются первые чудеса. Он выводит у Святого Носа всех червей, которые точили карбасы поморских рыбаков. После его смерти ручей, появившийся из его могилы, тушит пожар в соседней церкви. Святой является после смерти и спасает рыбаков в Белом море. При этом, вопреки христианскому смирению, «объявляется» этим рыбакам и требует, чтобы они оповестили всех, что именно он спас их от бури.

Варлаам совершает чудеса в помощь рыбацкому труду, в помощь рыбакам «в рыбных ловитвах». Географические места чудес точно определены («у Шарапова наволока», «в Соностровах» и т. д.). Чудеса описаны профессионально точно с мореходной точки зрения. При этом употребляется бытовая и мореходная терминология: «карбас», «отишье», «зыбь», «поносный (попутный) ветер», «тоня», «стоять в корме» (управлять ладьей) «пробежать остров», «путь чист» «бити дубцы» и т. д.

Несомненна близость к этого рода житиям — «Жития» протопопа Аввакума: та же точность, тот же детализированный быт, повседневность, те же народного характера чудеса в помощь человеку, то же бытовое просторечие и бытовая терминология. Разве что все это у Аввакума смелее, талантливее, ярче, значительнее, да и сама жизнь освещена идейной борьбой, которой нет в народных житиях XVII века.

Рост бытового начала в литературных произведениях тесно связан с ростом изобразительности в литературе. Обозначение всегда отвлеченно, и в какой-то степени возвышенно, изображение же всегда в известной мере снижает предмет литературы. Изображение делает предмет литературы конкретным и близким читателю. Вот почему в это же время появляется в литературе и изображение: пейзаж, пейзаж статически описанный, пейзаж ценный сам по себе, тесно прикреплен-

ный к определенной местности и имеющий национальный характер.

В XI–XIII веках отдельные, очень краткие картины природы (в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского) имели своею целью раскрыть символическое значение тех или иных явлений природы, выявить скрытую в ней божественную мудрость, извлечь моральные уроки, которые природа может преподать человеку. Птицы летят весной из рая на уготованные им места, большие и малые, – так и русские князья должны довольствоваться своими княжениями, большими и малыми, и не искать больших. Так рассуждает на рубеже XI и XII веков Владимир Мономах. Весеннее пробуждение природы – символ весеннего праздника Воскресения Христова, – так рассуждает в XII веке Кирилл Туровский. Вся природа, с точки зрения авторов природоведческих сочинений Средневековья, лишь откровение Божье, – это книга, написанная перстом Божьим, и в ней можно читать о чудесных делах Всемогущего. Природа почти не имеет в прошлом индивидуальных черт. Индивидуальность места не описывается. В ней нет и национальных черт. Природа имеет значение лишь постольку, поскольку она «Божье творение» или влияет на развитие событий то засухой, то бурей или грозой, то морозом, мешает сражающимся дождем и т. д. Однако постепенно, начиная с XII века и более интенсивно в XIV и XV веках, в изображение природы и пейзажа вкрадываются новые черты: буря в природе вторит бурным излияниям человеческих страстей, тишина окружающей природы подчеркивает умиротворенное безмолвие пустынника. Пейзаж приобретает новое символическое значение: он уже символизирует не мудрость Бога, а самые душевные состояния человека, как бы аккомпанирует им и подчеркивает их, создает в произведении настроение. Но уже в XVI веке мы найдем и более сложные отношения природы и человека. В «Казанской истории» описываются, например, страдания русского войска от жажды на фоне изумительного описания жаркой и безводной степи, по которой с трудом движется изможденное войско. Пейзаж не только фон – это «сценическая площадка», на которой разыгрывается действие. Пейзаж конкретизирует изображение событий. В XVII веке роль пейзажа еще более подымается, и здесь он

приобретает конкретные, местные черты. Описание природы Сибири в сибирских летописях не может относиться ни к какой другой местности, кроме Сибири. Даурский пейзаж в «Житии» Аввакума есть именно даурский пейзаж, и вместе с тем это описание природы Даурии имеет уже все функции пейзажа, свойственного литературе нового времени. Он служит своеобразным обрамлением для душевных переживаний самого Аввакума, подчеркивает его смятенное состояние, титаничность его борьбы, его одиночество, создает эмоциональную атмосферу, пронизывающую рассказ, позволяет зрителю представить себе происходящее. Он служит изображению, и он все более приобретает индивидуальные черты, сопутствуя росту личностного начала в русской литературе XVII века.

Рост личностного начала в литературе XVII века сказался и в некоторой индивидуализации прямой речи действующих лиц. Процесс этот только-только начался, но он тем не менее уже очень значителен.

Древняя русская литература до XVII века обильно насыщена прямой речью героев. Герои произносят длинные речи, молитвы, обмениваются короткими обращениями друг к другу. Но при всем обилии прямой речи действующих лиц – речь эта не индивидуализирована. Прямая речь по большей части носит книжный характер. В речах действующих лиц дается мотивировка их поступков, изображается их душевное состояние, их мысли – при этом в предписываемых литературным этикетом формах. Между речами персонажей и изложением автора нет ни стилистических, ни языковых различий. Действующие лица говорят «гладко» и литературно. Поэтому до XVII века по большей части речь действующего лица – это речь автора за него. Автор – своего рода кукловод. Кукла лишена собственной жизни и собственного голоса. За нее говорит автор своим голосом, своим языком и привычным стилем. Автор как бы переизлагает то, что сказало или могло сказать действующее лицо. Персонажи еще не обрели своего собственного языка, своих, только им присущих слов и выражений. Этим достигается своеобразный эффект немоты действующих лиц, несмотря на всю их внешнюю многоречивость. Литературное произведение – как бы пантомима, комментируемая авторским голосом. Даже во многих произ-

ведениях XVII века мы еще не слышим героев, а только читаем их речи. Так, например, при всей новизне и остроте образа молодца в «Повести о Горе-Злочастии» — это еще «немой» персонаж: как бы некоторая тень. Вместе с тем прямая речь не выделена не только в своих индивидуальных особенностях, но и в своих профессиональных и социально-групповых разветвлениях и диалектных формах. Прямая речь до XVII века — это главным образом способ повествования, а не способ показа происходящего.

Все, что я только что сказал, — это, конечно, в какой-то мере неизбежная в кратком изложении схематизация. Внимательное изучение истории прямой речи покажет в будущем множественность ее функций и обилие исключений. Однако об одном исключении следует сказать уже сейчас. Прямая речь в летописях, особенно древнейших, отнюдь не лишена характерности для персонажей. Очень часто, даже чаще, чем обратное, — это речь именно действующих лиц, а не летописца. Этому есть конкретная причина: летописец очень близко передавал речи своих персонажей к действительно произнесенным. Речи в летописях документальны. Не все, конечно, но очень многие. Естественно, что эти речи сохраняют индивидуальные особенности тех, кто их произносит. Сознательно или несознательно сохраняет летописец индивидуальные особенности речи — это сказать пока еще трудно. Необходимы дальнейшие исследования. Одно можно сказать: по мере того как в литературе усиливается элемент художественного вымысла — речи действующих лиц не индивидуализируются, а, напротив, нивелируются, сливаются с речью автора. Такие нивелированные речи мы встретим в житиях святых, в хронографах и степенных книгах, где, как известно, вымысла больше, чем в летописях. Даже в первой половине XVII века в повестях о Смуте, а в конце XVII века в «Повести о Савве Грудцыне» речь действующих лиц книжна и бесцветна. Действующие лица говорят, но не разговаривают. В их речах нет живых интонаций и нет индивидуальной манеры говорить. Попытка индивидуализации прямой речи в «Повести о Савве Грудцыне» сделана только для беса, но эта индивидуализация касается не речи самой по себе, а только манеры, в которой бес говорит Савве: то «осклабився», то «рассмеявся», то «возсмеявся», то «улыбаяся». В языковом же отношении речи бе-

са, Саввы, Бажена Второго, его жены, главного сатаны и других не различаются между собой.

Прямая речь вводится часто как мотивировка действий или для раскрытия внутреннего состояния действующих лиц. При этом характерно, что мысли беса скрыты автором от читателя. Монологически выражаются лишь мысли Саввы: Савва постоянно «помышляше в себе», «он же помышляше, глаголя в себе», «и помыслив таковую мысль злую во уме своем, глаголя», «рад бысть, помышляя в себе» и т. д. Часто в форме прямой речи автор объявляет о решении действующего лица. После прямой речи автор прямо сообщает о случившемся или об исполнении решения как о чем-то само собой разумеющемся. Сам по себе диалог в повести развит слабо, не выходит за пределы вопросов и ответов, предложений и согласий или отказов. Так или иначе прямая речь в повести является лишь способом повествования, а не способом показа действия, события. Она объясняет мотивы поступков, но не характеризует действующих лиц. Прежде чем индивидуализироваться, речь действующих лиц становится разговорной, живой. Она органически связывается с ростом в литературе бытовых элементов и со снижением сюжетов и персонажей. Вот почему живые интонации прежде всего проникают в демократическую литературу, в демократическую сатиру, в произведения, связанные с фольклорной стихией.

Индивидуализация прямой речи идет по мере того, как снижается речь самого автора, становится менее высокопарной и книжной. Разговорные элементы проникают в демократической литературе второй половины XVII века в повествование и в прямую речь. Только с этой поры стала возможной и индивидуализация речи. Речь действующих лиц не может индивидуализироваться сама по себе, независимо от других процессов в языке и содержании литературы. Живостью прямой речи отличается прежде всего «Повесть о Фроле Скобееве». Прямая речь действующих лиц «Повести о Фроле Скобееве» еще слабо индивидуализирована, но тем не менее она уже резко отличается от авторской речи. В ней соблюдены живые интонации устной речи. Ср., например: «Поди, скажи той мамке...», «Ну, сестрица, пора тебе убиратся и ехать в гости», «Принеси, сестрица, и мне девичей убор, уберуся и я...», «Полноте, девицы, веселица!», «Ну, мамушка,

изволь, как твоя воля на все наши девичьи игры», «Изволь, госпожа Аннушка, быть ты невестою», «Настоящей ты плут, что ты надо мною зделал?..», «Встань, плут! Знаю тебя давно, плута, ябедника. Знатно, что наябедничал себе несносно. Скажи, плут! Буде сносно, стану старатся о тебе, а когда не сносно, как хочешь. Я тебе, плуту, давно говорил: живи постоянно. Встань скажи, что твоя вина?», «Жена, жена! Что ты ведаешь, я нашел Аннушку!» — и т. д.

Замечательно и то разнообразие, с которым вводится в повесть прямая речь действующих лиц: то Нащокин «закричал», то он «плачет и кричит», то стал «рассуждать з женою», то «приказал», то «спрашивает ево», то стольники «имели между собой разговоры», то Ловчиков «объявил» и т. д. Может быть отмечено в «Повести о Фроле Скобееве» и искусное ведение диалога.

Живые интонации и живая, разговорная лексика свойственны всем действующим лицам «Жития» протопопа Аввакума. Это произведение хорошо известно, и поэтому нет необходимости приводить примеры. Но вот на что следует обратить внимание. Речи действующих лиц сильно разнообразятся в зависимости от того, при каких обстоятельствах они произнесены. Сам Аввакум говорит по-разному в зависимости от того, молится ли он, проклинает ли никониан, «лает» ли своего мучителя Пашкова, взывает ли о помощи к Богу, разговаривает ли со своими последователями. Речи разнообразны, но при этом все же слабо индивидуализированы. Трудно отличить речи врагов Аввакума от речей самого Аввакума, и тем не менее в общей массе это различие есть. Речи Аввакума отличаются от речей его последователей и даже врагов большей «сниженностью», обилием бранных и просторечных выражений, но это пока сделано не для того, чтобы подчеркнуть неуимчивый характер Аввакума, а из авторской скромности: Аввакум унижает себя низкой речью, подчеркивает свою «грубость», необразованность, некнижность. Конечно, в этом есть уже доля речевой самохарактеристики.

Живая разговорная речь, казалось бы, должна была бы прежде всего отразиться в русской драматической литературе — уже в первых пьесах русского театра. Но этого не случилось. Мешала «высокая тематика» этих драм. Речи персонажей «Артаксерксова действа» не менее приподняты

и искусственны, чем речи Хронографа. Только с появлением интермедий с их сниженной тематикой достижения демократической литературы в передаче разговорной речи стали достоянием театра.

Дальнейшая индивидуализация прямой речи, разделение ее по профессиональным и социальным признакам, индивидуально-характеристические черты речей отдельных лиц и пр. могли проявиться только с развитием чувства стиля и потребовали почти столетия для своего осуществления.

Эмансипация человеческой личности в литературе шла по многим линиям. Она была одновременно и эмансипацией сюжетного построения литературного произведения. Если раньше самостоятельность действия произведения была скована божественным вмешательством, божественной волей и действие совершалось в пределах извечной борьбы добра и зла, то теперь повествование начинает развиваться по преимуществу по законам жизни и сюжетного построения.

Одно из самых замечательных произведений XVII века — «Повесть о Тверском Отроче монастыре» — позволяет проследить развитие повествовательного искусства. Повесть рассказывает о довольно обычной житейской драме: невеста отказывает своему жениху и выходит замуж за другого. Конфликт возрастает оттого, что оба героя повести, и бывший жених и будущий супруг, связаны между собой дружбой и феодальными отношениями: первый слуга, «отрок» второго. Второй — его господин. Замечательную особенность повести составляет то, что она не строится на обычном для средневековых сюжетов конфликте добра со злом. Борьба злого начала с добрым, которая всегда почти являлась «двигателем сюжета» древнерусских произведений, вызывала потребность следить за его развитием, желать торжества добру над злом, — в сюжете «Повести о Тверском Отроче монастыре» отсутствует полностью. В повести нет ни злых персонажей, ни злого начала вообще. В ней отсутствует даже социальный конфликт: действие происходит как бы в идеальной стране, где существуют добрые отношения между князем и его подчиненными. Крестьяне, бояре и их жены строго выполняют указания князя, радуются его женитьбе, с радостью встречают его молодую жену — простую крестьянку. И тем не менее конфликт налицо — конфликт острый, трагичный, заставляю-

щий страдать всех действующих лиц повести, а одного из них, отрока Григория, уйти в леса и основать там монастырь. Это происходит потому, что впервые в русской литературе конфликт перенесен из сферы мировой борьбы зла с добром в самую суть человеческой природы. Двое любят одну и ту же героиню, и ни один из них не виноват в своем чувстве. Виновата ли Ксения в том, что предпочла одного другому? Конечно, и она ни в чем не виновата, но в оправдание ее автору пока еще все же приходится прибегать к типично средневековому приему: Ксения следует божественной воле. Она послушно выполняет то, что ей предначертано и чего она не может не сделать. Этим самым автор как бы освобождает ее от тяжести ответственности за принимаемые ею решения: она, в сущности, ничего не решает и вовсе не «изменяет» Григорию; она только следует явленному ей сверху. Разумеется, это вмешательство сверху ослабляет земной, чисто человеческий характер конфликта, но об этом вмешательстве рассказывается в повести в высшей степени тактично. Вмешательство судьбы не имеет церковного характера. И в этом новизна повести. Нигде не говорится о видениях Ксении, о ее вещих снах, слышанном ею голосе или о чем-либо подобном. У Ксении дар прозорливости, но эта прозорливость имеет не церковный, а вполне фольклорный характер. Она «знает» то, что должно совершиться, а почему знает — об этом читателю не сообщается. Она знает так, как знает будущее мудрый человек. Ксения — «мудрая дева», персонаж, хорошо известный в русском фольклоре и отразившийся в древнерусской литературе: вспомним деву Февронию в «Повести о Петре и Февронии Муромских» XVI века.

Повествовательность представлена в «Повести о Тверском Отроче монастыре» в более развитом и усложненном виде. Автор ее нашел средства в самом сюжете для выражения своей всепримиряющей точки зрения. Конфликт повести вызван не наличием в мире добра и зла, но самой природой человека. Любовь к одной и той же героине ведет к трагическому разладу двух одинаково хороших, совсем идеальных людей: великого князя и его отрока. Любовь к Ксении двух юношей безраздельно господствует в повести и мотивирует их поступки. Она захватывает действующих лиц сразу, и вызывается она только красотой дочери простого сельско-

го пономаря. Перед этой красотой преклоняются все, и она всех примиряет с неравным браком князя: селян и горожан, слуг и бояр. Это черта нового времени. Необычайная судьба Ксении всячески подчеркнута в самом сюжете: своего согласия на брак с нею своего слуги не давал сам великий князь – истинный жених и «суженый» Ксении. Вещие сны князя, не имеющие, однако, характера церковных «видений», мудрое предвидение Ксении, сказочно-вещее поведение сокола князя – увеличивают интерес повествования, интерес ожидания конца, подчеркивают необычайность совершающегося. Автор почти не интерпретирует событий от своего собственного имени. Оценка событий дана самими событиями, – тем, как они развиваются и что случается с людьми.

Поступки действующих лиц определяются до женитьбы князя не расчетом, а чувствами всех троих. Чувство – как двигающая сила сюжета, и при этом сила «благая» – впервые входит в русское повествование в такой форме и с такой интенсивностью.

В результате сюжет «Повести о Тверском Отроче монастыре» собран и един, прост и мотивирован внутренне. Искусство повествования нашло новый источник логики повествования в самой природе человека. Сюжет развивается по своим законам и по законам жизни, а не по велениям церковной морали.

Он тоже эмансипирован и «индивидуализирован». Чтобы понять, как и вследствие чего это происходит, – обратим внимание на роль расширения среды, в которой развиваются «эмансипирующиеся» сюжеты.

Не меньшее значение для литературы, чем расширение социального круга читателей и авторов, имело и расширение социального круга, в котором происходило действие произведений.

В русской средневековой литературе отчетливо выступает связь среды, в которой развертывается действие произведения, с самим типом повествования. Вот, например, жития святых. В основном святые в Древней Руси были либо рядовыми монахами (основатели монастырей и подвижники этих монастырей), либо иерархами церкви (епископы, митрополиты), либо князьями-воинами и князьями-мучениками. Соответственно делились и типы агиографической литературы.

Не только каждый из святых действовал согласно этикету своей среды, но и самый сюжет развивался согласно литературному этикету. Рассказчик-церемониймейстер вводил своего героя в событийный ряд, соответствующий занимаемому героем положению, и обставлял рассказ о нем подобающими этикетными формулами.

Следовательно, искусство повествования было ограничено рамками литературного этикета. Ограничения эти, впрочем, касались не всех сфер, а лишь наиболее официальных, — тех, в которых поведение действующих лиц подчинялось официальным церковным идеалам и официальным способам изображения. Там, где свобода творчества была сравнительно мало подчинена этим требованиям, — повествование развивалось более свободно.

Рассказы о чудесах святого были гораздо реалистичнее самого жития, — как клейма иконы реалистичнее изображения в среднике. В рассказах о чудесах внимание повествователя сосредоточивалось не столько на самом святом, сколько на тех, кто его окружал, кто был объектом его нравственного или сверхъестественного воздействия. Поэтому чудеса происходят в более разнообразной и часто в гораздо менее «официальной» среде: в купеческой, крестьянской, ремесленной и т. д. Действующие лица оказываются рядовыми людьми, они ведут себя свободнее, они важны не сами по себе, а как объект воздействия чудесной силы молитвы святого. Особенное значение имели те чудеса, в которых действие разворачивалось в купеческой среде. Эти чудеса дали постепенно особую жанровую разновидность повествования литературы Древней Руси — повести о купцах.

Повести о купцах в какой-то мере продолжают эллинистический роман, приемы и сюжеты которого проникли к нам через многие переводные жития — типа «Жития Евстафия Плакиды». Эти жития-романы были распространены на Руси в Четьих-Минеях, прологах и патериках. Так же как жития-романы, повести о купцах рассказывают об опасных путешествиях, во время которых происходят всяческие приключения героев: главным образом кораблекрушения и нападения разбойников. В повестях о купцах обычны испытания верности жены во время долгого отсутствия мужа, кражи детей, потом неузнанных или узнанных, предсказания и их исполнения.

Важно, что повествование о купцах не подчиняется в такой мере этикету, как повествование о героях более «официальных» – церковных деятелях или военных. Чудесный элемент повествования получает в повестях о купцах иное значение и имеет иной характер, чем в агиографической литературе. В агиографической литературе чудо – вмешательство бога, восстанавливающего справедливость, спасающего праведника, наказывающего провинившегося. В литературе о купцах чудесный элемент часто – чародейство. Это чародейство иногда не может осуществиться, а иногда сводится на нет усилиями героя или вмешательством божественной силы. Чудесный элемент – это и вмешательство дьявола, злой силы, тогда как в житиях ему противостоит вмешательство Бога. Вмешательство Бога в житиях уравновешивает, восстанавливает справедливость, сводит концы с концами. Чародейство, волхвование и пр. в купеческих повестях, наоборот, завязка действия.

Но расширение социальной сферы действия литературных произведений не ограничивается купцами. Действие перебрасывается в сферу низшего и при этом также не отличающегося святостью поведения мелкого духовенства – белого и черного («Стих о жизни патриарших певчих»), кабацких ярыжек, кабацких завсегдатаев, мелких судебных служащих, крестьян и т. д. Это расширение сферы действия снижало изображение и изображаемое, повышало изобразительность литературного изложения, вводило в литературу новые сюжеты, усложняло интригу и т. д. Расширение социального круга действующих лиц идет все время параллельно с расширением круга «возможностей» литературы: в области сюжетов, мотивов, изобразительных средств и т. д.

* * *

Что такое барокко в России XVII века? Литературное направление или «стиль эпохи»?

Стиль эпохи развивается в те периоды, когда художественное творчество, наука и религия недостаточно дифференцированы. Художественность пронизывает собой все стороны культуры. Эстетические импульсы проникают в представления о мироустройстве, оформляют религиозную концепцию. Даже удобства быта приносятся в жертву художественности. Все социальные установления подчиняются раз-

витой церемониальности, символике, этикету, согласующимся с эстетическими идеалами эпохи. Таково Средневековье — особенно раннее, эпоха господства могущественнейшего стиля эпохи — романского (стиль этот называется еще «романеск», а в Англии — «норманским»; для Византии, южных славян и Руси он не имеет названия).

Романский стиль захватывает собой не только зодчество, с ним согласуются эстетические нормы в изобразительных и прикладных искусствах, в словесном искусстве, в музыке. Ему подчиняется стиль политической мысли, стиль науки, стиль церемониальности.

Столь же широки Ренессанс и отчасти барокко. Однако по мере дифференциации человеческого творчества сфера действия стиля становится все у́же. Думаю, что барокко не захватывает собой науку, оно менее определенно, чем стиль романский, выражено в политической мысли и в быту.

Классицизм захватывает собой только зодчество, изобразительные искусства, музыку, литературу, искусства прикладные, садово-парковое искусство.

Романтизм еще у́же. Ему слабо подчиняется зодчество, хотя он еще могуществен в литературе, музыке, живописи, балете.

Реализм — это стиль литературы (и прозы по преимуществу) и изобразительных искусств, но он уже менее ярко представлен в музыке, с ним не согласуется балет. Его не может быть в архитектуре.

Дальше идут только направления в литературе, живописи, зодчестве[1]. Это неизбежное следствие роста человеческой культуры — процесс ее дифференциации.

В Древней Руси до XVII века не было литературных направлений. Литература подчинялась стилю эпохи. Для авторов литературных произведений не было выбора между тем или иным направлением в искусстве. Искусство, наука, религия, быт в своем стилистическом выражении были едины. Литература разнообразилась в выражаемых ею идеях резче,

---

[1] Три категории стилей в зависимости от широты их распространения в различных искусствах устанавливает Тибор Кланицаи в своей интересной статье: *Clanizay Tibor*. Styles et histoire du style. «Littérature hongroise — littérature européenne» // Etudes de littérature comparée, publiées par l'Académie des sciences de Hongrie à l'occasion du IV[e] Congrés de l'A.J.L.C. Budapest, 1964. P. 22–23.

чем в новое время, более отчетливо проходили границы литературных жанров, но «знаковая система» искусства была общей. XVII век – это век решительного углубления процесса дифференциации во всех областях культуры. Литература дифференцируется по классовому признаку. Появляется новая, отсутствовавшая до того народная литература – литература демократических слоев населения; создается литература придворная. Резкое разграничение возникает между светской частью литературы и церковной, между научной и художественной.

Барокко явилось на Руси со стороны: из Польши, Украины, Белоруссии. На Руси оно стало иметь другое значение, чем в Западной и Центральной Европе. Оно выполняло в XVII веке в России роль Ренессанса[1].

Это парадоксальное положение коренным образом изменило характер стиля.

Барокко в его незаимствованных формах – там, где оно выступает в творчески переработанном на Руси виде, не переламывает человеческой натуры, не пугает контрастами и нечеловеческими усилиями, не сгибает и не перегибает крупные массы: оно жизнерадостно и декоративно, стремится к украшениям и пестроте. Не случайно так называемое нарышкинское барокко в архитектуре так ярко в цветовом отношении, так охотно использует контрастную окраску, наружную позолоту, затейливые формы.

---

[1] В своем ответе на вопрос «Была ли так называемая "литература барокко" в славянских странах?» И.П. Еремин писал: «Восточно-славянские литературы – и в этом их своеобразие – эпохи Возрождения не переживали. К барокко они пришли, минуя Возрождение, непосредственно от Средневековья» (Сборник ответов на вопросы по литературоведению. IV Международный съезд славистов. М., 1958. С. 84). Однако И.П. Еремин не сделал из этого соответствующих выводов для определения роли, значения и характера русского барокко. В своей интересной статье «Проблема барокко в русской литературе XVII – начала XVIII века» А.А. Морозов писал в связи с утверждением И.Н. Голенищева-Кутузова, что в XVII веке у славян «обнаружится (в результате будущих исследований. – *Д.Л.*) наследие Возрождения, может быть, гораздо более значительное, чем в ту же эпоху на Западе»: «Это предположение вполне оправданно, если принять во внимание сложные условия рецепции Ренессанса, в особенности у восточных славян, где барокко как бы приняло на себя функцию Ренессанса, облекая в свои формы его запоздалые проявления». Это драгоценное замечание о барокко у восточных славян не было, однако, достаточно развито А.А. Морозовым (см.: *Морозов А.А.* Проблема барокко в русской литературе XVII – начала XVIII века: (Состояние вопроса и задачи изучения) // Русская литература. 1962. № 3. С. 17).

Наиболее ранний образец барокко в живописи России — роспись церкви Троицы в Никитниках (Москва, 1652–1653 годы). Этот великолепный памятник необыкновенной сохранности и эстетической привлекательности несомненно принадлежит к барокко, но барокко росписи в Никитниках жизнерадостно и декоративно. Сцены ужасов смягчены. Композиция Страшного суда с западной стены центрального помещения перенесена в притвор. Излюбленная идея барокко — vanitas (суетность мира сего) и discordia concors (объединение неожиданностей) отсутствуют.

Литературное барокко сказалось по преимуществу в литературе верхов феодального общества — в поэзии Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, Андрея Белобоцкого и др., в театре, в официальной историографии, в переводной литературе и т. д. Барокко неравномерно захватило собой литературу, позволяя авторам делать выбор: примыкать или не примыкать к нему. Барокко в России было поэтому не столько «стилем эпохи», а в полном смысле этого слова направлением, одним из течений в литературе, в архитектуре, в живописи.

Чем характеризуется это первое направление русской литературы? Барокко служило эмансипации человеческой личности, секуляризации литературы. Оно развивало веру в человеческий разум, в науку, впервые после Средневековья создавало в России представления о социальном прогрессе и вызывало надежды на реформы в государственной и социальной жизни. В этом отношении не случайно его появление накануне Петровских реформ. Поскольку барокко в России приняло на себя функции Ренессанса, оно тесно связано с просветительством. Сборники стихов Симеона Полоцкого напоминают собой энциклопедические словари. Темы его стихов и самые общие — «купечество», «неблагодарствие», любовь к подданным, славолюбие, закон, труд, воздержание, согласие и т. д., и конкретные — различные звери, гады, рыбы, птицы, деревья, травы, драгоценные камни и пр. Трактуются в стихах Симеона Полоцкого и отдельные исторические личности, исторические события, описываются дворцы, церкви и пр. Стихи сообщают сведения и учат морали. Это поэзия «педагогическая». Искусство лишь стилистически организует сообщаемые сведения. Оно превращает стихи в орнамент, пе-

стрый, веселый и занимательный. Орнаментальность достигает пределов возможного. Изображение дробится и мельчится. Сюжет построен замысловато. В целом орнамент барокко динамичен, но без свойственного западному барокко борения масс. Орнамент курчавится по поверхности, не столько выражает существо предмета, сколько украшает его. Литературные сюжеты многопредметны. Сами стихи строятся в виде орнамента или простых фигур: креста, ромба, орла, звезды и пр. Стихи напоминают строгановские или царские письма в иконописи — та же орнаментальность, та же «мелкопись», та же «драгоценность» и украшенность. Содержание в значительной мере заслонено драгоценным окладом формы.

Ужасы барокко дошли до России лишь в заимствованных и переводных формах и произведениях. Русское барокко, там, где оно действительно русское, а не переводное, — человечно, а не сверхчеловечно. Венгерский ученый А. Андьял связывает с барокко творчество Аввакума[1]. Вслед за ним объявляет Аввакума барочным писателем и А.А. Морозов[2]. В Аввакуме действительно есть барочные черты. Но насколько аввакумовское барокко человечнее барокко западноевропейского! А. Андьял и А.А. Морозов подчеркивают ужасы и мучения, изображенные в «Житии» Аввакума. Но на изображении ужасов сосредоточивалась в той или иной мере вся русская средневековая литература. Их можно найти в Хронографе и в житиях святых. Новое в «Житии» Аввакума — это не столько ужасы, сколько человеческий быт, человеческие чувства, умение войти в психологию другого человека — даже врага. Новое в «Житии» — это курочка, несшая Аввакуму по два яйца в день, это щи, которые приносил ему похлебать ангел в тюрьму Андроникова монастыря, это рыба, которую давал Бог в сети Аввакуму, и т. п. В самих мучительствах Аввакум находил смягчающие их черты, а в мучителях — человеческие свойства. Рассказывая об ужасах своей жизни (а они ведь действительно были, и не придуманы для стилистической выдержанности), Аввакум всячески смягчает их: «И смех с ним и горе». Не устрашает его и бесовская «игра». Аввакум всячески

---

[1] См.: *Angyal A.* Die slavische Barockwelt. Leipzig, 1961. S. 61–64 и др.

[2] См.: *Морозов А.А.* Проблема барокко в русской литературе XVII — начала XVIII века (Состояние вопроса и задачи изучения). С. 29 и след.

подчеркивает, что ему не страшно, когда раскрывается верхняя доска на гробе или саван на мертвеце шевелится, «устрашая» его. Аввакум, помолясь, осеняет мертвеца «и бысть по-прежнему все». С верою да с молитвою ничего не страшно. Даже когда бес стал бить Аввакума, то и боли он на себе не чует: «бьет, а ничто не болит». Аввакум не устрашает читателя, а, наоборот, хочет внушить ему уверенность: с богом да с правою верою нет в жизни ничего страшного. Есть в жизни только один страх — страх Божий. И все ж таки даже Бог не страшен. «Татарский бог Магмет, — пишет Аввакум, — написал во своих книгах сице: "непокаряющихся нашему преданию и закону повелеваем главы их мечем подклонити". А наш Христос ученикам своим никогда так не повелел». О своих мучителях Аввакум говорит: «Я своево мучения на них не спрашиваю... Молитися мне подобает о них, о живых и о представльшихся». Мучителей он называет «бедными», «горюнами», жалеет их, считает глупыми, ничтожными, невежественными. Даже своего главного мучителя в Даурской земле — Пашкова — он описывает не без симпатии. Железы, наложенные на правоверных, рассыпаются; битье не больно; урезывание языка ни к чему не приводит — языки отрастают вновь.

И юмор Аввакума — не барочный, не стремится к гротеску. Юмор Аввакума как бы слегка светится и как бы согревает воспоминания. Припоминается ему, как валились друг на друга его люди, совсем как в комической сцене какого-нибудь скоморошьего или кукольного представления: «Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет да и повалится, — кольско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нея набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: "Матушка-государыня, прости!" А протопопица кричит: "Что ты, батько, меня задавил?"» Если все это в «Житии» Аввакума барокко, то барокко это тесно примыкает к реалистичности.

В барокко участвовали разные силы, среди них были и такие, которые тянули к быту и к человеку. Они-то и оказались сродни тому «ренессансному барокко», которое было характерно для России. Повторяю: в России XVII века барокко играло роль Ренессанса, поскольку стадия настоящего и полно-

кровного Ренессанса была в России пропущена, и это недостающее звено развития надо было восполнить.

А чем, собственно, были представлены барочные элементы в русской живописи: иностранных живописцев, приглашенных в Оружейную палату, заставляли прежде всего писать портреты, а русских — украшать, декорировать, орнаментировать, создавать произведения, радующие глаз, интригующие воображение, заставляющие удивляться, искать разгадки мастерства.

* * *

Рост личностного начала во всех сферах литературного творчества, развитие изобразительности, эмансипация вымысла, появление первого литературного направления, расширение круга читателей, появление народной литературы, рост национальных черт в литературе — все это было симптомом зарождения новой литературной системы — системы, отошедшей от средневекового типа. XVII век был веком необычайной пестроты литературных жанров. Наряду со средневековыми жанрами, основанными на принципах их употребления в церковном, государственном и частном обиходе (жанры средневековой литературы в той или иной мере имели «деловую» предназначенность), возникают новые жанры, предназначенные только для частного чтения. Те и другие существуют одновременно. Так, например, наряду с подлинными дипломатическими посланиями появляются послания «подложные», вымышленные, предназначенные для чтения только. Создается, например, занимательная переписка Ивана Грозного с турецким султаном. Наряду с подлинными дипломатическими отчетами русских послов, так называемыми «статейными списками», создаются вымышленные статейные списки — Сугорского и Ищеина. Деловые документы все чаще составляются в расчете на их прочтение многими читателями. Возникают пародии на деловые документы, на судебные процессы («Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде»), на богослужение («Служба кабаку»), на путники и дорожники, даже на лечебники («Лечебник на иноземцев»). Возникает сатира и сатирические жанры. Появляется систематическое стихотворство и многочисленные стихотворные жанры. Зарождается театр и драматургия с ее

особыми жанрами. Фольклор осознается как особый вид словесного творчества и начинает записываться. Вместе с тем возникают первые книжные подражания фольклору и его жанрам: песни, написанные для Ричарда Джемса, лирические песни Квашнина-Самарина, «Повесть о Горе-Злочастии». Разнообразятся исторические жанры, которые все больше и больше входят в развлекательное чтение. Появляются историко-фантастические повести вроде «Сказания о начале Москвы», летописи приобретают характер связного исторического повествования, не только рассказывающего об истории той или иной области (например, Сибири), города, исторического лица, но и осмысляющего эту историю, преподносящего ее в литературно украшенной форме. Возникают плутовские повести (повесть о «плуте» Фролке Скобееве), приключенческие повести. Все богаче становится литература легенд. Возникает мемуарная литература.

Никогда еще ни до XVII века, ни после русская литература не была столь пестра в жанровом отношении. Здесь столкнулись две литературные системы: одна отмиравшая, средневековая, другая зарождающаяся — Нового времени.

В спорах об искусстве (сочинениях Симона Ушакова, Иосифа Владимирова, Аввакума) зарождалась эстетическая критика, но не было еще периодики, столь необходимой для развития литературы нового типа. Переводная литература еще не захватывает собой первоклассных произведений современной литературы Западной Европы. Секуляризация литературы не была еще полной.

Из двух борющихся и смешивающихся литературных систем литературная система нового времени не одержала еще в XVII веке полной победы.

* * *

Те историки древней русской литературы, которые когда-то видели в новом периоде русской литературы только результат ее петровской «европеизации», механического приобщения к ценностям европейского литературного опыта через петровское «окно в Европу», рассекали единое развитие русской литературы. Они, с одной стороны, механически пресекали развитие русской литературы, считали его искусственно, внешне прекращенным, а с другой стороны, готовы

были счесть, что новая русская литература возникла в результате усвоения западно-европейского опыта на бесплодной почве, как источник, высеченный из скалы. Эти представления были, конечно, связаны с крайним преувеличением роли Петра в русской исторической науке, с отрицанием непрерывности национальных традиций и предположениями, что литература может возникнуть только из одного опыта иностранной литературы, не будучи к тому подготовлена внутринациональным развитием.

Как мы видели, в течение всего XVII века совершался длительный процесс перехода от средневековых художественных методов в литературе к художественным методам литературы Нового времени, от средневековой структуры литературных жанров к структуре жанров нового типа, от средневековой корпоративности к индивидуализированному творчеству Нового времени. Именно этот переход подготовил возможность приобщения русской литературы к опыту передовой литературы Западной Европы, ее «европеизации», но вместе с тем этот же переход к новой системе литературы уже сам по себе был ее «европеизацией». Литературная система Нового времени была подготовлена в России до восприятия литературой передового западно-европейского опыта — еще в XVII веке. Форма в данном случае пришла до содержания. Новое вино было влито в новые мехи, как бы специально для этого сшитые. Не случайно В.И. Ленин относил к XVII веку начало «нового периода русской истории»[1].

Древняя русская литература и новая русская литература — не две разных литературы — одна внезапно прервавшаяся, а другая внезапно начавшаяся, а единая литература, но с опозданием совершившая переход от средневековой литературной системы к литературной системе Нового времени, а поэтому вынужденная на ходу перестраивать и восстанавливать свои связи с передовой литературой Западной Европы.

В силу своего средневекового типа русская литература в XV–XVII веках ограничивала свои европейские связи только теми европейскими литературами, которые сохраняли тот же средневековый тип литературной системы, или ограничивала свои переводы только теми произведениями, которые

[1] *Ленин В.И.* Собр. соч. Т. 1. С. 137.

были у себя на родине уже далеко не новыми и не передовыми. Когда же в XVII веке переход к новому периоду русской истории совершился и литература древнерусская перестала быть средневековой по всему своему строю, — стал возможным и интенсивный процесс усвоения опыта лучшей западноевропейской литературы: литературы личностной, создаваемой гениальными писателями.

В так называемую Петровскую эпоху, занятую ускоренным развитием экономики и государственности, было «не до литературы». Но со второй трети XVIII века усвоение опыта передовых западно-европейских литератур начинает совершаться интенсивно, и именно с этого периода можно считать окончательно утвердившимся новый период русской литературы.

Система жанров средневековой литературы в XVIII веке не отмерла. Она продолжала существовать в церковной, старообрядческой среде и среде крестьянства и простого городского люда. Продолжали читаться и составляться жития, возникали новые редакции старых, известных житий. Переписывались старые сборники, составлялись даже летописные заметки, усиленно читались и такие памятники, как Пролог, Четьи-Минеи (особенно в редакции Дмитрия Ростовского), Степенные книги, «Казанская история» и т. п.

По количеству списков средневековых русских произведений XVIII век не уступает предшествующим векам. И дело здесь не только в простой их сохранности. Сохраняется и европейское значение средневековой русской литературы для Молдавии, Валахии, Болгарии, Сербии, куда продолжают вывозиться русские рукописи и печатные издания. И тем не менее средневековая русская литература утратила свое значение в литературном развитии России. Средневековая литературная система отступила на второй план. Первый план занят теперь новой литературной системой, системой жанров, соответствующей западно-европейской. Появляется литературная периодика, в литературу входит новый способ распространения произведений — с помощью печатного станка. Литература получает новое культурное «окружение» и поддержку: в театре, критике, журналистике, в новой науке и новой философии.

Литературная система русского XVIII века ничем уже не отличается от литературной системы передовых западно-ев-

ропейских стран. И это сделало возможным усвоение опыта всех европейских литератур, а не только тех, которые принадлежали к средневековому типу. Образование новой литературной системы не было простым результатом Петровских реформ. Эта система издавна подготовлялась в русской литературе, и ее появление не явилось неожиданностью. XVII век – это мост между древним и новым периодом русской литературы, перейдя через который русская литература могла считать себя уже в новом периоде. Значение этого века в истории русской культуры приближается к значению эпохи Возрождения в истории культуры Западной Европы.



От Илариона и до Аввакума

XVII век

Двенадцать книг произведений древней русской литературы, опубликованных издательством «Художественная литература», – это только незначительная часть того, чем могла бы быть представлена великая книжная культура Древней Руси. Однако и этого немногого достаточно, чтобы отметить в ней основные характерные для нее черты.

В свете прочитанного или даже только просмотренного всплывают в изданных книгах черты, над которыми стоит задуматься. Каждая культура обладает своей непреходящей ценностью. Можно лишь отмечать их большее или меньшее своеобразие. Культура Древней Руси, а в ее составе и литература, принадлежит к особому типу. Типы культур нельзя оценивать. Поэтому попробуем только определить самые основные характеристические черты древнерусской культуры.

Публ. по: От Илариона и до Аввакума // Памятники литературы Древней Руси. XVII. М.: Худож. лит., 1994. Кн. 3. С. 620–630.

Нет смысла датировать, ссылаться и перечислять: произведения под рукой в изданных двенадцати томах. Итоги можно подводить не доказывая, а лишь указывая и называя.

Прежде всего отметим ее религиозный характер, а вместе с тем и особую весомость в ней нравственного начала. Этим определяется ее учительный характер и ее ритуальное назначение. Литература в ее наиболее высоких жанрах была как бы распространением «богослужения» на все человечество, «миросозерцанием» на весь мир истории, как ее представляли в Средние века, и на все явления обыденной жизни. В своих самых общих проявлениях литература была церемониальным обряжением жизни с точки зрения христианских идеалов, зовом к лучшему, а ее авторы – служителями добра.

Другая характерная черта литературы Древней Руси: это ее своеобразное понимание вечности. К вечности устремлена каждая культура, но вечность в каждой культуре своя, особая. Вечность может пониматься как вечно существующее прошлое (Египет), как вечность настоящего (эпоха Возрождения) или как вечность будущего.

Чехов в «Степи» говорит про русских: «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», т. е. не признает настоящего. Это в известной мере правильно. В Древней Руси не только прошлое, но и будущее заступали собой настоящее. Это было национальное восприятие вечности. Вечность – в прошлом, которую запечатлевает историческая литература во всех ее многочисленных жанрах, и вечность – в будущем, к которому стремится проповедь, публицистика, сатира, пытающаяся исправить настоящее ради идеального будущего.

Развлекательные жанры первоначально отсутствуют и только исподволь возникают и начинают занимать определенное место в XVI–XVII веках. Стремление заинтересовать сюжетно, в сущности, остается на втором месте.

Стремление к преображению мира, к созданию идеала святого – вернее, идеалов, – ибо каждые святые – это разные индивидуальности в пределах единой святости! Прославление святых и самой святости, а с другой стороны – осуждение тех, кто противодействует не только святости людей, но и святости Русской Земли – Святой Руси, – единой и вечной.

Понятие «Святой Руси» не предполагает святости на Руси всего и всех. Святая Русь – это только то, что в ней священно,

только ее ценная часть — это монастыри, церкви, иконы, мощи святых, ее святые предания и традиции, ее вера, церковная служба... Святая Русь соседствует с Русью грешной, но превозмогает ее своей силой. Это замечательно понял Н.А. Римский-Корсаков в своей опере «Сказание о граде Китеже». Дева Феврония соседствует в ней с Гришкой Кутерьмой. Кое в чем Святая Русь это и «Мать-сыра земля» древнерусского язычества. И еще ближе ей понятие Русской Земли, за целостность которой каждый по-своему боролся в Древней Руси мечом, пером и устным словом, призывая одних князей на княжеский стол и прогоняя других на вечевых сходках или в городских восстаниях.

Отображению в литературе идеала Святой Руси подчинены жития святых, слова и проповеди, исторические сочинения, летописи, хроники, бытовые повести. Все они в той или иной степени имеют своими темами русскую и всемирную историю, все они в той или иной мере отражают события, действительно имевшие место или претендующие на достоверность. Именно вследствие того, что древняя русская литература посвящена Русской Земле, — она глубоко исторична. Но историчность ее, конечно, своеобразная, средневековая.

Литература не всегда идеализирует действительность, но всегда борется за идеал. Она патриотична, поскольку стремится принести Русской Земле добро и святость. Она патриотична и в своих прославлениях, и в своих разоблачениях неправд князей и козней врагов. Литература представляет собой грандиозное судилище над всем совершавшимся и совершающимся в мире, своего рода Страшный суд. И она действительно имела огромное влияние на поведение людей, монархов, людей церкви и мирян.

Древнерусское словесное произведение — это прежде всего церемониальное обряжение жизни: слово во славу святого, во славу исторического деятеля, исторического события, слово, посвященное одной какой-либо теме; и слово, столь же церемониально разоблачающее неправду, — это «мирской суд» — суд народный.

Слово означает и то, что мы называем словом как языковой единицей, и слово как жанр, речь, литературное воплощение определенного сюжета.

Сообщение сведений — второстепенная цель церемониального повествования. Житие Сергия Радонежского, к при-

меру, – великолепное произведение, словесная симфония, но она дает мало сведений о его жизни. Оно – выражение молитвенного отношения к Сергию.

Всякое произведение о человеке или событии – своеобразная эмблема, герб, символ.

Познание в Древней Руси – это прежде всего словесное определение, словесный аналог, подобранный в Священном Писании или в существующей литературе для того или иного нового события, нового явления действительности. Это поиски нового в прежнем. Отсюда избыточность в литературе всего традиционного, полагающегося по словесному этикету, и поиски в новом уже бывшего, уже имеющего свои словесные определения – в Священном Писании или в богослужебных текстах.

Роль слова, содержательного слова, в древнерусской литературе огромна. И не только слова изолированного, но – словесных сочетаний, словесных формул, традиционных выражений, этикетных словесных оформлений любого передаваемого в литературе события, любой мысли.

Древнерусская культура, как мы уже сказали в начале, принадлежит к иному типу культур, чем культура Европы нового времени. Она не потому не имела университетов, что наука в ней была недостаточно развита, а потому не имела ни науки, ни университетов, что в ней преобладало мифологическое сознание. Мифологическое сознание отражалось прежде всего в самом языке. Слово как таковое и «словесные формулы» имели в нем значение знания и оценки. Если в Новое время знание определялось наблюдением и математическим расчетом, то в Древней Руси познание означало прежде всего называние явления, соотнесение его со Священным Писанием, с богослужебной литературой.

Древнерусское знание опиралось на словесное определение познаваемого, на нахождение ему в языке привычных традиционных формул. «Препирательство» из-за тех или иных слов, а также «исправления» текстов, особенно богослужебных и Писания, были нормальным явлением для древнерусской культуры. Эти «исправления» текстов возникали то в XIV–XV веках, то в XVI веке, то в XVII веке. Отсюда не только традиционность формул (воинских, агиографических, летописных и пр.), но и вообще роль обычая, этикета, традиционности в самом повествовании, в «видении мира».

С древнерусской точки зрения, нет ничего необычного в жизни, — ему нужно только найти место в священной традиции, в традициях книжности.

При этом слово в древнерусской литературе не только подчинено «этикетности», слово не только вводит обозначаемое явление в некую мифологическую систему, но обладает и оценочным характером. Оценка прежде всего выражается в приобщении или не приобщении рассказываемого, описываемого к «священному миру».

Словарный запас русского литературного языка создался на основе русского разговорного языка и письменного староболгарского, получившего у нас название церковнославянского. Большинство слов, особенно с отвлеченным значением, распространено в дублетах: одно русское — другое однородное церковнославянское. Из них слова церковнославянского языка оценивают обозначаемые ими понятия на наивысшем уровне, как бы освящают их. Русские же разговорные слова того же корня на фоне своих церковнославянских дублетов воспринимаются как эмоциональносниженные.

Южнославянское высокоречие и русское просторечие создают в русском литературном языке как бы два полюса напряжения, позволяющие не просто называть, но и оценивать явления. Примеры известны: город и град, берег и брег, дерево и древо, свеча и свеща. Различие между церковнославянским и русским языком настолько глубоко, что парные однокоренные слова начинают различаться не только по своему эмоциональному строю, но и по смыслу, создавая разные понятия (волочение и влечение, передел и предел и т.д.).

Кроме слов в русский литературный язык проникли из церковнославянского целые фразеологизмы, имеющие как бы освящающий и высокий характер. Священоречие и просторечие!

Благодаря такому двуречию русский литературный язык получил возможность оценивать рассказываемое, придавать содержанию высокий характер, необходимый для этикетного обрамления рассказываемого, основываясь только на типе слова, к которому оно принадлежит.

Оценка и возвышение рассказываемого могли состоять только в выборе слов и выражений. Церковнославянизмы имели очень многочисленные отличия от русской разговор-

ной речи. По ним главным образом и узналось их «высокое служение» в литературном языке.

Конечно, понятие о том, что относить к церковнославянизмам (т. е. староболгаризмам), в разное время менялось, но принцип оставался тем же и эмоционально-церемониальное «звучание» — общим для всех эпох, понятным и нам, несмотря на разделяющее нас время и разность литературных культур.

Впрочем, не следует думать, что главенствующее положение двуречья (я предпочитаю говорить о речи русской и речи церковнославянской, а не о двух языках) безраздельно господствовало в древнерусской литературе. Русская литература обладала тем, что я называю «стыдливостью формы», стремлением опростить речь, не только следовать литературному этикету и не только создавать церемониальное обряжение действительности, но и разрушать все то, что способствовало церемониальному возвышению передаваемого. Отсюда постоянные поиски новых жанров, заимствования жанров из деловой практики, стремление пародировать устоявшиеся жанры, особенно заметное в XVII веке.

Если древнерусский автор сталкивался с чем-то совершенно необычным, он прибегал к перевертыванию старого. Путешествует ли купец Афанасий Никитин в Индию — и он описывает ее как хождение в Святую Землю, но поскольку Индия не «святая», а языческая, он создает своеобразное «антихождение». Сталкивается ли Курбский с необходимостью описать жизнь царя-злодея — и он создает это описание как перевернутое житие — «антижитие», применяет формулы и словесные приемы жития, придавая им обратное значение. Зло — это перевернутое добро, злодеи — перевертыши.

И не таким ли «антипрославлением» бездумного решения новгород-северского князя Игоря выступить в поход является отчасти «Слово о полку Игореве»? «Наниче се времена обратишася» — иначе говоря, вывернут наизнанку («наниче») весь идеал единой Руси...

Русская литература прославляет и учит, следует традиции и обращает традицию в укор настоящему, живописует все доброе и разоблачает все злое. И все это во имя идеального будущего: справедливого к людям и святой Руси.

На ком же лежит ответственность за осуществление идеала в жизни? На отдельных людях! Главный герой древнерус-

ской литературы всегда личность, свободно выбирающая свою судьбу.

Именно через личность автора и его героев пробивается в литературное произведение все новое, что она несет. Личностное начало противостоит обезличивающей традиционности. Противостояние традиционности и личной свободы — это те два полюса, между которыми рождается творчество искусства. Два полюса — диалектика литературы. Между этими полюсами протягиваются силовые линии творчества. Личность выражает в своем произведении народное, национальное, общехристианское начало. Личность в Древней Руси — это творческое проявление традиционно высокого и общего.

И вот что особенно значительно: самовыражение автора осуществляется прежде всего в его произведении, а не в его житейском поведении.

О большинстве авторов, которых мы знаем, мы знаем главным образом через их произведения. Скупые биографические сведения не характеризуют авторов или не объясняют их как личностей.

Личность авторов реализуется в Древней Руси только в их произведениях, или по преимуществу в них. Поэтому мы так мало знаем об авторах и так редко авторы стремятся назвать себя. Иларион — прежде всего митрополит, Владимир Мономах — князь. Лишь в XVI и в XVII веках к самореализации автора в его произведении добавляются факты об их жизни: иногда дополняющие то, что уже знаем по их произведениям, но иногда же им противоречащие.

Особый интерес к личности проступает в древнерусской литературе прежде всего в создаваемых ею образах святых — образах крайне своеобразных и одновременно традиционных. Здесь и малолетние князья-мученики (Борис и Глеб), и мученики взрослые (тверской князь Михаил и его боярин Федор), князья-воины (Александр Невский и Довмонт Псковский), иерархи (новгородский архиепископ Иоанн), проповедники и просветители народов (Стефан Пермский) и основатели обителей (Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский), главы русской церкви (митрополит Петр, митрополит Алексий), ученые (Максим Грек), противники тирании (митрополит Филипп), патриоты-мученики (патриарх Гермоген), боголюбивая домохозяйка (Ульяния Осóргина), юродивые (Василий Блаженный).

Можно было бы без конца перечислять причисленных к лику святых и просто высокочтимых людей, чья жизнь послужила темой их биографий. Каждый святой – индивидуален, лик каждого из них не похож на лик другого.

Культура Руси, а затем России была вся завязана в тесный узел вокруг проблемы личности, личностного начала.

Личность требует наличия вокруг себя других личностей, обращенных к ней или ей противостоящих. Личность, замкнутая в себе, – не реализованная сущность. Обращенность личности к окружающему, к обществу, к государству, к природе создает «лицо личности», внешний образ личности. Зло не создает лица – только личину, маску, разоблачаемую скоморохами.

На Руси получилось так, что личностное начало постоянно противостояло государству. А в государстве основным оказывалась все ж таки личность его главы – князя, царя, иерарха церкви.

Весь период от татаро-монгольского нашествия может быть назван вечевым. Князей призывали на княжение, прогоняли, выражали недовольство ими или, напротив, одобрение, прославляли и канонизировали.

Свобода отношения к государству регулировалась только идеей единства Руси, требованиями справедливого объединения в рамках родового княжения.

Споры между князьями шли главным образом за право возглавлять единый род Рюриковичей. Народ же разделял свои симпатии между князьями главным образом по их семейным традициям: по политике дедов и прадедов. Так в летописях, так и в «Слове о полку Игореве»...

В период татаро-монгольского ига и особенно под конец его – в XIV и в XV веках – получила развитие идея киевского наследия в государственной, церковной и культурной жизни. И опять идея национальной свободы вступила в связь с идеей традиции. Литература и фольклор (киевский цикл былин) боролись за свободу Руси под знаменами следования традициям домонгольской национально свободной Руси. Летописи, с киевской «Повестью временных лет» во главе каждой из них, играли первостепенную роль в возрождении традиций независимости.

Когда в XVI веке определилась независимость Руси от иноземного владычества, государство выступило в сознании

людей в качестве угнетателя собственного народа и возникло движение казачества: крестьян, убегавших на юг в степи и на восток за Уральский хребет, на Север в леса.

Народ предпочитал жить вне государственной системы на окраинах, несмотря на постоянные опасности нападения извне. Но и в этих условиях не забывались интересы единства Русской земли. Ермак во главе казачьей вольницы присоединил на востоке Сибирь к Русскому государству, а через несколько десятилетий на юге казаки тщетно пытались присоединить к Москве героически обороняемый ими от турок Азов.

Земские соборы и огромные бунты знаменовали собой борьбу за свободу выражения своего мнения, своей воли. И литература в самой властной форме отражала эту борьбу русского народа за свободу.

Сопротивление татарам часто приобретало независимый от государства характер. И в обороне Русской земли народ шел впереди государства.

Во всех этих противоречиях народа государству реализовалось личностное начало. Но личностное начало стало усиленно развиваться и в той публицистической и политической литературе, которая появилась с конца XV века. Личность автора реализовалась в авторском окружении, в борьбе мнений и борьбе общественных идеалов. Полемика вошла в плоть и кровь русской литературы.

Но крайности порождают другие крайности. Страстные поиски свободы часто переходили в деспотическое навязывание своих убеждений другим. Но эта другая крайность не порождала подлинно великих произведений: поляризованность русской литературы асимметрична.

В силу настойчивого стремления к идеалу в древнерусской литературе имеют такое значение призывы, увещевания, обличения, а в XVII веке – сатирическое высмеивание недостатков не только самих по себе, не отдельных, а в совокупности: греховности мира в целом.

Авторы в древнерусской литературе – глашатаи некоей вне их, над ними находящейся правды. Они как бы излагают не свое мнение, а истину, как бы живущую в обществе. Именно поэтому, в силу своей не терпящей возражений требовательности, древнерусские авторы невольно создали некую ми-

фологему о русском народе и о князьях как якобы не подчиняющихся общей морали, «несущих ро́зно» Русскую землю. Призывая к сопротивлению злу, древнерусские авторы невольно создавали представление о русском народе как о пассивном, бездейственном, привыкшем к подчинению, нуждающемся в приказаниях сверху. Миф нового времени о пассивности русского народа – это парадоксальный результат огромной общественной активности литературы Древней Руси. Призывая к активности, она упрекала читателя в пассивности.

Русская литература – и древняя, а за ней и новая – носит учительный характер, то есть она не просто создает свой особый мир, но стремится исправить существующий. Она активна, и в ней ярко выражено пророческое начало: исходя из обличения настоящего, указать цели и опасности в будущем.

Призывы литературы к исправлению действительности предполагают уверенность ее авторов в свободе человека, в наличии у него выбора между добром и злом. Это противоречие, создаваемое литературой, – человек пассивен и человек свободен – смягчается и оправдывается тем обстоятельством, что человек в представлениях своего времени не просто пассивен, а, скорее, недостаточно активен. Он свободен, но не просто свободен, а недостаточно свободен. Авторы пробуждают в человеке совесть, веру в добро, призывают к действиям в защиту правды.

Культура движется вперед своими идеалами, сущностной стороной своего бытия. Те или иные противоречащие ей отдельные проявления не изменяют сущность, а затрагивают лишь проявления культуры.

Высокие идеалы Древней Руси не могли полностью воплотиться в жизни именно потому, что были высокими. Факты, противоречащие этим идеалам и отмечаемые литературой, подтверждают наличие этих идеалов.

Корыстолюбие, стремление к власти, жестокость имеют место во всяком обществе. Они становятся проявлениями характера культуры народа только в том случае, если они в какой-то мере проистекают из «оборотной стороны» тех идеалов, которыми живет культура.

Казачество XVI и XVII веков – проявление стремления людей России к свободе, независимости от государства, заставившее искать эту свободу за его пределами. Но казачество

было настолько крайним проявлением стремления к свободе, что оно повлекло за собой его насилие над другими людьми. Ища свободы и двигаясь на Восток и Север, казачество покоряло себе другие народы и «подносило» завоеванные земли с населявшими эти земли народами государству, от которого само бежало. Отсюда и стремление к свободе и стремление к насилию: поляризованность характера народа.

Итак, борьба за личностное начало в человеческом обществе началась в Древней Руси. Она выражалась главным образом в отказе от всех материальных благ. И этот отказ был настолько сильно развит в русском человеке, что во времена, когда религия так или иначе отступила на второй план (прежде всего уже в XIX веке), этот отказ от материальных ценностей, лишившись своих духовных оснований, перешел в бесшабашность русского человека, в веру в «авось и небось», в способность к отказу от материальных благ «просто так». К этому же времени отхода от религиозного бескорыстия относится и появление бескорыстия идейного — тоже по-своему религиозного.

Когда идея Бога перестала быть доминирующей в жизни, человек, которому была привита способность к самоотречению, стал способен к самоотречению во имя идеала. Идеалом стала революционная цель — всеобщего равенства. При этом сама идея Бога начала вызывать ожесточение, почти религиозное отрицание. Атеизм стал религией и потребовал такого же самоотречения, какого требовала в свое время сама настоящая религия. Возникает бескорыстие революционеров, шедших на каторгу, революционный героизм, а иногда и бескорыстие во имя мелких целей и призрачных принципов. Традиции и особенности Древней Руси переходили в деформированном виде к России новой.

Способность к самоотдаче была воспитана еще в Древней Руси. И она, конечно, свидетельствовала о внутренней свободе личности русского человека, как одновременно и о его внутренней несвободе в тех случаях, когда он не мог отказаться от навязанных самому себе принципов.

Свобода обнаружения человеком своих душевных сил, лишившись своих духовных корней, переходила в бесшабашность. И эта бесшабашность не давала порой возможности человеку приблизиться к личному достоинству, воспитать в себе это личное достоинство.

Личное совершенство дается не только внутренней свободой, но и реализуется в потребностях души в чем-то значительном. Личное, человеческое достоинство стало реализоваться еще в Древней Руси и реализовалось тогда еще в народе с большей силой, чем в Новое время. Один из путей этой реализации лежал через литературу, через творчество: творчество крестьянина, охотника, рыболова, ремесленника, купца и т. д. Творчество в любом труде делало человека Древней Руси ощущающим свое достоинство, свою уверенность в себе, привычку ощущать себя хозяином своих поступков.

В Древней Руси, особенно в позднее время (XVII век), начал происходить разрыв выработанной исторической системы с ее «идеальным содержанием», – разрыв, отмеченный все большим вторжением в литературу «реалистических» (или натуралистических) элементов. Особенно резко этот разрыв давал себя знать в демократической литературе – «демократической сатире» XVII века. И характерно, что эта сатирическая литература впервые начинает свидетельствовать о наличии в обществе классового и сословного разделения – о культурном разрыве демократических слоев общества с литературой верхних слоев населения. До того литература была в своем целом обязательной для всех православных, всех слоев общества.

Отрыв от единой системы регулятивных идей неизбежно тянет часть литературы к возрождению примитивного язычества, роднит литературу со скоморошеством, насмешкой над системой церковного мира, проявляется в появлении «перевернутого», вывернутого наизнанку мира в смеховой литературе.

Характерные для творчества Аввакума «реалистические» и смеховые элементы заставляли его и его последователей удаляться от официального мира, созданного в течение веков церковным сознанием. Бегство староверов в пустыню северных лесов, в стихийную природу было естественным следствием не только гонений на староверов, но в известной мере их собственным возвращением к природе, распадом системы иератических ценностей, которые воспринимались ими как бы по частям, представляя в их сочинениях пестрое соединение просторечия с церковнославянизмами, разговорных идиоматических выражений с «этикетными формулами» прежней древнерусской литературы.

«Природный» язык, декларируемый протопопом Аввакумом, требовал и окружения девственной природы, ухода из мира культуры. Этот разрыв с традиционной культурой давал возможность реализации личности. Аввакум — первая исключительная по выразительности личность в русском письменном творчестве. Это своеобразный авангардист (ибо авангардист XX века тоже стремится разорвать традиционные связи и вернуться к природе).

Петр Великий, стоявший не только при рождении новой русской литературы, но и при кончине древней, активно способствовал отмиранию последней главным образом тем, что подхватил традицию сатир XVII века, сочиняя шутливые обряды избрания и поставления «Князь-Папы Сумасброднейшего Всепьянейшего собора», различные шутливые грамоты, отписки, росписи церемониалов, возглашения и т. д., создавая свой шутовской язык, шутовские титулы и прозвища, разрушавшие древнерусскую традиционную иерархическую систему жизни.

Традиции древней русской литературы, особенно традиции официального языка, тем не менее не ушли целиком из русской жизни. Они ушли по преимуществу из самой литературы, но остались в официальном языке.

Сохранилось стремление к официальным обозначениям официальных понятий, к церемониальному обряжению различных постановлений. Сохранились штампы в языке официальных выступлений и т. д. Споры из-за слов, выражений, принятых в официальном языке, — все это тоже остатки глубокой древности.

Беда в том, что это словесное отражение жизни, стремление к познанию через слово выродилось в Новое время, а особенно в нашу эпоху, в склонность официальной терминологией перекрывать жизнь. Слова стали на место жизни!

В Древней Руси литературная фразеология была подчинена мировоззрению по-своему глубокому и богатому. Когда из слов ушло содержание — обеднели и сами слова, — слова выродились в вязкую политическую терминологию. Словесная символика, лишившись своей связи с религиозным содержанием, перешла в политическую терминологию.

Импульсы, даваемые древней культурой, не пропадают. Они могут только иногда идти вкривь и вкось, но добрые им-

пульсы сохраняют свою добрую направленность. Отвергая выхолощенную словесную форму, литература Нового времени восприняла от древнерусской ее учительный характер, ее нравственную основу и ее «философичность», т. е. соединение философии с общими явлениями культуры — искусством, наукой и пр.

Литература Нового времени сохранила самое ценное, что было в литературе Древней Руси: высокий уровень нравственного начала, интерес к мировоззренческим проблемам, богатство языка. «Стыдливость формы» отразилась в литературе постоянными поисками новых способов выражения содержания, недовольством главенствующими направлениями (отсюда отсутствие в русской литературе XVIII–XIX веков «чистых» видов классицизма, романтизма, реализма), обострением чувства авторской индивидуальности и сохранением в литературе особого интереса к человеческой личности, даже самой ничтожной («Повесть о Горе-Злочастии», безымянный молодец которой сродни Акакию Акакиевичу в повести Гоголя «Шинель»).

Любовь к родине, питавшая собой в Древней Руси и радость и боль, и гордость и стыд, и действия в защиту добра и противодействие злу, и стремление заимствовать все лучшее у других народов и одновременно сохранять свое, национальное, и склонность к традиционности и жажду нового, постоянные поиски перемен, — все это было великой славой древней русской литературы, создавшей добрую почву для расцвета литературы новой.

По существу, все произведения древней русской литературы благодаря единству своей направленности и приверженности к исторической основе («историзму») представляли собой в совокупности единое огромное произведение — о человечестве и о смысле его существования.

Когда-нибудь, когда русские читатели станут больше интересоваться своим прошлым, — величие литературного подвига русской литературы станет для них совершенно ясным и невежественное охаивание Руси сменится осведомленным уважением к ее нравственным и эстетическим ценностям.



Переводная литература в развитии литературы домонгольской Руси

Русь, а в последующем Россия, пережила в своей истории пять крупнейших катаклизмов в своей политической ориентации. Первая из таких ломок или, напротив, созидательных перестроек государственного и социального строя была осуществлена при Владимире Первом Святославиче, по прозванию Святом; вторая – при Иване Грозном в период установления единого управления для всей России, для всех русских областей; третья – при Петре Великом в период смены ориентации с Юга Европы на Север Европы; четвертая, наиболее мирная и спокойная, но трагически оборвавшаяся, – при Александре Втором Освободителе; пятая началась с овладения государством и установления большевистской власти после разгона Учредительного собрания 19 января 1918 года. Каждая из этих смен

Публ. по: Переводная литература в развитии литературы домонгольской Руси // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1999. Т. 2. XI–XII вв. С. 5–19.

была подготовлена снизу, но заканчивалась сверху — от государства, от правительства. Вместе с тем каждая из этих смен ознаменовывалась прежде всего государственной поддержкой нового идейно-культурного направления. При Владимире Святом — христианства. При Иване Грозном перемена была поддержана двумя идеологическими соборами, из которых наибольшее значение имел Стоглавый 1551 года; при Петре Великом — сопровождалась прекращением деятельности земских соборов и Боярской думы и направлялась личной волей императора; при Александре Втором Освободителе, наиболее мирной, — частичным восстановлением прав народа, при большевистской — насильственным подчинением многонациональной страны узкой марксистской идеологии.

Что привлекает внимание во всех этих переломах? Все они начинались с культуры, с попыток изменить в первую очередь духовную атмосферу страны.

Отличительная черта первого и наиболее глубокого перелома в истории Руси — перелома от язычества к христианству — активное присутствие его в течение наиболее длительного времени в духовной и практической жизни народа. Перелом этот ознаменовался прежде всего и глубже всего в письменности, в приобретении страной не просто знаков для букв, но правил правописания, расстановки знаков препинания, обретении литературного языка и огромной литературы, приобщившей Русь к культуре Европы через переводы, частично сделанные в Болгарии и на Русь перенесенные, а частично сделанные на самой Руси — в Киеве, Новгороде, Владимире, Суздале, Полоцке.

Для того чтобы конкретно представить себе роль переводной литературы в развитии русской литературы, следует прежде всего проанализировать характер самой переводной литературы.

Литература, перешедшая на Русь с помощью русских и болгарских переводов, была теснейшим образом связана с церковью. Она была подчинена задачам дидактики, поучения, воспитания. Значительная ее часть была связана с богослужением или входила в распорядок уставных чтений всех трех монашеских уставов, перенесенных на Русь с принятием христианства, была в значительной мере отрешена от жизни,

от всего конкретного и национального, обращалась к потустороннему и вневременному.

Наряду с церковной литературой на Русь была перенесена и светская литература Византии.

Из Византии и Болгарии проникали на Русь апокрифы и еретические учения, и каналы их проникновения были совершенно иными. Так, например, волхвы, с которыми столкнулся в Чудской земле некий новгородец, по летописному повествованию 1071 года, рассказывали о своем вероучении, а оно представляло собой любопытную смесь древнерусского язычества и богумильства. Ясно, что последнее явилось на Русь далеко не официальными путями.

* * *

Переводная литература, широким потоком влившаяся в русскую литературу в XI–XII веках, способствовала утверждению в литературе христианской идеологии, принеся с собой ряд новых жанров: жития, проповеди, различные виды церковных песнопений и т. д. Эти новые жанры также способствовали утверждению христианства. Наконец, с переводной литературой был перенесен на Русь ряд способов выражения этой новой идеологии: в отдельных приемах риторического искусства, в отдельных приемах изображения внутреннего состояния христианских подвижников и т. д. Наконец, переводная литература способствовала утверждению в русской литературе ряда образов, символов, метафор.

Однако переводная литература была воспринята на Руси далеко не пассивно.

Современное понятие перевода не всегда применимо к так называемой переводной литературе древнерусского государства. Русские «переводчики», а главным образом русские переписчики и иногда даже читатели постоянно вносили (сперва на полях рукописей) в эти переводы добавления, разъяснения, упрощали язык, иногда сокращали содержание памятника или, наоборот, вставляли целые куски из других произведений, приспосабливая переводы к нуждам русской действительности. Иногда русские книжники перестраивали композицию переводного сочинения или создавали на основе их сводные большие композиции, посвященные крупным темам: всемирной истории, ветхозаветной истории и т. п.

«Переводчики» предпочитали считаться с потребностями читателя иногда в большей мере, чем соблюдать близость к оригиналу.

По мнению А.И. Соболевского, на Руси в первые века после официального крещения Руси были уже «почти все те южнославянские переводы IX–X веков, которые мы знаем по дошедшим до нас спискам»[1]. Однако очень рано, со времени княжения Ярослава Мудрого, который «собра писце многы, и прекладаше от грекъ на словеньскый язык и письмо»[2], переводы начали делаться и на Руси.

Академик В.М. Истрин, много поработавший над установлением русского происхождения различных переводов XI–XIII веков с греческого, так определяет сумму переводов, сделанных, по его мнению, русскими переводчиками еще при Ярославе: «Новопереведенная литература была разнообразного содержания. Тут были произведения и исторического характера, как "Хроники" Георгия Синкелла и Георгия Амартола или "История Иудейской войны" Иосифа Флавия, и естественно-научного, как "Христианская топография" Козьмы Индикоплова, и повествовательного, как "Повесть об Александре Македонском" ("Александрия") или "Повесть об Акире Премудром", и житийного, как "Житие Василия Нового", и апокрифическо-пророческого, как "Откровение Мефодия Патарского", и богословско-догматического, как "Исповедание веры" Синкелла, вошедшее скоро в летопись и т. п.»[3].

Если учесть, что приведенный В.М. Истриным перечень далеко не полон и что весь он падает на одно княжение Ярослава Мудрого, то мы должны будем прийти к выводу, что переводы с греческого должны были быть предметом государственной заботы на Руси. Известие «Повести временных лет» о личной заботе Ярослава о переводах «на словеньское письмо» получает, следовательно, подтверждение и в чисто фактическом материале.

Что же представляла собой переводная литература, явившаяся на Русь путем собственных – русских и болгарских пе-

---

[1] *Соболевский А.И.* Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв. СПб., 1903. С. V.

[2] Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 194.

[3] *Истрин В.М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI–XIII вв.). Пг., 1922. С. 4.

реводов, и что нового внесла она в русский литературный обиход?

Прежде всего, практические потребности богослужения вызвали появление на Руси богослужебных книг. Эти книги должны были служить руководством при совершении довольно сложного к началу XI века христианского культа. От XI века до нас дошли в болгарском переводе служебная месячная Минея (собрание служб в календарном порядке на весь год), Триоди («постная» – тексты праздничных служб до Пасхи и «цветная» – тексты служб в послепасхальное время), затем служебники и требники. Помимо исключительно «деловой» части, эти богослужебные книги заключали в себе тексты литературно-поэтического характера – песнопения и чтения, составлявшие, так сказать, художественную часть богослужебного ритуала. Эти богослужебные книги могли служить и для чтения вне церкви и использовались при обучении грамоте (Часослов). В церковных песнопениях – канонах, стихирах, кондаках, икосах Иоанна Дамаскина, Григория Назианзина, патриарха Софрония – не утратилась еще связь с античной и эллинистической поэзией, с настроениями античной философской лирики. Несложные по тематике (молитвы об исцелении и защите, покаянные молитвы, хвалы святым и божеству), церковные песнопения были очень сложны по своей стилистике и перенесли в русский литературный обиход отдельные цветистые выражения, рифму (обычного в Византии глагольного типа), ритмическое построение прозы, сложные и изысканные сравнения.

Основной «корпус» христианского вероучения – Библия – не был еще полностью переведен в XI–XII веках. Переведено было только то, что отвечало непосредственным потребностям христианского культа, либо ее исторические части для включения в большие исторические сочинения сводного характера – Толковую Палею и др. Тем не менее библейские книги были довольно хорошо представлены в переводах – полностью или в сокращениях.

Значение переводов из Библии было для русской литературы очень велико. Чрезвычайно пестрый и в идеологическом, и в художественном отношении состав библейских книг, созданных в разное время на протяжении более тысячелетия, включал произведения самых разнообразных жанров,

начиная с философской лирики и кончая воинской повестью. Библейские книги заключали в себе обильные фольклорные мотивы, сказочные сюжеты, полулегендарную историю еврейского народа, проповеди, космогонические мифы, биографические повествования, богословские трактаты, лирические песнопения и т. д.

Перенесены были на Русь из Болгарии, а частично и переведены на Руси многочисленные сочинения христианских писателей III–XI веков. Это была по преимуществу учительная литература – проповеди и поучения, созданные в целях христианизации языческих стран, для борьбы с ересями и для пропаганды христианской догматики и морали внутри самих христианских стран. Отдельные приемы этих проповедей и поучений восходили еще к античному ораторскому искусству, к античной эпистолярной практике и к философской прозе. Из учительной литературы особенным распространением пользовались на Руси сочинения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и др., из сборников – составленный в X веке в Болгарии при царе Симеоне – Златоструй. Вместе со сборниками поучений и проповедей на Русь перешли произведения популярной вопросно-ответной формы (ведущей свое начало от так называемого сократического диалога) и разного рода толкования Священного Писания (толковые Псалтыри и т. д.).

Замечательно, что русские переводчики или русские переписчики дополняли переводные поучения своими вставками, применяли поучения к русской действительности. Так, например, в «Слове о дерзости Павла апостола», где проповедник уговаривает паству не лениться слушать поучения, читаем такую вставку: «Аще бо быть рать на ны половецкая пришла и все наше поплении быша, таче воевода их претил бы и град наш раскопати... таче бы от царя нашего ят и связан, в град приведен был, – не вси ли быхом вскочили и с женами и с детми видети его?» Таких русских дополнений переводные поучения содержат немало. Вместе с тем состав переводных поучений подбирался в сборники согласно вкусам и потребностям Руси.

Новому мировоззрению на Руси служили также переводные сборники изречений из Священного писания и античных авторов (в тех случаях, когда цитаты из последних не противоречили христианским установлениям). Эти сборни-

ки также перерабатывались и дополнялись на Руси согласно потребностям господствующих верхов. Древнейший из списков таких изречений вошел в Изборник Святослава 1076 года, составленный, по-видимому, как походная книга, повлиявшая на написанное как раз в походе Владимиром Мономахом «Поучение»[1].

Возможно, на русской почве был составлен «Стословец» Геннадия[2], дававший в предельно понятной и доступной форме основы средневекового мировоззрения. «Стословец» Геннадия был очень ценен для пропаганды новой государственной власти на Руси: «Царя бойся всею силою твоею», «всякому богатому главу твою поклоняй смирения ради» и т. д.

Мощное орудие проповеди новой веры представляли собой жития святых, наглядно показывавшие читателю образцы христианских добродетелей и в поучительной форме рассказывавшие ему о новых идеалах христианской религии. Жития вместе с тем давали русскому читателю очень разнообразный литературный материал, в котором элементы житийно-чудесного переплетались с народной фантастикой, с неизжитыми дохристианскими верованиями и мифами. Выразительные картины искушений святых, занимательные подробности чудес, воинские эпизоды, разнообразные характеристики святых — монахов-отшельников, воинов, церковных иерархов, мучеников, князей и т. д., живших в разнообразных исторических и географических условиях, расширяли литературные вкусы читателя, вводили в употребление очень разнообразные литературные формы. Жития также частично перерабатывались на русской почве. Новыми рассказами было, например, дополнено переводное житие Николая Чудотворца. В двух из этих рассказов местом действия является Киев. Переработке и дополнениям подвергся один из основных сборников житий — Пролог.

В еще большей степени подвергалась на Руси переработкам литература светская — в первую очередь историческая.

---

[1] См.: *Лихачев Д.С.* Назначение Изборника 1076 г. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLIX. Л., 1990. С. 179–184.

[2] См.: *Popov N.P.* L'Izbornik de 1076, dit de Sviatoslav, comme monument littèraire // Revue des ètudes slaves. 1934. T. 14. Fasc. 1–2. P. 5–25; *Idem.* Les auters de l'Izbornik de Sviatoslav de 1076 // Ibid. 1935. Fasc. 3–4. P. 210–233.

Переводная историческая литература была в основном представлена на Руси хрониками, отразившими два различных направления византийской исторической мысли: одна хроника – хроника Иоанна Малалы из Антиохии – стремилась примирить античность и античную историю с христианством, а другая – Хроника Георгия Амартола («Грешника», т. е. монаха) – освещала историю исключительно с религиозной точки зрения. Помимо этих двух хроник на Русь попадали и другие исторические сочинения, менее значительные по объему и содержанию, например «Летописец вкратце» патриарха Никифора, Хроника Георгия Синкелла и др.

Внимательное изучение различных редакций русских переводов византийских хроник показывает, что переводы эти сразу же использовались для больших русских сочинений сводного характера по всемирной и русской истории. Русские переписчики упорно и настойчиво расширяли материал этих хроник все новыми и новыми историческими произведениями, которые включались в их состав для наиболее полного освещения всемирной истории. Одновременно русские переводчики и писцы сокращали их риторические части, выбрасывали морально-философские рассуждения, придавая рассказу большую деловитость. Так, на основании переводного материала и частично русского было составлено на Руси обширное сводное сочинение по всемирной истории – Еллинский и Римский летописец. Основу Еллинского и Римского летописца составили переводные византийские хроники – Иоанна Малалы, Георгия Амартола и «Летописец вкратце» патриарха Никифора.

Творческое отношение к этим хроникам русских составителей Еллинского и Римского летописца наглядно видно хотя бы из того, что они, не довольствуясь материалами этих хроник, дорабатывали их, дополняя вставками, заменами и уточнениями иногда на основании источников этих самых хроник с тем, чтобы более точно и подробно представить события всемирной истории. Так, например, в тех случаях, когда текст Амартола или Малалы сокращал более подробные рассказы соответствующих мест библейских книг, русские составители заменяли текст Амартола и Малалы текстом библейских книг. Вместо рассказа хроники Иоанна Малалы об Александре Македонском русские составители вставляли его

источник — текст Александрии второй редакции (в списках второй редакции Еллинского и Римского летописца). В те же списки Еллинского и Римского летописца второй редакции включается «Сказание о трех пленениях Иерусалима» Иосифа Флавия с особой повестью «Взятие Иерусалима третье, Титово», «Сказание Епифания о Богородице», «Видение Даниила», замечательная, новгородская по своему происхождению, повесть о взятии Константинополя крестоносцами в 1204 годе, известия о крещении Руси (отличные от летописи), о походах русских князей на Константинополь (также отличные от летописи), русская повесть о Казарине и его жене и другие.

Кроме Еллинского и Римского летописца на Руси было составлено несколько сводных сочинений по всемирной истории: Иудейский хронограф, различного типа палеи и т. д.

Таким образом, византийские хроники не просто переводились — на их основе создавались крупнейшие русские исторические сочинения сводного характера. Это были своеобразные исторические энциклопедии, составленные на основании лучших исторических источников своего времени.

Также активно отнеслись русские переводчики и писцы к многочисленной природоведческой литературе Византии — к «Христианской топографии Косьмы Индикоплова» (т. е. «плавателя в Индию»), к различным шестодневам и физиологам.

Наконец, переделкам, сокращениям и дополнениям подвергались на Руси различные переводные повести и романы. Большой интерес вызвал у русских читателей знаменитый эллинистический роман, впоследствии обошедший всю феодальную литературу Европы, — «Александрия». «Александрия» рассказывала о подвигах и необычайной жизни Александра Македонского, о чудесных восточных странах — Индии и Персии и их фантастических диковинных обитателях — амазонках, любомудрах и т. д. На русской почве «Александрия» подверглась различным дополнениям, в частности из хроники Амартола и др.

Исключительный интерес представляет русский перевод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. Русский переводчик повести всюду акцентировал представления о воинской чести, о ратной славе, обильно ввел в нее русскую воен-

ную терминологию, кое-где дополнив перевод вставками, призывающими к геройству, хваля тех, кто умирает на поле битвы, и проклиная тех «телолюбцев», которые предпочитают умирать от болезни дома. Перевод отличается высокими достоинствами превосходного русского языка.

Нет нужды перечислять все переводные произведения, активно воспринятые на Руси. Приведенные примеры ярко показывают, что отношение русских переводчиков и читателей к переводной литературе было далеко не пассивным. Эти переводы граничили с творческими переработками, а самый выбор переводимых произведений диктовался потребностями русской действительности.

Каковы же были эти потребности русской действительности? В основном это были, конечно, потребности идеологии церковной, преобладающей, и идеологии княжеско-дружинной («рыцарской»), отнюдь не преобладавшей, хотя и весьма отчетливой в русской действительности XI–XII веков. Церковная идеология питалась главным образом извне, соответственно истокам принятого на Руси христианства — византийского по преимуществу. Княжеско-дружинная идеология выросла в основном на местной почве, получила особенное развитие в период феодальной раздробленности, но охотно воспринимала различные иноземные соответствия — будь то в переводных романах вроде «Александрии», «Истории Иудейской войны» или «Повести о Дигенисе Акрите», или через венгерские рыцарские турниры, устраивавшиеся в Киеве и собиравшие множество зрителей киевлян[1].

Однако характер переводной литературы, заинтересованность в ней верхов русского феодального общества отнюдь не исключали возможности проникновения в нее народных элементов. Эти народные элементы имелись в ней уже на византийской почве (а частично и на болгарской почве, если перевод был сделан в Болгарии) и частично появлялись на почве русской. Элементы народного творчества имелись уже в «Повести о Дигенисе Акрите», в «Александрии» и других светских воинских повестях Византии. Переводчи-

[1] См. в Ипатьевской летописи под 1150 г.: «Тогда же угре на фарех и на скоках играхуть, на Ярославли дворе, многое множество. Кияне же дивяхутся угром множеству, и кметьства их, и комонем их».

ки, писцы вносили в них добавления иногда по собственной инициативе.

Литература, как мы знаем, развивается в тесном взаимодействии с действительностью. Было бы методологически неправильно рассматривать историко-литературный процесс в отрыве от истории народа. А это не раз происходило в истории науки, особенно на первых порах развития компаративистики.

Между тем литературное произведение оказывает «влияние» вовсе не непосредственно на литературное же произведение. Всякое «влияние» и «воздействие» оказывается прежде всего на человека – активного представителя своей среды. Эта простая истина, хотя никем и не отрицалась – недостаточно все же осознавалась. Между тем литературные произведения, в том числе и переводные, «влияют» прежде всего на мировоззрение человека и человеческой среды. Отдельные литературные сюжеты, мотивы – это не только литературные явления, а явления мировоззрения прежде всего. Легенды о святых, о бесах, о чудесах от икон или о загробном мире, которыми полны произведения переводной литературы, сами по себе не способны «бродить», переноситься из одного литературного произведения в другое. Литература оказывает величайшую силу воздействия на действительность, а через нее вновь на литературу.

Влияние переводной литературы ощущалось прежде всего в мировоззрении русских людей XI и последующих веков. Оно оказывалось действенным в том случае, если к тому были благоприятные обстоятельства в самой человеческой душе и в социальной действительности.

Новые литературные произведения создавались не сразу – теми или иными писателями, как это бывало по преимуществу в позднейшее время, а очень часто предварительно проходили стадию устной легенды. Письменное творчество не порывало в XI–XII веках своих связей с устным творчеством. Эта устная стадия была очень существенна в появлении многих новых произведений, так как именно здесь новый сюжет, новая легенда оказывались под перекрестным воздействием переводной литературы, вернее, представляемого ею христианского мировоззрения, и народного творчества. Воздействия смешивались и творчески перерабатывались под

влиянием самого мощного фактора – русской действительности.

Приведем некоторые примеры создания устной христианской легенды, затем отразившейся в письменности.

Уже в XI веке начала возникать первоначально по преимуществу в Киеве христианская легенда. Эта легенда создавалась очень часто в монастырях, главным образом в Киево-Печерском, где многочисленность и пестрота социального состава братии способствовали здесь ее быстрому развитию.

К числу таких легенд принадлежит и легенда о путешествии апостола Андрея на Русь. Легенда эта возникла из взаимодействия книжных источников с чисто народными рассказами, ничего общего с христианской легендой не имевшими. Книжные основания этой легенды совершенно ясны: об апостоле Андрее русские монахи узнавали из Деяний апостола Андрея. В описании его последнего, третьего, путешествия имелись сведения о посещении Андреем Синопии и Корсуни. Отсюда могло создаться впечатление об особом отношении Андрея к Руси, тем более что в христианской литературе монахи могли найти утверждение о том, что каждый народ имеет своего апостола. Монахи могли предположить, что апостол Андрей вернулся в Рим по Днепру, по великому пути «из Варяг в Греки» через «Варяжское море». Предположение превратилось, как это часто бывает, в уверенность, и в сравнительно короткий срок легенда была создана. Ее киевское происхождение довольно ясно выступает в той ее части, где говорится о том, что апостол Андрей, посетив место будущего Киева, благословил «горы сия», предрек благодать «на сих горах», сошел «с гѳры сея». Но это киевское происхождение не менее заметно и в той части этой легенды, где говорится о Новгороде. Посетив словен, «идеже ныне Новгород», апостол Андрей подивился новгородским баням: «И видѣвъ люди ту сущая, какъ ихъ обычай, и како ся мыють и хвощются, и удивися имъ». Вернувшись в Рим, Андрей так затем рассказывал о новгородских банях: «Дивно видѣхъ землю словеньску, идущю ми сѣмо. Видѣхъ банѣ древяны, и пережьгуть я велми, и съвлекутся, и будуть нази, и обольются мытелью, и возмуть вѣникы, и начнуть хвостатися, и того собь добьють, одва вылѣзуть еле живы, и обольются водою студе-

ною, и тако оживут. И тако творять по вся дни, не мучими никымже, но сами ся мучать и то творят не мытву себѣ, а мученье»[1].

Перед нами наиболее живая, интересная часть легенды, — часть, которая делает легенду не просто предположением, обратившимся в уверенность, а произведением художественным. Знаменательно, однако, что эта художественная часть легенды менее всего носит христианский, монашеский характер. Здесь сказываются не книжные, а народные основы, лишь искусственно соединенные с именем Андрея. Шутка о новгородских банях ходила, очевидно, в народе независимо от рассказа об апостоле Андрее. Она принадлежит к числу, очевидно, тех народных рассказов, в которых отдельные племена, добродушно подшучивая над соседними, как бы утверждали свою племенную особность. Шутка киевлян, не имевших бань, над банным обычаем новгородцев носит, по существу, тот же характер, что и шутка киевлян, которой они «корили» радимичей: «пѣщаньци волъчья хвоста бѣгають»[2], или шутки, которыми те же киевляне «корили» новгородцев: «...А вы плотници суще? А приставим вы хором рубить наших»[3].

Перед нами многознаменательное явление: устная традиция находит подлинные творческие художественные черты в творчестве народном.

Другая легенда церковного происхождения рассказана в «Повести временных лет» под 983 годом. В ней речь идет о варягах-христианах, отце и сыне, замученных «невегласами»-язычниками. Варяг-отец отказался отдать своего сына для совершения жертвоприношения языческим богам и при этом обличал язычество. Народ подсек сени, на которых стояли отец и сын христиане, и растерзал их. Эта легенда связана с тем местом, на котором была построена затем Десятинная церковь, о чем и сообщается в самом начале легенды[4]. Очевидно, что она имела хождение среди клирошан этой церкви и едва ли не была создана в противовес тем народным рассказам, которые исторически точно указывали на месте

---

[1] Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 66.

[2] Там же. С. 132.

[3] Там же.

[4] «Бяше варяг один, бе двор его, идеже бе церкви святыя Богородица, юже създа Володимир».

Десятинной церкви старые языческие могильники, где совершался культ предков[5]. Дальнейшее историческое произведение, в которое уже входила это легенда, было составлено как раз при этой Десятинной церкви. Это свидетельствует о том, что легенда эта могла и не иметь особого распространения за пределами Десятинной церкви.

Свои местные легенды изложили в своей же летописи и монахи Печерского монастыря. Здесь в этих печерских легендах монастырское предание мешается с припоминаниями очевидцев, с личными воспоминаниями самого монаха летописца — по-видимому Нестора. Все это ясно подчеркивает, и в этом случае, узкий круг распространения христианской легенды. Она еще только создавалась и не сошла как бы еще с уст их создателей. Не успев развиться в устной традиции, она уже фиксируется в письменности, окостеневает и не развивается.

Многие из печерских легенд этого характера рассказаны в «Повести временных лет» под 1074 годом. Перед нами проходит ряд ярких образов печерских монахов — Дамьяна, Еремии, «иже помняще крещенье земле Русьскыя», Матвея, Исакия и др. Образы этих монахов сложились сперва в устной киево-печерской традиции и только затем проникли в летопись. Принимая во внимание, что пестрое в социальном отношении монашество Киево-Печерского монастыря, хотя и в разной мере, было все же знакомо с народным устным творчеством, мы можем предположить, что умением создавать яркие образы своих умерших братьев печерские монахи были в значительной мере обязаны фольклору, знакомому им с детства.

Главными носителями элементов фантазии в этих печерских рассказах являлись бесы. Они-то по преимуществу и являлись действенным началом в оформлении каждого сюжета. Совпадения в отдельных мотивах между различными патериками: русскими, византийскими и пр., объясняются не тем, что эти мотивы механически переносятся из одного патерика в другой, а общностью христианских представлений о бе-

---

[5] См.: *Каргер М.К.* Дофеодальный период Киева по археологическим данным // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. Т. I. Л., 1939.

сах, о силе молитвы, о силе крестного знамения и т. п. Общность христианских воззрений на мир и создавала общность же отдельных сюжетов, развивавшихся самостоятельно в каждом из монастырей.

Мотивы и сюжеты всех патериков христианского Востока были прежде всего связаны общностью христианского мировоззрения. В разных места христианского культа создавались на их основе одинаковые мотивы и сюжеты. Нет никакой нужды связывать общность мотивов и сюжетов с чтением патериков во время трапезы. Вся христианская литература в целом создавала основы для этой общности. Вернее, создавала их не сама христианская литература, а стремление увидеть догмы и убеждения христианства конкретно воплощенными в материальных фактах, эмоционально пережить традиционные религиозные представления. Создавало их и сочетание христианских представлений с представлениями народными.

К представлениям о бесах примешиваются под влиянием христианской пропаганды, внушающей бесовство язычества, представления о старых языческих богах, о домовых, духах предков — навьях, и т. д. как о бесах. Именно поэтому вера в бесов имеет такой успех, распространяясь быстрее, чем вера в ангелов, и находит себе массовый отклик в монастырском, церковном устном творчестве.

Выше мы показали только один из путей, которым переводная литература помогала складываться русской христианской литературе.

Иного типа значение переводной литературы, вернее, мировоззрения, представленного этой переводной литературой, может быть отмечено в формировании взглядов на писательский труд.

Византийская христианская литература принесла с собою на Русь своеобразное воззрение на писательский труд. Это воззрение мы почти не ощущаем ни в «Слове о полку Игореве», ни в «Поучении» Мономаха, ни в летописи, ни в других светских сочинениях. Зато оно находило себе отчетливое выражение в сочинениях церковного характера — в различного рода житиях и поучениях.

Согласно этим воззрениям каждый писатель рассматривался только как выразитель «вечных идей», независимых от

времени, места и обстоятельств. Писатель – лишь передатчик этих «вечных истин», божественный посланец, вестник, гонец. Поэтому личность автора не заслуживает особого внимания, а его творчество, личное вмешательство в содержание произведения должно быть сведено до минимума. Отсюда анонимность большинства произведений русской литературы.

Выразительный образ такого писателя – передатчика божественных истин – рисуется в «Слове о поучении церковном», которое часто приписывается в рукописях Кириллу Туровскому: «Якоже бо кто грамоту цареву или княжу принесеть во град под рукою его сущим, не испытают житья принесшему и – богат ли есть или убог, или грешен, или праведен; но тех точью чьтомых послушают, и тщатся аки ничто их не забыл; аще ли котораго слова не гораздо слышить, то впрашают слышавшаго; аще ли бесчинен человек голку сътворить, то бьюще отгонять и, аки пакость творяща. Да аще от земнаго князя толико внимание бываеть, то колми паче сде внимати нам подобаеть, идеже ангелом Владыка беседуеть»[1]. Итак, проповедник, писатель – это гонец, приносящий в град «грамоту цареву». Никого не интересует – богат ли этот гонец или убог, грешен или праведен. Внимание всех устремлено только к тому, что сказано в царевой грамоте. Вот почему церковный писатель так часто пользуется чужим материалом, пересказывает мысли отцов церкви, использует их образы, их темы. Он с самого начала рассматривает себя только как передатчика чужих мыслей. «Се не мене деля послушайте – аз бо грешник есмь, – но евангельскаго учения послушайте»[2], – говорит автор «Слова о поучении церковном». Божественное учение подобно золоту или серебру, меду или вину, которые писатель только раздает от имени Бога: «Сопросъшю вы, отвещайте ми, аще злато или сребро по вся дни раздавал бых, или мед, или вино, но <то> бысте приходили сами, не призываеми, друг друга бысте сами понужали? Ныне же словеса Божьи раздаваю, лучше паче злата и каменья драгаго и слашьша меду и ста»[3].

---

[1] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы / Под ред. А.И. Пономарева. Вып. I. СПб., 1894. С. 175–176.

[2] Там же. С. 176.

[3] Там же. С. 177.

Как глашатай божественной истины, писатель должен быть чист сердцем. В слове «О благоречии, о высоте и святости слова человеческого» составитель русского Пролога пишет: «Благая словеса от благого сокровища сердечнаго исходят. Аще же кто не очистит сердца своего от злобословесия, той добра о себе беседовати не может; аще бо и мнится глаголати послушником <внимающим, слушающим>, не приятна суть словеса его, но отметна, не имуща благодати святаго Духа»[1]. В «Слове о слепце в неделю 6-ю по Пасхе» Кирилл Туровский прямо заявляет: «В души бо грешне ни дело добро, ни слово пользьно не ражается»[2].

Слово дается человеку от Бога. Человек может быть носителем этого дара, но для этого он должен просить о нем Бога: «Хотяй же убо ползовати кого в словесах, да просит у Бога слова на отверзение уст своих»[3]. Дар свой человек не должен скрывать, но если он не получил этого дара — ему следует молчать. «Не приемый же таковаго дара от Бога, да молчит, и да не износит глагола праздна от сердца своего»[4].

В «Слове на собор святых отцов» Кирилл Туровский снова излагает свою излюбленную мысль: церковный писатель или оратор — лишь глашатай божественных истин, получающий свой дар слова от Бога: «Нъ молю вашю, братие, любовь, не зазрите ми грубости: ничтоже бо от своего ума сде въписаю, нъ прошю от Бога дара слову на прославление святыя Троица, глаголеть бо: Отвьрзи уста своя и напълню я»[5].

Воззрения на писательский труд, выраженные Кириллом Туровским, принадлежали не ему одному. Они были типичны для всей литературы этого времени.

Как видим, значение переводной литературы в формировании литературы русской было очень разнообразным. Византийско-христианское мировоззрение, перенесенное с помощью переводных произведений, сказалось и в создании христианских легенд, и в воззрениях на труд писателя, и в це-

---

[1] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. II. 1896. С. 117.

[2] *Еремин И.П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XV. М.; Л., 1958. С. 336.

[3] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. II. С. 117.

[4] Там же.

[5] *Еремин И.П.* Литературное наследие Кирилла Туровского. С. 344.

лом ряде еще других случаев, исчерпать которые мы вовсе не собираемся.

Переводная литература имела особенно большое значение в развитии отдельных форм русской литературы, в образовании ее различных видов, по содержанию же произведения русской литературы по преимуществу отвечали непосредственным требованиям русской действительности. Впрочем, когда мы говорим о форме древнерусских литературных произведений, то и в этом случае не можем обособлять ее от содержания и от русской действительности. Отдельные виды церковной литературы — жития, поучения, торжественные проповеди — были и самой своей формой теснейшим образом связаны с церковным мировоззрением: многословные отступления в житиях молитвенного характера, трафареты в описании жизни святого, внешний характер проповеди, ее дидактичность, риторические приемы — отчетливо отражают церковное мировоззрение, одновременно служа его укреплению.

Вместе с тем эти отдельные виды церковной литературы возникли на русской почве не только потому, что таковы были переводные образцы, по которым они могли быть построены, но по преимуществу потому, что самый христианский культ, различного рода службы, монастырские уставы и пр. требовали наличия произведений этого вида.

Жития святых Бориса и Глеба возникли не из простого желания русских книжников написать такие же жития святых, какие они читали в переводах с греческого или непосредственно на греческом языке, а потому, что канонизация этих святых не могла совершиться без наличия их житий, потому еще, что самый культ Бориса и Глеба, ритуал тех или иных богослужений им, требовал наличия этих житий. Об этих требованиях христианского культа мы ни в коем случае не должны забывать, когда говорим о различных видах христианской литературы. Устойчивость этих видов в русской литературе, конечно, в первую очередь объясняется тем, что устойчивыми были самые требования христианского культа, побуждавшие создавать все новые и новые произведения одного и того же типа.

Как бы, однако, ни были единообразны требования христианского культа в Византии, в Болгарии и на Руси, русские

произведения отчетливо воспринимали воздействие русской действительности, служили ей, становясь русскими не только по содержанию, но и в видоизменениях своей формы. В отношении древнейших русских житий это отчетливо показано их знатоком — С.А. Бугославским. Резюмируя большое число своих наблюдений над русскими древнейшими житиями, С.А. Бугославский писал: «Из византийских житий русские авторы XI–XII вв. заимствовали лишь общие тенденции. Они понимали, что требуется нарисовать тип идеального, христиански выдержанного героя-святого, окружить его имя традиционным панегириком. Сделать же из князя, чья военная, политическая придворная деятельность была хорошо известна и рассказана в других не житийных статьях той же летописи, идеального праведника по типу византийских житий, было невозможно, и это спасло русских агиографов от слепого подражания византийским литературным образцам. Перед русским автором неизбежно вставала трудная задача — примирить в житийных опытах идеальные образы и стилистику византийских житий с тенденциозным, живым публицистическим изложением событий современности, а нередко и с укоренившимися народно-поэтическими мотивами (например, в рассказах о княгине Ольге, о Владимире)»[1].

* * *

Рассмотрение вопроса о роли переводной литературы в формировании литературы собственно русской мы начали с утверждения, что роль этой переводной литературы была огромна и бесспорна. Теперь мы имеем право повторить это утверждение с полным основанием. Если бы русская сторона пассивно усваивала элементы византийской культуры, если бы ей нечего было противопоставлять этой византийской культуре, — значение ее не могло бы быть так велико. Византийская культура не могла бы быть творчески усвоена. Роль византийской культуры была бы чисто внешней, поверхностной и... ничтожной.

---

[1] История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 1. С. 316.

Перенесенная в жизненно крепкую среду, столкнувшись с интенсивнейшей потребностью в собственной литературе, вступив в борьбу с многовековыми местными традициями устного народного творчества, переводная литература приобрела важное значение в развитии русской литературы не как образец для пассивного подражания, а в ее творческом поступательном движении.



Священная история в познавательных произведениях литературы Древней Руси

В этом томе собраны произведения, в основном имевшие познавательный интерес, но «познавательный» – в средневековом понимании. Средневековая познавательность отличалась от современной. Главное заключалось в истории. История же была прежде всего – Священная история, то есть в основном история, изложенная в Ветхом и Новом Заветах. Эта история восполнялась историей государства, к которой принадлежал сам читатель. Но начиналась она главным образом с момента принятия этим государством христианства. История языческого периода была не больше чем предуготовление к принятию христианства – главному этапу «исторического прозрения народа».

Главным в Священной истории было взаимоотношение Бога и человечества. История как бы творилась самим Богом, но не лишала человека ответственности за свои поступки.

Публ. по: Священная история в познавательных произведениях литературы Древней Руси // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1999. Т. 3. XI–XII вв. С. 5–8.

Священная история была, как уже было сказано, зафиксирована в книгах Библии, но имела своими продолжениями исторические книги Византии и других христианских государств. Эти последние не имели для средневекового человека того высокого интереса, что история, заключенная в Библии, ибо в них не было той значительности, которую имело для любого средневекового человека каждое событие Библии или, что подчеркнем, событие, связанное с библейскими персонажами и библейской землей.

Можно сразу отметить ту территорию, на которой в первую очередь разворачивались все наиболее значительные события человеческой истории. Центр ее – Палестина, а в ней Иерусалим, и затем все остальное окружение – Египет, Малая Азия, страны Средиземноморья и Черноморья. Восток открывался для средневекового человека до границ похода Александра Македонского в Индию. Для русского читателя территория человеческой истории была раскрыта Повестью временных лет и особенно ее географическим описанием, начинавшимся с водораздела Восточно-Европейской равнины – «Оковского леса».

Естественно, что читателям Библии и исторических произведений «постбиблейского» характера хотелось углубить свои знания – особенно те, которые могли так или иначе раскрыть смысл уже известного из Священного Писания.

Эту роль во многом и выполняли апокрифические (неканонические с точки зрения официальной церкви) сочинения, составлявшие немалую долю в репертуаре переводной литературы Древней Руси. Многие из них возникли в иудеохристианской и раннехристианской среде, связаны происхождением с учениями разных христианских общин. Через византийскую литературу в славянских переводах с греческого (а в ряде случаев непосредственно с древнееврейского и, может быть, сирийского) апокрифы попали и к древнерусским книжникам. Особенно много апокрифических подробностей Священной истории содержится в Толковой Палее. Другой путь знакомства древнерусского читателя с этими сюжетами – это рассказы паломников в Святую землю об увиденном. Так, игумен Даниил включил в свое знаменитое «Хождение» немало апокрифических легенд о библейских святынях.

Появившись в раннехристианских культурах одновременно с формированием канона, апокрифические сочинения в жанровом плане часто соответствуют библейским книгам: на Руси были известны апокрифические Откровения (Видения), апокрифические Деяния, апокрифические Евангелия, а также апокрифические Жития. Понимание «апокрифического», «апокрифичности» менялось со временем. Поэтому случалось так, что произведения, запрещавшиеся церковью для чтения и переписывания, позже включались во вполне признанные сборники или своды (например, в Великие Минеи Четьи митрополита Макария).

Познавательность, к которой в первую очередь было устремлено внимание средневекового читателя, отнюдь не ограничивалась историей и толкованием исторических событий. Чрезвычайно важно то различие, которое может быть отмечено между познанием Средневековья и познанием современным.

Познание в Средние века было по преимуществу словесным. Иногда познать новое явление означало прежде всего его назвать, отнести к той или иной категории явлений, определить его символический смысл. Символический же смысл определялся в основном его связью со Священной историей человечества, в центре которой находится тайна воочеловечения Христа, спасающего людей. Вот почему для познавательного характера текста вполне достаточна была иногда вопросно-ответная форма («Слово о крестном древе» или «Беседа трех святителей»). Отсюда же афористическая форма раскрытия смысла явлений («Повесть об Акире Премудром»).

Вполне своеобразной была «мудрость» разрешения какой-либо загадки, сложного вопроса, запутывающего предложения. Сложный вопрос равнялся ловушке, и знание заключалось в том, чтобы уметь из этой ловушки не только выйти, но и озадачить самого вопрошающего. Тем самым вопросно-ответная форма «познавательных» произведений превращалась в своего рода состязание. Острота этих состязаний подкреплялась иногда угрозой лишения жизни проигравшему.

«Технический прием» ответа на неразрешимую загадку — умение ответить загадкой на загадку, умение парировать вопрос вопросом, отказаться от своего вопроса или от постав-

ленной задачи соответственным усложнением вопроса для загадывающего, задающего свою задачу.

И еще одна черта, имеющая непосредственное отношение к литературному значению познавательных произведений Древней Руси: занимательность. Наука, знание не ограничивались в Средние века тем, что мы называем эрудицией, или той непосредственной пользой, которую могли принести знания в практической деятельности. Знание обязательно должно было быть интересным и нравственно ценным. Отсюда популярность формы ранневизантийского приключенческого романа, типичным представителем которого является «Повесть о Евстафии Плакиде», обладающая всеми элементами приключенческого сюжета: нападениями морских пиратов, разъединением любящих, похищениями, случайными воссоединениями, в которых разлученные перед тем действующие лица долго не узнают друг друга и т. д. Все это, однако, оправдывалось религиозным смыслом, особой значимостью происшедшего и для действующих лиц, и для читателей.

Особое значение для всех этих произведений, которые мы условно можем назвать «познавательными», играла достоверность, — конечно, в ее средневековом понимании. Достоверность определялась в Средние века многими признаками: прежде всего авторством какого-либо значительного лица, причем не было значительных писателей самих по себе — были значительные деятели церковной истории или, по крайней мере, — государственной истории. Им и приписывалось большинство произведений. Именно они если и не написали то или иное произведение, то были рассказчиками излагаемых событий, участниками или свидетелями.

Естественно, что чем древнее было произведение, тем оно казалось достовернее, мы бы сказали «документальнее». Отсюда преобладающая роль в познавательных произведениях — переводных с греческого, а иногда и с древнееврейского. Перевод вызывал к себе доверие едва ли не большее, чем то, что написано было по-русски или церковнославянски, хотя последний язык обладал также своего рода авторитетностью и превосходил в этом отношении язык русской деловой письменности. Последний язык был языком летописей и повестей из русской истории: тут он был более уместен.

Произведения познавательных жанров были исключительно долговечны. Они читались вплоть до XX века – особенно в последние два века в среде староверческой.

Исключительна долговечность познавательных произведений Древней Руси. В данном томе собраны произведения, начало активной жизни которых началось еще в домонгольской Руси – до ее завоевания татаро-монголами в XIII веке. И тем не менее многие из них продолжали интересовать читателей вплоть до XX века. Интересны они и для нас сейчас, но как произведения богатой фантазии. Читателей же древнерусской культуры они интересовали и по существу. В рассказываемое в них и во все, что говорилось в них в объяснение существующего, читатели древнерусской культуры верили и устанавливаемыми в них нравственными правилами жили.

Не могли убить интереса к ним и запреты, с разной степенью решительности налагаемые на эти произведения Церковью. А налагались эти запреты понятно почему: ведь во многих из этих произведений содержание было настолько фантастическим, что, накрепко соединенные с Библией, они могли разрушить веру и в то, что рассказывалось в последней.

Интересно, однако, что иконография Успения Божьей Матери, одного из самых почитаемых праздников и храмовых посвящений Древней Руси, полностью соответствовала рассказу («Слову») Иоанна Богослова об Успении: апостолы слетались к умирающей Богоматери на облаках, ангел отрубал руки пытавшемуся осквернить погребение Афоне. Апокрифические детали проникали и в изображение схождения Христа во Ад. То же самое может быть отмечено и в иконографии Благовещения.

На «Сказание Агапия» о земном рае как на свидетельство очевидца ссылается новгородский архиепископ Василий Калика в своем послании тверскому епископу Федору.

Все это не просто свидетельства о доверии, а документы официального признания некоторых из апокрифов.